

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Локальные и крупномасштабные экологические катастрофы преследуют советскую экономику буквально на всех этапах ее развития. Что это — стечение обстоятельств или закономерная реакция природных комплексов... или какая-то серия фатальных просчетов советских руководителей? России не следует стыдиться сказать, что она боится Азии. Это можно понять. Более того, ей надо помочь:



но на всех этапах это лежит в интересах всех европейских стран... Россия трудно предсказуема... принадлежит христианской цивилизации... Если она временно сошла с пути этой цивилизации, надо помочь ей вернуться.

Давид Толмазин Здислав М. Ружа



Конечно же, я прекрасно понимаю, что мне нужно было бы там продолжать работать. Но они нашли простой способ не давать мне работать и душить театр. Те, кто говорят, что надо было театр спасать, просто не знают ничего, о чем говорят. Какие могут быть споры, когда театр сам решил, что в этих условиях он



работать не может? Это было единодушное решение коллектива театра: если нам не вернут спектакли «Борис Годунов», «Живой», «Памяти Высоцкого» — то есть то, что мы считаем лучшим из того, что нам удалось сделать, — то мы продолжение своей работы считаем бессмысленным.

Юрий Любимов

Русское их ядро, семейств тридцать, живут в бывшем лагере Йорданского легиона — как в крепости



осажденной: обнеслись заборами из колючей проволоки, поставили вышки с пулеметами, на воротах — солдаты пограничной охраны.

Эли Люксембург

Публикация правительственных документов всегда представляет собою известный интерес. Но, возможно,

много больше о самих членах правительства рассказывают документы не официальные — дневники, письма, записки, наспех написанные тупым карандашом во время... заседания...

Ю. Фельштинский



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Петр Григоренко · Милован Джилас
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти
Эжен Ионеско · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный · Амос Оз · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль** Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия** Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США** Эдуард Лозанский
Edward Lozansky, The Andrei Sakharov Institute,
3001 Veazey Terrace, N. W., Suite 332 Washington,
D. C. 20008, USA
- Япония** Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

44

Издательство «Континент»
1985



СОДЕРЖАНИЕ

Алексис Р а и н и т – Восемь стихотворений в переводах Наталии Горбаневской	7
Александр Ж у р ж и н – Докторская. Новелла в дубовых тонах (анонимно)	11
Юз А л е ш к о в с к и й – Из старых песен	58
«А к в а р и у м» . Подготовка к печати и вступительная заметка Анатолия Копейкина	67
Марк З а й ч и к – Атеист. Рассказ	76
Лев Л о с е в – Тайный советник и кое-что другое. (Из новой книги)	110
Эли Л ю к с е м б у р г – Поселенцы. Рассказ	121
Василь С т у с – Стихи разных лет. Перевод с украинского Василия Бетаки	145
Самуил Ш в а р ц б а и д – Плач по Александру Блоку	150
Григорий К о с ы н к а – Анкета. Перевод с украинского Юрия Милославского	154
Александр Ф р а д и с – «Мы дотянем свой век...»	164
РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ	
Александр З и н о в ь е в – Не все мы диссиденты. О социальной оппозиции в советском обществе	175
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Здислав М. Р у р а ж – Откровенно говоря	191
ЗАПАД – ВОСТОК	
Ричард П а й п с – Партия, разьедаемая коррупцией	197
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Давид Т о л м а з и н – Советская система и окружающая среда: деградация водных ресурсов СССР	209
ИСТОКИ	
Юрий Ф е л ь ш т и н с к и й – Записки советских вождей	249
ИСКУССТВО	
Иосиф Д а р с к и й – «La Battaglia di Milano»	257

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Василий А к с е н о в – Отвечая на ответ. (Заметки новичка на американской художественной сцене)

Михаил Л е м х и н – Несколько слов о повести, написанной 20 лет назад

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

К вопросу об авторстве «Тихого Дона»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАША ПОЧТА

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Дмитрий Б о б ы ш е в – Черные ноги артистов

В. И. – Какого цвета «обыкновенный фашизм»?

Василий Б е т а к и – Поэт своей судьбы

В. В о л к о в – Кассандра за лагерной проволокой

Майя М у р а в н и к – Сатурн убивает своих детей

М. М и х а й л о в а – Повесть о Марине

В. Б. – Две с лишним вечности назад...

Иосиф К о с и н с к и й – Когда б вы знали, из какого сора...

Игорь Е ф и м о в – Эзопов язык и цензура

Ю. М а м л е е в – Апокалипсические приметы

Юрий К о л к е р – О стихах Рины Левинзон

КОРОТКО О КНИГАХ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

НАША АНКЕТА

Интервью с Юрием Петровичем Л ю б и м о в ы м.

Ведет Наталья Горбаневская

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

в переводах Наталии Горбаневской

(по авторским подстрочным переводам с эстонского)

Ван Гог

Зовет тебя ангел, и ангельский лик
отлит металлической сферой,
он держит Господни весы и велит
послушать: «Послушай, и серый,

да, ты самый серый цвет преобразил
в органный огонь колорита,
ты не погрязал в равнодушной грязи,
душа твоя – неопалима».

И куст пламенеет, и свет – это страсть,
бросая лучи, точно вызов,
и южного полудня кровь пьют всласть
кривые мечи кипарисов.

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ СБОРНИКА «ЯЗЫКОМ ЗВУКА»

Magnolia gallica

Некогда,
в давние лета,
я на рассвете слушал
белый дождь
магнолий.

Magnolia gallica – ботаническое название, изобретенное автором в интересах звукообраза. – Прим. автора для русского издания.

Но только теперь,
во сне,
в июле,
впервые
вижу нагой и гордый
огромный цветок
магнолии. Тебя?

Марии Ундер

Просто и прекрасно,
не шелохнув крылами,
ты летишь высоко в глубину,

венцом уложены косы,
и позабытого божества
лента
окаймляет виски,

твои песни
переводятся
на язык нашей крови.

Мария Ундер (1887–1980) считается национальным поэтом Эстонии XX века. От 1944 до своей смерти она жила и творила изгнанницей в Швеции. – Прим. автора для русского издания.

Сексту Проперцию
Vinum tui ingenium facit

Цвета cedры Цинтии платье
твое мрачное сердце
с отсветом охры.
Roma – amoR.

Лепные и глазастые
тени луны,
серый и шершавый
самородок ночи.

Под слепыми пиниями
она проходит с тобою
пламенеющим шагом,
и непристойные нежности
нашептывает
ее ладонь твоей ладони.

И вдруг переливчато
задышат в стеклянные фанфары
крупные капли дождя.

Аристиду Майолу
A fruit rond

Мыслю о самой сути
твоего ощутимого счастья,
непорочно рожденного,
о полноте равновесия,
полного веяньем ветра.

– Я существую,
ибо я мыслю
глазами.

После бури

Цветет на скале, оставлена отливом,
пена, о море высоком еще помня.
Над успокоенным, молчаливым
пространством стихает дыхание Господне.

– Сияние, где же твой клик и клетот?
Куда угасли восторги победные?
Или это был только фитилек,
только души твоей пламечко бедное?

Тоска по дому

Разлуки желтая птица,
разлуки серый камень,
разлуки холщевая песня,
разлуки гроза,
разлуки лезвие,
разлуки рана,

но из нее прорастают крылья.

Роза Пиерии

Сын мой, положено нам
вымерить бьющий кипящий источник.
Шелест прошел по губам
диким напевом, пылью цвetoчной.

Мерзнут кусты среди льдин,
но надо мной пиерийские скалы.
Поэзия – это один
миг, распускающийся в кристаллы.

ДОКТОРСКАЯ

Новелла в дубовых тонах (анонимно).

Да как же без анонимки-то,
да без нее и души-то не отведешь,
хучь пьяную, хучь трезвенную.

(Из показаний на Товарищеском
суде одного злостного анонимщика)

ВСТУПЛЕНИЕ

По долгой, прочно установившейся у нас буржуазной традиции, отзыв критика обычно следует за публикацией материала. Будучи наслышан и персонально затронут бумажным кризисом в Российской Федерации, автор считает своим долгом разорвать с этой традицией и предоставить всеобъемлющую и уничтожительную самокритику нижепредложенного сочинения, сэкономив таким образом бумагу ответственных органов. Автор надеется, что это самокритическое исследование послужит добрым начинанием прочной традиции по смычке кордона с закордоньем и внесет свою лепту в разрядку мировой напряженности и предотвращение мировой катастрофы, которую, как известно всем людям доброй воли, неоимпериалисты развязывают в данный момент. Но не будем тратить бумагу и время. Приступим к самокритике.

Анонимные измышления так называемого автора, основанные на так называемых подлинных фактах, являются гнусной клеветой на Советскую власть, на Партию и ее Ленинский Центральный Комитет, на Советскую науку, на профессорско-преподавательский состав Сосковского дважды орденоносного Государственного Университета им. Соломоносова, на ведущих ученых Советского Союза, на процедурную систему

ВАКа, на мебельную промышленность РСФСР, на систему снабжения трудящихся свежими овощами и фруктами, на Комитет Государственной Безопасности, на трест ПРОМЛИФТ № 4 Воробьевогорского района Сосковска, на систему социалистической законности, на квантовую теорию народного поля, на министерство народной тяжелой промышленности, на Евгения Онегина, на УК РСФСР, на бумажную промышленность Советского Союза, на мировую катастрофу и всех людей доброй воли. Итого: семнадцать клеветнических измышлений по статье 118 УК РСФСР. Известный, разыскиваемый органами анархист Журжин, что по заданию ЦРУ родился в Москве для подрывной работы в сфере высшего образования и, подорвав его, скрылся в неизвестном направлении, не скроет своего подлинного лица за анонимными отписками. Куда смотрели школа и комсомол? Гнев всех мирных людей планеты пригвоздил его к позорному столбу истории лагеря социализма. Так-то. Будет знать.

Подпись (неразборчиво)

Секретная копия председателю месткома Окололитературной Газеты.

Секретность: абсолютно и совершенно секретно, перед прочтением съесть.

– Клавдия Николаевна, будьте добры, позвоните Кириллу Львовичу, скажите, мы без него, старого пердуна, Ученый Совет начать не можем. Не так грубо, конечно.

Клавдия Николаевна, блеснув золотом зубов, улыбнулась мягко, понимая, и было собралась закрыть тяжелые створки дубовой двери, что отделяли зал заседания Ученого Совета от суеты приемной, как Кирилл Львович Пустопашенский, размахивая своим объемистым портфелем с рахитичным замком, что спасал человечество от погребения под ворохом научных открытий, заорал в полуоткрытую дверь:

– А почему негрубо, непринципиально. А на критику отвечаю, – профессор произнес это, дожевывая сочный беляш и с достоинством пропихивая свое полное тело в зал Ученого Совета мимо ученого секретаря Клавдии Николаевны, которая привычно возвела лицо к небесам. – Я хоть и пердун, но еще не старый. Хгм, – профессор остановился в дверях озадаченный своим заявлением и укусил от следующего беляша. – То есть я хочу сказать, что я хотя и старый, но еще не пердун. А, чёрт, опять не так. А вот вы, Василий Федорович, жену бьете по четвергам, все знают.

– Ну, проходите, профессор, проходите, не задерживайте собравшихся товарищей, мы и так уже запаздываем с Ученым Советом, – миролюбиво ответил председатель Ученого Совета, декан Василий Федорович Птурсов и добавил, обращаясь к секретарю: – Клавдия Николаевна, пожалуйста, принесите чаю Кириллу Львовичу.

Тот, все еще в пылу негодования, закончил инструкцию воплем:

– И лимону тоже, я знаю – у вас в холодильнике лимон есть.

Клавдия Николаевна скрылась за дверьми и презрительно шевельнула плечиком. Так, чтобы все подчиненные секретарши видели.

Присутствующие вздохнули с облегчением. Кажется, пронесло, и Ученый Совет начнется без склоки. По залу, все пространство которого занимали обитый зеленым сукном Т-образный стол и другая дубовая мебель, как сквозняком, понесло ерзаньем стульев по паркету. Устраивались поудобнее и надолго. Было от чего – сегодня заседание Ученого Совета обещало быть длинным и тягучим: три кандидатских и докторская на повестке дня. Щелкали открываемые портфели, стаканы с чаем звенели, сахар растворялся, и длинная ножка буквы Т стола постепенно заполнялась рабочими документами. Марья Григориевна Иерусалимская, за-

ведущая физпрактикумом, разложила на столе стопку контрольных (она работала на полставки в школе № 2), Сергей Леонидович Скукин с кафедры квантованных полупроводников разложил на зеленом сукне полупроводниковую схему антенны по приему телевидения непосредственно с телеспутников (он отобрал ее вчера у своего аспиранта, запугав его последствиями, и только сейчас нашел время, чтобы спокойно разобраться в творении кафедрального гения), а Иван Петрович Хазаров, парторг отделения теоретической и экспериментальной физики, плотоядно зыркнул глазом в порнографический журнал, скрытый от враждебных взглядов обложкой журнала «Коммунист» за сентябрь 1970 года. Среди остальных членов мнение разделилось поровну между кроссвордом в «Огоньке» и случайными, но частыми взглядами за блузку полногрудой Клавдии Николаевны (а еще говорят, что свет распространяется по прямой линии), что опять появилась из-за дубовых створок и элегантно склонилась над плечом Василия Федоровича, наливая ему очередной стакан крепчайшего, по-заграничному со сливками, чаю.

– Спасибо, Клава, – произнес приятно потеющий с чаю профессор Птурсов, к сожалению молодых членов Ученого Совета, и застучал ложечкой (куплена в Аргентине во время конференции) по стакану, привлекая внимание.

– Объявляю заседание Ученого Совета Физического Факультета Сосковского Государственного Университета имени Соломоносова открытым.

Здесь он остановился и перевел дух, изможденный длинной тирадой. Начало трудового дня всегда давалось ему с трудом. На несколько секунд только звук переворачиваемых страниц, наливаемого чая и скрип карандаша по тетради прерывали глубокую тишину зала заседаний, полного отблесков полированных дубовых поверхностей. Затем Вася (так за глаза его звали на факультете, а в глаза только жена и секретарь Клавдия

Николаевна и, конечно, те несколько человек, в кабинеты которых Вася входил с почтением) вздохнул и спросил в никуда:

– Что там у нас сегодня?

И было Клавдия Николаевна открыла рот, как он ответил сам себе:

– Ну, знаю, знаю. Три кандидатских и докторская.

Он обвел взглядом просторную залу, нахмурился (Клавдия Николаевна тут же заметила оплошность и сделала заметку сменить шторы. Вася, то есть профессор Птурсов, не любил бордовый цвет. Поговаривают, в молодости мясником спину гнул, по вине отца-шинкаря), обрел непроницаемость и критически оглядел присутствующих. Его взгляд остановился на пустом стуле по его правую руку, и лицо его опять стало эмоциональным. Капризно наморщившись, он вскричал:

– А где Петька, я спрашиваю, где моя правая рука?

– А ты чего ржешь, Кирилл Львович? – продолжал Василий Федорович и набух грозно, пытаясь привстать со стула (ноги его, надо сказать, не всегда доставали до пола), но остановился в своем движении, так как Клавдия Николаевна, к восторгу молодежи, тактично склонилась к ершистому уху декана и прошептала то, что всем было уже известно:

– Не положено, Василий Федорович, Петр Иссыкулевич отсутствует, так как его докторская сегодня на обсуждении...

– Ну знаю, знаю, – перебил ее остывающий Василий Федорович и опустил назад в зеленое кресло, как тесто, пораженное лучевой болезнью, не забыв, конечно, метнуть уничтожительный взгляд в сторону своего вечного оппонента, профессора Пустопашенского. Тот склонил свою кудлатую (предмет скрытой зависти лысоватого декана) голову и, взяв хлеб шепча, забрызгивал ухо покорного молодого коллеги свежайшим анекдотом из времен гражданской войны.

От нечего делать все ждали, пока он кончит. Вежливо, про себя посмеялись. Хотя Василий Федорович по штату воздержался. Помолчали.

– Ну что ж, продолжим прения, товарищи, – наконец проговорил Птурсов. – Кто там у нас первый?

– Кандидатская диссертация Ю. В. Пустикова, Василий Федорович, – сию же секунду отвечала преданная Клавдия Николаевна. – Тема: квантово-статистическая и теоретико-множественная интерпретация презумпции советской виновности. Подтема: диалекто-материалистические аспекты дуализма виновен-невиновен и их применение в квантовой теории народного поля в присутствии...

– Ну хорошо, хорошо, достаточно, – прервал ее несколько ословевший декан. – Кто научный руководитель?

– Мордехай Мордехаевич Столболюбов-младший, – тут как тут отвечала ученый секретарь и мановением нежной щеки учтиво указала на присутствующего в дальнем углу зала известного потомка известного ученого, что отсутствующим взглядом провожал снежинки, плавно проплывающие за окном.

– Так что, Мордехай, как этот, – тут декан запнулся, отыскивая фамилию на разграфленном листе бумаги, и, наконец отыскав ее с помощью бирюзового ногтя Клавдии Николаевны, продолжил: – Постиков, гм, то есть Пустиков, как он по научной части? Подходит?

Грустный Мордехай-младший, кто, по секрету, скажем вежливо, не любил Ученые Советы, как и Советы вообще, вздрогнул, призванный назад в реальность зычным рыком декана факультета. Он вздохнул, снял очки в роговой оправе с носа-пуговики, дыхнул тщательно на каждое стекло по отдельности и стал усердно протирать их громадным носовым платком, продолжая все это время глядеть за окно на неспешный хоровод сверкающих под светом фонаря снежинок. Из уважения к знаменитому папаше все ждали, почтительно уставившись

в окна. Только теоретик и экспериментатор Хазаров, что был принципиально против лизоблюдства, снова приоткрыл уголок интересного журнала и, время от времени, вскидывая взгляд на Клавдию Николаевну, сравнивал ее пропорции с пропорциями неизвестного субъекта женского пола, который, несмотря на пристальные взгляды парторга, продолжал порнографически бесстыдно пялиться в лицо немного зарозовевшего партийного руководителя.

Закончив увлажнение и полировку очков, доктор наук Столболюбов вскинул их назад, меж глаз, отодвинул стул, шаркнул одной ногой, другой и медленно привстал, опираясь на суконную поверхность стола, откашлялся. Не то чтобы Столболюбов-младший был медлителен (хотя в детском саду и имел прозвище Копуша), просто был он человек сосредоточенный и не любил перескакивать с одного на другое. Последовательность действий, которые он сейчас совершил, позволила ему выиграть время и закончить мысленное чтение третьего четверостишия второй главы «Евгения Онегина». Надо сказать, что за долгие годы сидения в комитетах и покровительства Столболюбова-старшего, он научился по системе йоги полностью отключаться от происходившего вокруг него и посвящал полученное таким образом свободное время сочинению стихов или, когда вдохновение отсутствовало, мысленному чтению глав из любимого «Евгения Онегина». Особенно нудные заседания он градуировал по главам, что он успевал прочесть. Ирина Федоровна, его жена, понимала его с полуслова, когда усталый Мордехай Мордехаевич, вернувшись с факультета вечером, говорил ей со вздохом, что Васька затянул на четыре главы. Близкие знали о стихотворческой слабости ученого и, за исключением Ирины Федоровны, не одобряли мальчишеское увлечение. Особенно не одобрял отец ученого, сам ученый. Дело, по слухам, даже дошло до открытой конфронтации между отцом и сыном. Склонники утверждают, что на

приеме по случаю тридцатилетия научной деятельности Столболюбова-старшего, отец грозил сыну: «Или я, или Евгений Онегин». Но Столболюбов-младший, весь в отца, не поддался и, как рассказывают, отвечал, мол: «Или Евгений Онегин, или тетя Рахиль» (та, по данным хорошо информированных источников, проживает в весьма компрометирующей стране). Установилось статус-кво, по которому Мордехай Столболюбов-старший перестал попрекать сына и волноваться о тете Рахиль (а дело было как раз перед выборами в академию), а Мордехай-младший стал декламировать «Евгения Онегина» и сочинять стихи только в уме, а если и вслух, то только во время бурных и продолжительных аплодисментов, предпочтительно переходящих в овации. Он даже любил овации, так как находил в них необходимый ритм для своих чтений.

Безгласно дожевывая губами последнюю строку, Столболюбов снова откашлялся и отвечал, скосив глаз на напечатанный крупным шрифтом отзыв кафедры:

– Диссертация Пустикова адрессрует актуальный вопрос физики нашего времени и положительно решает вопрос о суперюнификации различных физических полей и отраслей народного хозяйства. Автор предпринял успешную попытку объединения дуалистических черт правовых понятий на основе квантово-статистического подхода, разработанного академиком Мордехаем Мордехаевичем Столболюбовым-старшим. Налицо успешное овладение различными методами квантовой теории поля. Диссертация основана на работе, проведенной на кафедре квантовой статистичности. Она вылилась в напечатании четырех статей, включая одну в журнале «Социалистическая законность» и одну в дружественном западном журнале. Ю. В. Пустиков является морально устойчивым и активно уча...

– Ну, хорошо, хорошо, Мордехай, не забегай вперед, – прервал его декан Птурсов, – об этом после. Голосуем по научной части. Кто за рекомендацию по

защите диссертации Пустикова? – продолжал декан, глядя на разграфленный лист, и, найдя с помощью пальца ученого секретаря фамилию Пустикова, поднял свою правую руку, несколько растопырив пальцы. В ту же секунду заграничная шариковая ручка с красными чернилами (куплена вместе с ложечкой) была вложена в требовательные пальцы декана и, не отрывая взгляда от фамилии на листе (прибегать к помощи секретаря слишком часто Птурсов находил инфантильным), он медленно нарисовал жирный плюс в графе «Научная часть». Затем он поднял свою голову, на полированной поверхности которой уютно отражались плафоны, и внимательно обвел взглядом присутствующих, по второму заходу их поднятые руки и удовлетворенно улыбнулся, сказав добродушно:

– Смотри-ка, как я и думал, единогласно.

По залу пронесло понимающим смешком, и присутствующие ощутили себя членами одного тесного коллектива.

– Садись, Мордехай, чего стоишь, в ногах правды нет, – продолжал Птурсов, бросив взгляд на беззвучно шевелимые губы Столболюбова, и капризно покосился на пустой стул парторга факультета, что по правую руку. «Нет порядка без Петра Иссыккулевича, – можно было прочесть на помраченном лице декана. – Уж он-то знает, как обращаться с молодыми проходимцами, которых родственники пропихивают в Ученые Советы». Сам Василий Федорович всю войну прошел в рядах орденоносного коллектива Министерства тяжелой промышленности и не раз подвергался персональной опасности, когда точил урановые стержни на токарном станке во времена завалов, по понедельникам, после получек и перед допросами, когда все стоящие токаря напивались вдрызг.

Мордехай Столболюбов зарифмовал последнюю строку четверостишия и, жевнув губами, скромно сел на стул, пододвинул его ближе к столу, с облегчением и

предвкушением взглянул за окно. За окном, свободная от партийных поручений и общественных нагрузок, бушевала метель. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник», – прошептал Мордехай Мордехиевич зачаровано.

– Продолжим прения, товарищи, – веско произнес декан, презрительно поморщившись на выскочку. – Как этот Костиков по идейной части, Иван Петрович? – обратился он к парторгу отделения Хазарову.

– А? Что? Я за, инициативу полностью одобряю, политически зрело это вы выразили, Василий Федорович, – невпопад сбился парторг, который в эту минуту только что добрался до середины журнала и был совершенно ослеплен тлетворным влиянием Запада. Он захлопнул обложку журнала «Коммунист» за сентябрь 1970 года и проговорил скороговоркой, оправдываясь:

– Простите, товарищи, отвлекся. Статья тут по идеологической обработке студентов интересная. А что, я за, вы же знаете, товарищи, – партийный работник завертел приплюснутой головой с железной челюстью. Его смущенные глазки заискивали сочувствие в лицах ученых.

– Иван Петрович, – медленно и с укоризной выговорил Птурсов, – нельзя ли после заседания ваши журналы рассматривать? – и подчеркнул журналы кавычками. – «Нет порядка без Петра, никакого порядка нет», – можно было прочесть на огорченном лице декана.

– А он еще и руку в кармане держит, – наябедничал Кирилл Львович Пустопашенский и парторг Хазаров, красный как рак, выдернул правую руку из кармана просторных сталинских штанов и спрятал ее в портфеле, который, на всякий случай, он держал на коленях. «Режь меня, больше ничего не скажу. Моя рука, чево хочу тово делаю», – излучал пойманный врасплох красный парторг.

– Товарищи, товарищи, попрошу к порядку, товарищи, мы отвлекаемся, – вмешался Василий Федоро-

вич, пытаясь спасти Ученый Совет и старого соратника от полного смущения среди ехидных смешков. – «Не люблю потомственных интеллигентов», – было написано на волевом лице декана. – «Интеллигентов и выскочек», – продолжал выражать своим лицом Птурсов, и в ответ преданная Клава, как хорошо настроенная струна гитары, тоже выразила розовыми щечками безмолвно: «Какая сила воли, какая простота характера; что думает, то и на лице». Волна обожания захлестнула ученого секретаря, и, нежно, Клавдия Николаевна подумала: «Куплю проклятый французский презерватив с усиками. Хоть и дорого, а куплю. Лидия Васильевна достанет. То-то Вася рад будет. Точно куплю на Двадцать Третье Февраля». И она опять склонилась над плечом Василия Федоровича, доливая полупустой стакан чаем и чувствуя мужественную твердость Васиного плеча своей грудью.

– А что, я тоже за, я ничего, – проговорил потомственный интеллигент Пустопашенский в ответ на требовательный взгляд декана.

Пустопашенский, из проверенных источников, был не только потомственным интеллигентом, но и потомственным дворянином и спасся от сибирских морозов только тем, что прапрадед был сослан в оную как декабрист, а отец, красный военспец, погиб, сброшенный революционной толпой с моста в Питере в те сумасшедшие времена, когда носить очки публично было смертным приговором. А посему профессора было легко смутить намеком на его прошлое.

Порядок был восстановлен. Хлебнув горячего чаю со сливками из граненого стакана и выдохнув удовлетворенное облачко пара, декан опять обратился к парторгу:

– Ну так что, Иван Петрович, как этот Постников по идеологической части?

– Костиков, Постиков, Пустиков, – залепетал спасенный Хазаров, – он что, ничего, мировой парень, наш, принципиальный тоже. Того дня, помню, получил от

него писулю на этого подозрительного типа с кафедры земного магнетизма, разбираемся. Как же, знаю его, – голос партийного руководителя окреп, стал обретать звучность и твердость и рука его вынырнула из портфеля с ворохом бумаг, – член комитета комсомола университета, внештатный член райкома комсомола, на целине провел четыре идеологических семинара, вот еще, помню, на прошлой картошке..., – парторг стал было читать с бумаги.

– Ну хорошо, хорошо, – одобрительно закивал декан, и рука его опять растопырила пальцы в воздухе. Поставив второй красный крест напротив фамилии Пустикова в графе «Идеологическая часть», Птурсов обратился к присутствующим:

– Голосуем. Кто за? Единогласно. А как у него по секретной части?

– Возражений нет, – глухо прозвучало из темного угла. Это высказал мнение Михаил Афанасьевич, отставной полковник КГБ. Его фамилии никто не знал, а имя и отчество, по понятным причинам, были фиктивные. Он возглавлял второй отдел, и что он делал по ночам в комнате 2-21, что на втором этаже в дальнем сапожке коридора, никто не знал, а спросить боялись. И хорошо, что не спрашивали. Михаил Афанасьевич, который был вынужден выйти в отставку в середине пятидесятых годов в результате известных перемен, в глубине души не верил, что эти перемены будут надолго, и проводил рабочее и свободное от работы время, составляя и пересматривая материалы. Он знал, что рано или поздно его труды будут оценены, родина его вспомнит, враги народа будут обезврежены и его персональная пенсия одобрена. Мы все в это верим в глубине души, не так ли? Пока же его пенсия ходила по инстанциям, он посиживал скромно на заседаниях, наблюдал, сопоставлял факты и заполнял на листке бумаги симпатическими чернилами квоты агентов империалистических разведок различных стран и Монголии (не любил

почему-то старый чекист эту миролюбивую страну) врагами народа, личину которых он раскрыл в этот день. Естественно, враги народа прятались под масками добродетельных граждан, и только чекистский нюх полковника способен был отличить агента сионизма Столболюбова от Столболюбова – сына знаменитого ученого и любителя поэзии. К тому же, враги время от времени увольнялись со шпионской службы одной страны и переходили в штат другой империалистической державы, несомненно пытаясь замести следы и спутать следствие. Это добавляло трудностей в работе начальника второго отдела. Но старого воробья полковника на мякине трудно было провести, и в конце дня его наблюдения на работе и в быту заполняли толстую папку с кипой пустых страниц. Птурсов сегодня проходил под аргентинским флагом (ложечка!), а теорэкспериментатор Хазаров – под шведским. И в самом деле, где и как парторг, который Кировского района Сосквы не покидал в последние пять лет, мог достать шведский порнографический журнал (третий за текущий месяц). И на его зарплату. Оно понятно, если б Столболюбов, у него отец академик.

Особенно волновала экс-полковника молодежь. Молодежь, что присутствовала на сегодняшнем совещании, была совершенно типичной, удрученно констатировал Михаил Афанасьевич. Все они рано или поздно начинали службу в ЦРУ, продав родину за джинсы и пачку сигарет «Филип-Моррис». Подтверждая общую теорию старого чекиста, доцент Путузов сегодня появился в джинсах, кандидат Волосуев имел пачку «Пэлл-Мэлл» в нагрудном кармане, профессор Берсеньев курил трубку, Мордехай имел еврейское имя, а Клавдия Николаевна, ученый секретарь (для органов кодовое имя Клавка), напаяли японский бюстгальтер. Михаил Афанасьевич своими глазами видел ярлык, и не спрашивайте, каким образом. Одно огорчало не стареющего душой ветерана. Как он ни старался, ни одного

монгольского шпиона обнаружить ему не удалось. А он старался, расставлял ловушки, держал всех подозреваемых под колпаком (пришлось звонить старым друзьям, вымаливать спецов на дело). Враг хитер. Враг коварен. Так думал отставной полковник органов Афанасий Икс.

Третий жирный плюс был поставлен в графе «Второй Отдел» против фамилии Пустикова, и решительным взмахом руки декан Птурсов взметнул графленным листом бумаги под нос ученого секретаря:

– Немедленно обработать результаты на ЭВМ, Клава. Об исполнении доложить. Под вашу личную ответственность.

Внедрение ЭВМ (после передовицы в «Правде» о недостатках в применении ЭВМ в народном хозяйстве) в процесс подготовки научных кадров было одновременно слабым местом и хобби Василия Федоровича, и он старался загрузить гордость факультета, БЭСМ-25, чем только мог. Клава скрылась за дверью, и декан удовлетворенно откинулся в кресле. «Еще один кандидат рожден для советской науки», – отразилось на лице маститого ученого. За Птурсовым и остальные присутствующие выразили удовлетворение. Заседание проходило в теплой и дружественной обстановке. Правда, были еще формальности с ВАКом и с защитой. Но когда каждую пятницу пьешь с председателем ВАКа после бани в Сандунах, на ВАК начинаешь смотреть как нечто в жизни несущественное. И оппоненты на защите будут все свои ребята, не подведут. Птурсов знал: честь факультета будет незапятнанной, план не пострадает, социалистические обязательства будут выполнены.

– Кто там у нас следующий на повестке дня, Клавдия Николаевна? – спросил декан после некоторого размышления и нескольких глотков чаю.

Проворная Клава за это время успела сбежать на первый этаж к программистам где, наготове, группа из семи математиков ждала ее прибытия. Она только что вернулась с результатами расчетов (ЭВМ, как известно,

считают быстро) и, несколько запыхавшись от беготни, отвечала:

– Диссертация, кандидатская, – тут Клава остановилась, перевела дух и, извинившись за остановку, продолжала: – Кандидатская диссертация И. С. Климова. Тема: Некоторые аспекты пропаганды интенсивной электромагнитной волны в облачной атмосферной среде, по средам. Подтема: Влияние интенс...

В этот момент речь ученого секретаря была прервана на полуслове.

– Кто??? Кто, я спрашиваю?! Кто, я спрашиваю, позволил?! – глухо проревело из угла, который занимал незаметный Афанасий Икс.

– Что? Где? Кто позволил? – обеспокоенно, растерянно и гневно всполошились члены Ученого Совета, а декан Василий, поняв промах, позеленел при мысли о последствиях.

– Ты что, сдурела, Клавка? Ты на каком языке читаешь, паскуда? Ты меня в Сибирь упечь хочешь, стерва? – взвизгнул он.

Клавдия Николаевна, будучи третьей дочерью опального маршала авиации, к такой грубости не привыкла и возмущенно упала в обморок. Члены Ученого Совета было ударились в панику, как спокойный голос отставного члена органов произнес:

– Прошу соблюдать спокойствие, граждане. Там разберутся. Враг хитер. Никто не должен подавать виду.

По мановению волшебной палочки восстановилась тишина, и красный чекист продолжал:

– Клавку под стол. Вызвать скорую психиатрическую помощь. Никто эту комнату не покидает без моего разрешения и моей личной подписи на пропуске. Прошу всех дать подписку о невыезде.

В минуту все было выполнено, и пыхтящий Птурсов, который вместе с Берсеньевым и Путусовым полез под стол, якобы помочь с телом Клавдии Николаевны, а на самом деле из ревности, проследить, чтоб не лапали

без надобности, появился из-под стола и устало упал в обитое кожей кресло во главе стола.

– Поторапливайтесь, поторапливайтесь, гражданин Птурсов, не задерживайте остальных, – размеренным голосом участника многих кризисов продолжал Михаил Афанасьевич (он же Афанасий Михайлович), – не создавайте впечатления паники. Враг хитер. Где там документы по кандидатской, я продолжу за гражданку Миронову. Там разберутся. Гражданин Птурсов, где там монгольский текст по поводу диссертации?

Дрожащие пальцы внезапно состарившегося декана наконец нащупали нужные материалы, и начальник второго отдела стал громко читать:

– Кындр мындр бендаараби электромагнитнондр беесыкаонндр шу. Пдтемандр алла бен сааби ибн алла.

Следующие полтора часа заседания проходили на монгольском языке, которого, как и все, кому не положено, автор не знает. А потому отвлечемся на несколько минут и объясним несколько простых вещей читателю.

Будущий кандидат наук И. С. Климов, который блистательно разрешил сложнейшую проблему пропаганды лазерного луча в облаках по средам, был засекречен. Климов, конечно же, ненастоящая фамилия. Он был засекречен с того момента, как победил на Сосковской городской олимпиаде по физике в восьмом классе. Дело в том, что для достижения полной и абсолютной секретности на этом военном проекте государственной важности решено было засекретить нескольких многообещающих учеников восьмого класса, чтобы через несколько лет интенсивной подготовки по физике, математике и классикам марксизма приобщить их к работе без боязни утечки информации. Лица, имена, фамилии, родители и номера телефонов – все-все было изменено и запутано. Только несколько человек, там, наверху, знали, кто есть кто. К сожалению, те, что были наверху, были сами засекречены, и по понятным причи-

нам это иногда приводило к полнейшей неразберихе. Скажем по секрету, в последние два года никто там наверху не знал, кем в действительности является И. С. Климов и почему он откликается на имя Феликс. Но мы отвлекаемся. Даже научный руководитель Климова, доктор физматнаук Иридий Платинович Золотов, не знал, над чем так усердно работает его ученик, так как все данные были закодированы по двоичной системе счисления. Все шло прекрасно, и, когда, после успешных полевых испытаний в среду, шпионский пассажирский самолет был сбит над островом Шикотан, И. С. Климов был представлен к государственной премии по литературе и приготовился к защите кандидатской. В последнюю минуту, через сочувствующего репортера Эн-Би-Си в Белом доме, было обнаружено, что враг имеет доступ к двоичной системе счисления, и решено было найти другой секретный способ коммуникации. Это было делом трудным, так как никто ничего не должен был подозревать. Гениально простой выход из положения был предложен Афанасием Михайловичем: перевести все на монгольский язык. Монголия – дружественная страна, и потому это не вызовет подозрений, а даже если и вызовет, пускай они там за океаном найдут монгольца с высшим образованием. Была еще одна деталь в этой монгольской операции, деталь, о которой бдительный чекист Афанасий не любил распространяться даже после двух бутылок алжирского. Он знал, что рано или поздно монгольский агент, засланный в ряды Физического факультета, сделает роковую ошибку, а тут-то его Афанасий Икс и выявит. Оставалось только ждать.

После прений и единогласного голосования (поднятие рук, как известно, жест международный и перевода не требует), после зачитания приветственных адресов от Народного Хурала Великого Монгольского Народа и Общества Монголо-Советской Дружбы и распития чарок традиционного монгольского напитка кумыс тяже-

лая атмосфера заседания разрядилась. У декана Птурсова улучшился цвет лица, Клавдия Николаевна медленно приходила в чувство в приемной при помощи целебного напитка и двоих молодых людей в белых халатах, парторг Хазаров снова тайком засунул руку в карман, доцент Путузов выигрывал у профессора Берсеньева три воблы и пиво в морской бой, Марья Георгиевна Иерусалимская поставила пятерку за контрольную, а Сергей Леонидович Скукин (Скукин сын, для обожавших его студентов), косясь на коллег и сладко улыбаясь по сторонам, медленно съел полупроводниковую схему антенны, поняв, что носить ее в кармане было слишком опасно. Каждый из присутствующих на заседании маститых ученых нашел более или менее общественно полезное дело.

И вовремя. Как на следующий день обнаружил Михаил Афанасьевич, еще полчаса неразберихи, и проект «Лазерное возмездие» был бы под угрозой раскрытия неприятелю. Уже было завис над физфаком американский шпионский спутник, несомненно остановленный на орбите его заокеанскими покровителями, уже было его телескопические линзы были направлены через вентиляционные трубы на губы присутствующих, еще бы пять минут, и агрессор включил бы свои ЭВМ и через несколько секунд доклад о статусе проекта лежал бы на известном столе в известном Белом доме. Враг хитер, но просчитался. Так на следующий день радостно думал орденоносец запаса полковник Икс.

Сегодня же, после обсчетов результатов голосования на БЭСМ-25, еще один кандидат наук был рожден для Советской науки. Порядок был полностью восстановлен. Даже ученый секретарь, Клавдия Николаевна, как ни в чем ни бывало гордо появилась в зале, похорошевшая и помолодевшая после звонка в Генеральный штаб и долгих извинений двух молодых людей в белом.

— Ну что ж, товарищи, переходим на русский язык, — с облегчением выговорил слова председатель Ученого

Совета Птурсов, язык которого несколько распух от монгольских склонений. И добавил по привычке:

– Кто за? Единогласно.

Тут он виновато улыбнулся и заискивающим голоском обратился к ученому секретарю, которую он так незаслуженно оскорбил:

– Что там у нас на закуску, Клавуша? Хе-хе-хе-хе.

– Хе-хе-хе-хе, – подхватил парторг Хазаров.

– Хе-хе-хе, – отозвался Пустопашенский.

– Хе-хе-хе-хе-хе, – откликнулись Путузов, Берсенев и Волосуев.

– Хи-хи-хи-хи, – вставила Мария Георгиевна.

Только двое не участвовали в облегчительном смешке. Первым был Михаил Афанасьевич, которому по долгу службы было не положено, а вторым Мордехай Мордехаевич Столболюбов. Качество перевода на монгольский было просто возмутительным, и у доктора Столболюбова, который, надо сказать, кроме монгольского, знал еще пятнадцать языков в совершенстве, разболелось третье внутреннее ухо. Так у солиста филармонии разболелась бы голова, слушая через стенку кооператива, как сосед перевирает ноты Лунной сонаты. Столболюбов-младший не выносил неточностей, оплошностей и вообще плохой работы. Сейчас его внутреннее третье ухо, которым по системе йоги он прислушивался к окружающему миру, в то время как его нормальные уши полностью сосредоточились на мелодическом звучании ямбов, разболелось до невозможности. К тому же, по неизвестной причине он никак не мог вспомнить, что следует за строкой «Морозной пылью серебрится его брововый воротник», и вынужден был повторять ее снова и снова, так как перескочить было бы непорядком. Немудрено, что и его наружные уши стали подавать признаки усталости, особенно когда после монгольской неразберихи он, к своему удивлению, обнаружил, что повторяет бессмертную строку снова и снова то в ее монгольском варианте, то на суа-

хили. Было от чего болеть ушам и голове. Попахивало припадком.

В это время «Клавуша», которая присоединилась к общему веселью коротким и уничтожительным «Ха», пронзив сердце страдающего декана, докладывала:

– Кандидатская диссертация Р. С. Месмеряна по квоте нацкадров. Научный руководитель профессор Кудинов. Тема: ...

– погоди, погоди с темой, Клавунчик, – внезапно вмешался Птурсов и, обращаясь к начальнику второго отдела, продолжил:

– Михаил Афанасьевич, можно вас на пару слов?

Отставной чекист, который после чудесного воскрешения ученого секретаря удалился на привычное место в темный угол, размеренными шагами подошел к основанию стола и склонился к вопрошающему взгляду декана. «Враги врагами, а зарплата зарплатой» было много раз проверенным кредо практичного красного чекиста. Обращаясь в почтительно склоненное ухо, Птурсов прошептал:

– Слушай, Михаил, Кудинов – это фамилия еврейская или татарская?

– Еврейская, – был молниеносный ответ не моргнувшего глазом полковника.

– Понятненько, – прошептал назад декан, – понятненько. Спасибо за информацию.

В то время как бравый отставной чекист размеренными шагами приближался к темному углу, декан осмотрел присутствующих и, как бы невзначай, остановил взгляд на докторе физматнаук Кудинове.

Кудинов был не новичок на факультете, но этот Ученый Совет был для него первым. Как-то не приглашали Евстрафа Моисеевича на собрания. Может, потому, что не был он членом партии, может, потому, что провалил выпуск стенной газеты на Восьмое Марта, кто знает. Сегодня же он, конечно, присутствовал, так как его ученик, Равик Месмерян, обсуждался в связи с защи-

той кандидатской. Будучи незнаком с большей частью этикета заседания Ученого Совета, доктор Кудинов чувствовал себя не в своей тарелке. Голосовал он, конечно же, правильно, это-то каждый знает, как делать, с детства, но более мелкие детали и закулисные маневры выражений лиц полностью ускользали его понимания. Он нервничал, будучи поглощен желанием не навредить своим присутствием Равику, с отцом которого он провел пять месяцев на пересылке в те ошалелые времена, когда носить еврейскую фамилию публично было почти что приговором. Это было там, на пересылке, где, по совету отца Равика, будущий профессор научился выдавать себя за представителя одной из многочисленных ближневосточных национальностей страны, земляка Равикова отца. И, добавим, успешно. Даже на кафедре Низких Температур, где он проводил все свободное время, люди, что знали его годы и годы, за спиной звали его «наш маленький татарин». Оно и понятно, профессор был настолько дружелюбен в своей внешности, что язык не поворачивался использовать отчество после имени. «Евстрафыч» было имя, на которое он откликался. Органы, конечно, знали. Им, органам, положено знать.

Взгляды декана и Евстрафа Кудинова скрестились.

– Пронесет или не пронесет? – думал доктор Кудинов, невольно поднося указательные пальцы к вискам и, как бы массируя их, оттягивая кожу назад и пряча нос в тени ладони.

«Еврей, точно еврей, меня косыми глазами не поведешь, – думал Птурсов огорченно. – А, чёрт, не везет сегодня. Сначала Клавка напутала с монгольским, теперь три еврея на Ученом Совете».

Василий Федорович имел в виду, конечно, Столболюбова и Золотова в дополнение к Кудинову. И хотя первые два были «нашими евреями», то есть членами партии и активными общественниками, в секретной директиве, на которую декану под расписку дали взгля-

варивали, что припадки начались в детском саду примерно в то же время, когда Столболубов (Копуша)-младший проявил ранние признаки музыкального, поэтического, лингвистического и физико-математического гения. Известно было также, что, начавшись, приступ мог продолжаться вечно или, скажем, почти вечно. Однажды, по слухам, закрытое заседание Верховного Совета пришлось продлить на три недели, так как Мордехай Мордехаевич, которому было поручено сделать важный и почетный доклад, застрял на последней фразе. Рассказывали и другие ужасные истории. Пока Мордехай Мордехаевич был молод, был один верный способ остановить процесс припадка. Мордехай Мордехаевич-старший доставал из чулана розги, и после третьего удара по мягким частям мальчик становился как шелковый и шел на урок по музыке. Но после шестого класса и года занятий в секции бокса мало кто отважился бы на подобный метод, а после защиты докторской таких было просто не сыскать. Непосредственные причины начала припадков были неизвестны, но было замечено, что примерно в двадцати трех случаях из двадцати девяти Мордехай-младший начинал заикаться на букве гэ. С годами окружающие и сам Столболубов-младший, который постепенно потерял контроль над своим заиканием, научились избегать зловещей буквы в своем словаре в тех ситуациях, когда устная речь была необходима для межличностных сношений. Кафедра квантовой статистичности, где молодой ученый работал, наняла специальную секретаршу с большим опытом работы с трудновоспитуемыми детьми ответственных работников. Помимо прочего, в ее обязанности входило осуществлять тщательный контроль над всей корреспонденцией и текстами выступлений Мордехая Мордехаевича (как и его отец, Столболубов-младший был членом-корреспондентом многочисленных комитетов по вооруженной борьбе за мир и разоружение и часто выступал как в Гарварде, так и за

границей) и заменять слова с буквой Г на слова без оной. А если такового в словарях Ожегова или Вебстера не находилось, то вычеркивать Г и вписывать вместо нее букву Рэ. Мордехай Мордехаевич совсем привык к такой частичной модификации русского и латинского алфавитов, и часто его можно было видеть в читальном зале факультетской библиотеки на пятом этаже, листающим научные и общественно-политические журналы и бормочущим под нос: «Равно, все равно, одно равно другому» – и другие математические формулы.

Был, правда, один способ, который, по слухам, помог в двух случаях. Первый мы упоминать здесь не можем по известным соображениям, зато второй упомянуть стоит.

Дело было в конце долгого и трудного дня на партийной конференции профессорско-преподавательского состава города Сосквы. Только что закончился показ заграничного фильма из американского быта под названием «Глубокое Горло», и Мордехай Мордехаевич должен был выступить с заключительным словом о растлевающем влиянии западной пропаганды на несформировавшиеся умы учащейся молодежи. Только он произнес:

– Товарищи! Излишне напоминать, что растленный фильм из американского быта под названием «Зияющая Пасть» является типичным продуктом..., – как проклятое Г настигло его в середине следующего слова. (Это после этого инцидента Факультет уволил небрежную секретаршу и нанял секретаря-специалиста, чтобы дорогостоящая государству оплошность больше не повторилась. Поговаривают, делом занялись органы.) Казалось бы, все пропало, и прощай рыбалка на Клязьме в воскресенье, но председатель президиума академик Ставкин-Стенкин не растерялся. После нескольких секунд лихорадочных совещаний за красного кумача столом, в то время как Мордехай Мордехаевич мужественно боролся с монстром, умоляюще окидывая про-

сторный зал заседаний Университета, решение было принято, и по команде раз-два-три двадцать три члена президиума, а за ними и все шестьсот двадцать восемь присутствующих разорвали заполненную «г-г-г-г» тишину громогласным «ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ». Мордехай Мордехаевич был так удивлен, что остановился в своем заикании в ту же минуту и, под бурные овации, блистательно закончил чтение заключительного слова.

Вот и сейчас Василий Федорович Птурсов, который был в президиуме во время злополучного заседания, дал знак, и по мановению его руки многие ученые присоединились к Столболюбову в царственно раздольном «Га-га-га-га-га-га», стараясь помочь бедному Мордехаю всем своим существом и выражениями лиц. Но тщетно: очевидно было, что Столболюбов был вовсе не удивлен происходящим, с остекленевшими глазами он смотрел на пургу за окнами здания факультета. Попробовали и «Ге-ге-ге-ге», и «Ги-ги-ги-ги», и «Го-го-го-го», и «Гу-гу-гу-гу» – ничего не помогало. А время было уже позднее, и многие члены Ученого Совета были ожидаемы в других ответственных местах, и надо еще было докторскую обсудить. «Что делать?» – думали гы-гы-гыкающие представители научной интеллигенции.

Тут, дверь, та, что обычно была заперта, потому что вела непосредственно в коридор второго этажа, а входить в зал заседаний с «улицы» декан находил несолидным, открылась, и быстрым шагом в зал Ученого Совета вошел Петр Иссыккулевич Ольшанский, проректор факультета и заведующий кафедрой теоретической механики. Закрыв за собою дверь, за которой начала собираться любопытная толпа хы-хы-хыкающих студентов, и не обращая внимания на недоуменные взгляды ученых, что как раз в этот момент отчаянно переключились с «Гю-гю-гю-гю» на «Гя-гя-гя-гя», он зашагал по скрипящему дубовому паркету к доктору наук Столболюбову, в то время как тот судорожно

глядел за окно, на падающий снег и пытался проделать иогический скачок в подсознание.

– Водички, Мордехай Мордехаевич? – произнес Ольшанский участливо и протянул профессору стакан воды. Тот благодарно закивал головой и присосался к стакану, жадно глотая воду. Петр Иссыккулевич вежливо взял Мордехая Мордехаевича под руку и вывел его из зала в приемную. Стало тихо. В углу зажужжала снулая зимняя муха.

«Вот что значит класс! – думал благодарный декан Василий, единым махом избавившийся от двух проблем. – Нет, без Петра все валится из рук. Каков мастер! Как тактично спас заседание от провала. Пфу-у-у, – мысленно выдохнул Птурсов с облегчением. – Еще несколько минут, и имели бы на руках истерику, произвели бы нехорошее впечатление. И только два еврея осталось. Ну, молодец, Петро».

В унисон с профессорским вздохом по залу проне-сло облегченным ерзаньем передвигаемых стульев, локтей и других твердых и мягких частей ученых тел. Только стул Афанасьевича не шелохнулся. Бывалый чекист напряженно думал, сосредоточенно чиркая по листу невидимыми чернилами. Что-то было не так в происшедшем, что-то подсознательное тревожило отставного полковника. Его заостренное многолетним опытом чутье подсказывало ему, что враг был где-то поблизости. «Но кто? Но кто? Кто этот монгольский сепаратист? – в бессилье повторял он про себя, настороженно оглядывая присутствующих интеллигентов. – Кто продал родину за монгольский тугрик?» Вдруг озарение снизошло на него, и, забывшись, Афанасий Икс вскричал:

– Попался!!!

Захваченные врасплох члены Ученого Совета, что только-только перевели дух от вокальных упражнений, не выдержали нового потрясения и в один голос закричали:

- Это не я!
- Меня шантажировали!
- Прошу отметить добровольное признание!
- Мне угрожали!
- Каюсь, но остаюсь коммунистом!
- От своего поведения отрекаюсь!
- Я больше не буду!
- Прошу снисхождения, у меня инфарктная старая большевичка бабушка!

Но старый чекист не слушал. Погруженный в свои мысли, он стремительно вскочил со своего дубового стула и, коротко бросив:

– Прошу извинить, товарищи. Срочное дело, – скрылся за дверьми, направляясь в свой кабинет в сапожке второго этажа, чтобы сверить некоторые материалы. Хотя знал он, что это излишне. Все сходилось. «Только коренной монголец знает, что «Гы гыгы» означает: «Умоляю, господа, прошу стакан воды» на синьхуафонском диалекте», – решительно-лихорадочно-радостно размышлял отставной полковник, быстро лавируя меж голодных толп студентов, что стремились в буфет. (Буфет, как и остальные учреждения общефакультетской значимости, находился на втором этаже.) По правде сказать, Михаил Афанасьевич был время от времени удивлен той беспечности, с которой агенты иностранных держав вели себя на факультете. Стоило только начальнику второго отдела приглядеться к одному из них повнимательнее, как истинная сущность агента проявляла себя. Одной маленькой детали было иногда достаточно, чтобы раскрыть эту сущность. Все агенты сионизма, например, имели что-нибудь неладное со своими именами. «Он может представиться как Иван Иванов, но если отчество Моисеевич, держи ухо востро», – любил наставлять молодых сотрудников на семинарах по обмену опытом в приеме на работу и в быту. Вот и теперь отчество Иссыккулевич выдало сепаратиста-монгольца с головой. Хотя, конечно, Михаил Афа-

насьевич запоздал несколько со своим выявлением, несколько лет прошло, прежде чем агент попался в расставленную ловушку. «Не научился я еще смотреть на факты, не взирая на лица, запудрил мне мозги парторгством, проходимец», – попрекал себя чекист, вонзая ключ в замочную скважину. Тут мы должны покинуть Михаила Афанасьевича, потому что вход в святая святых физического факультета посторонним воспрещен. Вернемся в зал Ученого Совета.

А там опять царил тишина. Смущенные своими преждевременными признаниями, ученые интеллигенты избегали глядеть друг другу в глаза. Даже доцент Путузов, что только-то и сделал, что перепродал три пары венгерских джинсов, смотрел в потолок. Но жизнь есть жизнь. Она всегда движется, она всегда катится вперед. И ответственная работа не ждет, она не волк. К тому же, кто не без греха? Все мы грешны, даже если только государственного полкирпича со стройки свистнули посуду чистить, даже если только проехали в трамвае бесплатно, спасаясь от дружинников. Смущенно побряхтев над восьмым стаканом чая со сливками, Птурсов тихо объявил:

– Продолжим прения, товарищи. По недостатку времени обсуждение диссертации Месмеряна откладывается. На повестке дня докторская диссертация Петра Исыккулевича Ольшанского.

Товарищи были рады продолжить прения. После недавних потрясений было успокоительно приятно заняться чем-нибудь обыденным, не требующим напряжения сил, разума и общественно-политической интуиции.

Зачитаны были отзывы одного доктора наук и двух академиков со стороны. Отзывы были длинные и хорошие. Отмечался существенный вклад в науку, новизна разработанных методов и их применимость к широкому кругу вопросов сверхпроводимости. Члены Ученого Совета кивали головами в такт мелодичному голосу

Клавдии Николаевны, постепенно убаюканные музыкой ее слов. На полчаса были забыты посторонние дела и мысли. Чем-то солидным, добротным, почти вечным, веяло со слов ученого секретаря. Марксовы сияющие вершины науки вдруг стали близки и хорошо видны, и присутствующим на заседании ученым даже не пришлось неустанно карабкаться каждый день, чтобы их покорить. Эйфория царила в зале. Гордость за родной факультет вздымала грудь присутствующих на заседании интеллигентов. Шутка ли, сам академик Красноябский, гроза и светило, лестно отзывался о проделанной работе. «Ну, Петр Исыккулевич, ну, молодец. Порадовал, порадовал», – с приятцей размышлял Василий Федорович. Конечно, по долгу службы декан уже ознакомился со всеми документами, и все слышимое было для него не ново, но одно дело читать хвалебный документ про себя или составлять его, а совсем другое слышать, как веские, солидные слова заполняют большой зал до потолка, как проникают они в души ученых, как даже самые заклятые, принципиальные враги, вроде профессора Пустопашенского и его последователей, теряют скептические ухмылки и начинают не верить своим ушам и сомневаться в своих глазах.

И действительно, Кирилл Львович Пустопашенский начинал все больше и больше сомневаться. «Не верю, что Петька, дурак, все это сделал, хоть кол на голове теши, не поверю, – твердил он сам себе, в то время как сомнение, волна за волной, подтачивало утес его убеждений. – Чтоб этот придурок получил все эти результаты, когда все, что он делал, было гоняться за бабами, лизать задницу ректору и устраивать склоки. Хоть вызывай меня на персональную комиссию, не поверю», – Пустопашенский исподволь оглядывался по сторонам и находил, к своему ужасу, что все остальные верили. Он явно оказался в меньшинстве, позиция, к которой профессор не привык с того момента, как в те легендарные годы публично разорвал со своим прош-

лым наследственного дворянина и семьей. Даже частое глядение в рукопись диссертации Петра Иссыккулевица, что лежала на зеленом сукне перед его глазами, не помогало, а доцент Путузов и недавно назначенный профессор Берсеньев виновато отводили глаза, косили в сторону или вверх на лепной потолок, когда Кирилл Львович пытался заручиться их немой поддержкой. А они были учениками и соратниками в течение многих лет, что и говорить о нейтральных, вроде Золотова или Иерусалимской.

Да, велика сила громко и публично произнесенного печатного слова. Даже когда это слово просто напечатано, как, скажем, в газете «Правда», после нескольких лет ежедневного чтения начинаешь чувствовать эту сатанинскую силу необузданного великана или большой необузданной сибирской реки (хотя таковых почти не осталось).

На первой странице рукописи сначала была фамилия, под фамилией следовало название, под названием солидные неразборчивые подписи ответственных работников факультета в установленном порядке: партком, декан, местком, под росписями стояло: Сосковский Государственный Университет имени Соломоносова, а на последней строке, в самом низу, стояло – Сосква, 1970 год. Все было в порядке на титульном листе, и за ним тоже все было в порядке. Вступление, основной текст, литература, рисунки. Формулы были верны, выводы были верны – все это профессор Пустопашенский знал на зубок. И все же, несмотря на очевидное, Кирилл Львович твердил, цепляясь за умственную соломинку: «Не верю, не верю, не верю». Как будто просто повторение этого заклинания про себя, по неизвестным телепатическим каналам могло переубедить коллег и, перевесив чашу весов, поместить Пустопашенского в большевистскую фракцию – положение, страстно желаемое профессором. Тщетно, сколько он ни повторял свое «не верю», ничего не помогало, и в глубине души он верил. Как и в случае с известным ученым средневековья, ко-

торый сколько ни повторял знаменитое «А все-таки она не шляется» на предсмертном ложе, ничего не добился, и она шлялась, сколько ей влезет, и даже сбежала в Бургундию с известным графом Калиостро, Кирилл Львович Пустопашенский ощутил себя в положении греческого мудреца, что нашел точку опоры: точка-то была, да рычаг был коротковат, не доставал до точки.

Закончилось чтение отзывов, закончились выступления членов Ученого Совета, закончились поздравительные аплодисменты (кандидат наук Волосуев, который сидел ближе всех к обычно запертой двери, старался громче всех и даже крикнул «Браво» пару раз), закончились шутки Птурсова и Хазарова с намеками на факультетскую выпивку, а профессор Пустопашенский все еще боролся с призраками, слабовольно пытался атаковать ветряные мельницы. Он очнулся от борьбы с химерами только после того, как в наступившей тишине председатель Ученого Совета Василий Птурсов, который только что поставил жирную красную звезду на разлинованный лист бумаги, спросил его едко:

– Так вы что, воздерживаетесь, Кирилл Львович? Ни за, ни против. Мы ведь голосуем по диссертации Петра Исыккулевича, позвольте мне вам напомнить. Или вы заснули, дражайший? Пенсионную рыбку удите в грезах?

Когда впоследствии происшедшее в последующие минуты обсуждалось в кулуарах факультета, никто не мог понять, что вдруг въелось в старпера Папашенского (как его звали на факультете). То ли упоминание пенсии (которой, по причинам неизвестным, профессору почти не полагалось), то ли дворянская косточка дала о себе знать впервые за сорок лет. Что бы там ни было, профессор решительно приподнялся со стула, решительно обвел взглядом присутствующих, которые, почуяв что-то серьезное, проглотили на полувздохе саркастические смешки, и, струсив в последнюю секунду под требова-

тельными, вопрошающими взглядами коллег, виновато произнес:

– Я, в целом, полностью одобряю и поддерживаю, товарищи. Хотя долг Советского ученого и коммуниста требует..., – тут Кирилл Львович сорвался в голосе и, пустив петуха, судорожно сглотнул. Никто не смеялся, все с чего-то тоже перетрусили. Еще раз виновато улыbnувшись, как бы извиняясь за то, что расстроил мировую пирушку, он вздохнул и продолжал:

– Меня вот, товарищи, хгм, мне несколько непонятно, то есть...

– Не тяни резину, говори, профессор, – вдруг раздался голос из зала, и никто не мог понять, кто произнес эти роковые слова. Может, они спустились с неба? Материализовались из воздуха, никем не произнесенные?

– Спасибо, коллега, – ответил приободренный Кирилл Львович, для которого самое трудное – встать со стула и начать говорить – было позади.

– Меня, в некоторой степени, озадачивают сходства между диссертацией уважаемого Петра Исыккулевича и кандидатской диссертацией покойного Николая Николаевича Зябликова, которая, как мне помнится, защищалась в 1955 году в институте Физпроблем в Черноголовке под покойным Денисом Давидовичем Шпандау.

– Ты что мелешь, Кирилл? – вдруг яростно вмешался декан Птурсов, – Какие такие сходства?!

– Название, к примеру, нумеровка формул, список литературы и другие сходства в грамматике и пунктуации, – ехидно отвечал Пустопашенский, который ощущал легкость и упоительное головокружение от сознания, что терять ему уже было нечего. Раскаяние, мысли о семье и о пенсии в его голове еще не сформировались.

В наступившей настороженной тишине опять зажужжала снулая зимняя муха, и слышно было, как что-то тяжелое упало за дверьми, ведущими на «улицу».

Слышны были также топот множества ног и приглушенные крики «Скорую, скорую». Так же неожиданно, как и начался, шум за дверьми утих. Хотя ученые, замершие в своем дыхании от неслыханного, ничего, конечно, не заметили.

«Неужели все списал, дурень? – мысленно застонал декан. – А ведь точно, списал. Это Петька только так может. Даже названия не сменил, идиот. Сменил бы название, кто бы разнюхал. Позор, позор. На весь факультет пятно, по партийной части врежут, тринадцатой зарплаты не видать как ушей. Комиссии понаедут, как воронье на тухлятину. Так меня и с работы погнать могут. – Помертвел Василий Федорович и сердце его упало, а мысли, удушливые мысли, продолжали змеиться в его черепной коробке: – Точно. Могут и погнать. Шутка ли, парторг факультета – паршивый воришка-плагиатор. А куда Ученый Совет смотрел, спросят. А почему подпись Птурсова на манускрипте, спросят. Знать, снюхались двое. И погоню мне отседова. А куды итить? Засмеют. Позор. Позор. Придушу придурка, своими руками придушу. И чаво этот интеллигентиска вздумал копать под Петьку? Кто его поддерживает? Да никто и ни поддерживает, по рылу видать. Больше всех надо. У-у-у-у, старый хрыч, – опять простонал декан, переходя как всегда в минуту кризиса, на родной тульский диалект. – Только бы пронесло, уволю на пенсию, на чае и на грибах у меня жить будет. Я ему такую характеристику намалюю. Но дык что делать? Што делать-то? А тянуть время, вот что! Что-нибудь подвернется». Все это пронеслось в голове Птурсова в долю секунды, а вслух он сказал:

– Спокойствие, спокойствие, товарищи! Это дело серьезное.

Он обвел лица членов Совета продолжительным спокойным взглядом и повернулся к Кириллу Львовичу:

– Я вас не понимаю, профессор Пустопашенский. Одну минуту вы спите на совещании, пропускаете голо-

сование, а в другую вскакиваете и начинаете обвинять Петра Иссыккулевича Ольшанского во всех смертных грехах. Вы в здравом ли уме, профессор Пустопашенский? Вы знаете, что такими обвинениями на ветер не бросаются, что за клевету в нашем государстве судят? Петр Иссыккулевич, парторг факультета, является, между прочим, уважаемым членом нашего коллектива, и я, пока еще декан факультета, я не позволю порочить доброе имя примерного семьянина, горячо уважаемого профессора Ольшанского. С чего это вы ждали до сего дня, чтобы выступить с вашими сумасшедшими заявлениями. Что это за любовь к драматическим эффектам? Наследственная черта? Почему никто не был извещен, даже если одно слово из ваших голословных утверждений правда? Да и не правда ничего. Не верю я вам, ни одному слову я вашему не верю. Где факты? Факты где, я спрашиваю?

Упоминание фактов было стратегической ошибкой Василия Федоровича, но было слишком поздно, потому что в ту же секунду Пустопашенский перебил его хлестко:

– Факты? Попрошу в библиотеку, попрошу взглянуть в диссертацию Николая Николаевича Зябликова.

Отвечать было нечего, и декан неловко замолчал. В ту же минуту Мордехай Мордехаевич Столболубов, чей припадок окончился при помощи живой воды из парторгских рук и который, излишне говорить, на происходящее вокруг него не обращал внимание, встал из-за стола. Хотя его головная боль прошла, его геморрой разыграл после припадка.

– Прошу меня извинить, товарищи, – проговорил он, направляясь к двери, – мне надо выйти на минуту.

Это невинное действие невольно послужило началом цепной реакции. Потому что было ясно как день, кто поддерживает Папашенского в факультетном перевороте. Все знали, что Столболубов-старший любил

шутить зло и беспричинно, и, оно, конечно, было «шутки кошке – мышке слезки» в случае Мордехая-старшего.

– Я с вами, Мордехай Мордехаевич, – в спину Столболобову-младшему проговорил Кудинов и также направился к двери в коридор. Как будто по сигналу, остальные члены Ученого Совета сорвались со своих мест и ринулись в библиотеку. В дверях образовалась небольшая давка, и можно было слышать возмущенный голос Марьи Георгиевны:

– Пропустите даму, вы что, в интернате воспитывались? – и ответ Хазарова:

– От хамки слышу! – и успокоительное: «Товарищи, товарищи» – Золотова.

В опустевшем зале остались только Птурсов и Пустопашенский. Не глядя в глаза ненавистному интеллигенту, Василий Федорович буркнул:

– Ну, хорошо, хорошо. В библиотеке, так в библиотеке. Я тоже иду в библиотеку. Клава, проследите за порядком в наше отсутствие.

Он вдруг вскинул голову и взглянул в спину шагающего к двери Пустопашенского:

– Я ведь что имел в виду. Я ведь имел в виду, что нельзя так с бухты-барахты обвинять человека в плагиаторстве. Нам драматургия не нужна. Есть соответствующие каналы. Не воспринимайте лично, Кирилл Львович.

Тот не отвечал, и Птурсов, повесив голову, поплелся на пятый этаж за остальными. На лестничной клетке второго этажа нетерпеливые члены заседания ждали лифта, чтобы подняться на пятый этаж, где большую часть его занимала факультетская библиотека. Время от времени кто-нибудь из группы нервно нажимал большую засаленную кнопку, лампочка за надписью «Вверх» загоралась, потом начинала мигать и гасла. Затем следующий член Ученого Совета нажимал кнопку и, нетерпеливо всматриваясь через зазор меж

створками дверей в темноте шахты лифта, пытался различить, двигаются кабели или нет. Точно было, что кабели двигались, но вверх, или вниз, или просто вибрировали под действием квантовых флуктуаций, было сказать трудно. Угрюмый декан Василий, чья округлая физиономия выражала стоическое неприятие судьбы, был последним присоединившимся к группе. Взглянув на неверных коллег, он не остановился, только буркнул: «Лифт на учете», – и продолжал свое восхождение. И впрямь, несколько в стороне от двери лифта висели две таблички. Что было написано на них, прочесть было невозможно, пока предприимчивый доцент Путузов не постучал ногтем сначала по одной, а затем по другой. Два облачка пыли медленно осели на лестничную клетку второго этажа, и ученые смогли прочесть на первой: «Лифт неисправен. Честное слово, сегодня починим. 5/2/63». Вторая гласила: «Лифт закрыт на учет. Новыми успехами отметим международный осенний день пограничника». Очевидно было, что в связи с перенаселенностью крыш и стен домов в Сосковке, отдел пропаганды горкома нашел новые пути просвещения масс.

«Придется подниматься наверх при помощи ног», – было общее мнение расстроенных физиков.

– Просто возмутительно, как лифты стали работать в последнее время, – дополнила общее мнение Марья Георгиевна Иерусалимская, – Особенно в универмагах. Пока дождешься, пол рабочего дня проходит.

Делать было нечего. Поиск истины и ее установление требовал жертв, и маститые ученые, гуськом, стали подниматься этаж за этажом к библиотеке. Изумленные студенты, что начали покидать факультет после окончания семинаров и лекций, жались к стенам, видя внушительную процессию представителей советской науки, карабкающуюся наверх.

– Что-то неладно. Чем-то пахнет, – раздавались приглушенные шепотки меж скачущих вниз по ступенькам студентов и аспирантов, а невинное объяснение

студентки второго курса Печкиной, что, мол, сегодня будет салют, было встречено презрительными комментариями по поводу прекрасного, но слабоумного пола.

Наконец последний член группы, доктор наук Иридий Платонович Золотов, который, будучи сердечником, должен был отдыхать после каждого этажа, присоединился к коллегам, что до краев заполнили своим присутствием маленькую комнату выдачи литературы. Эффект был внушительный. По стенам комнаты, двери которой вели в читальные залы для студентов отдельно и научно-технических работников отдельно, были развешаны портреты знаменитых отцов науки, под портретами за стеклянными створками узких шкафов были выставлены последние номера наших и зарубежных журналов, а в центре комнаты знаменитые дети знаменитых отцов озирались по сторонам. Как-то само собой получилось, что лица, которым присутствовать сейчас в комнате было не положено, испарились за молочного стекла дверьми, ведущими в читальные залы. Только один пожилой человек, казалось, не замечал, что происходило вокруг него. Он сидел в неудобной позе на стуле в углу возле передвижного монтажа из жизни Льва Давидовича Ландау и читал суточную газету «Вечерняя Правда Сосковца». Время от времени он прекращал чтение сообщения ТАСС о событиях на Ближнем Востоке и сквозь дырку, что его настойчивый палец провертел в газете, критически осматривал присутствующих, а особенно профессора Пустопашенского, что в данный момент с упорством утопленника жестикулировал перед носом библиотекарки Наташи. Остальные члены Ученого Совета с неопределенными лицами сгустились за спинами Птурсова и Столболюбова (этот присоединился к ученым, когда, после необходимого визита в интимное место, он, к своему изумлению, обнаружил зал Ученого Совета пустым и был информирован о местонахождении коллег Клавдией Николаевной) и ждали. Если бы они смогли взглянуть через дырку в

газете на лицо читающего пожилого человека, то с изумлением признали бы парторга факультета Петра Иссыккулевича Ольшанского. Но Боже мой, что за вид всегда представительный и солидный руководитель кафедры теоретической механики сейчас имел. Его египетский галстук в модную полоску, зависть факультета, был полуразвязан и болтался на шее как петля на шее повешенного. Пуговицы на воротнике еще сегодня утром белоснежной рубашки были вырваны с мясом, голубой двубортный блейзер, что его жена Серафима любовно отгладила перед работой, был смят и покрыт пылью, а на кремовых брюках из Польши, о ужас, никак нельзя было найти стрелки. А как постарел Петр Иссыккулевич, как изменился в лице. Его обычно опрятно причесанные волосы были взлохмачены и обрамляли обвисшее побелевшее лицо с пустыми, лихорадочно горящими глазами, а вместо одеколона «По-лет» от доцента несло красной икрой, «Столичной» и валокордином.

Только один человек ни на минуту не сводил взгляда с доцента Ольшанского, спрятавшегося за вчерашней газетой «Вечерняя Правда Сосковца». Это был, конечно же, Михаил Афанасьевич (он же полковник Афанасий Икс). После сверки некоторых документов и чрезвычайного звонка в Москву, который подтвердил его лучшие подозрения, он не спускал глаз с каждого движения грузного тела завкафедрой, заноса их симпатическими чернилами в заминированную от врагов записную книжку. Одним словом, Афанасий был на хвосте и чувствовал, как будто гора Магнитка свалилась с его плеч и что он помолодел на двадцать лет. Записная содержала поминутные движения подозреваемого монгольского шпиона с того момента, как Петр Иссыккулевич, что прохаживался перед дверьми, что вели в зал заседания с «улицы», вдруг ни с того ни с сего бухнулся на пыльный дубовый паркет и, в корчах, стал рвать ворот рубахи, нечленораздельно произнося нецензур-

ные слова. Она также содержала полный отчет слов, произнесенных «монгольцем» членораздельно, когда он отклонил услуги, предложенные скорой университетской помощью, она содержала все членораздельно произнесенные нецензурные слова («Слава Богу, чернила прозрачные», – думал Афанасий, краснея и записывая их в заминированную книжку), которые агент произнес в мужском туалете второго этажа, в то время как он пытался привести свою одежду в порядок, и телефонные номера, адреса, партийность и характеристики всех сообщников, которым монгольский сепаратист позвонил из своего кабинета, что напротив зала Ученого Совета.

Сейчас же, не замеченный абсолютно никем, Михаил Афанасьевич прятался за пыльными книгами на третьей полке и сосредоточенно пытался не чихнуть, разглядывая завкафедрой теормеханики в телескопический цейсовский инфракрасный бинокль (для тех, как известно, «Вечерняя Правда» не помеха). «Попался, голубчик. Ты у меня запоешь, как канарейка», – в предвкушении размышлял отставной полковник органов, избавляясь время от времени от непрошенных посетителей официальным: «Проходите, проходите, гражданин. Не мешайте следствию». И все проходили, только одного шестикурсника пришлось припугнуть аспирантурой.

Одно только раздражало бывалого чекиста: кудлатая голова профессора Пустопашенского находилась на одной линии с головой подозреваемого, и это мешало Михаилу Афанасьевичу фиксировать положение губ негодяя. «Матерый», – с невольным восхищением думал отставной сотрудник органов, пытаясь найти более удобный угол зрения, в то время как Пустопашенский, трясая шапкой волос, в шестой раз обращался к сменившей младшего библиотекаря Наташу заведующей библиотекой Фатюхиной с одним и тем же вопросом:

– Как же так не положено?! Послушайте, дорогая Галина Родионовна, здесь решается вопрос о репутации ученого, а вы говорите не положено. Эта диссертация и нужна-то только на одну минуту. Мы с товарищами ее здесь, перед вашими глазами полистаем несколько минут. Почему же нельзя?

Галина Родионовна кидала быстрый взгляд поверх газеты «Вечерняя Правда Сосковца», видела быстрое отрицательное покачивание разнузданных лохм бывшего повесы Ольшанского, кидала следующий быстрый взгляд на отрешенное лицо декана Птурсова, который с очевидной скукой рассматривал разводы, которые прошлогодний осенний ливень оставил на потолке, и серьезно отвечала:

– Кирилл Львович! Сколько же можно повторять! Наташа ведь вам все объяснила. Всего два экземпляра и существует в библиотеке, и во всем Союзе, между прочим, как вам хорошо известно. Если один экземпляр на руках, то второй экземпляр выдавать не положено. Вы же сами знаете, сколько плагиаторов развелось. К тому же, не положено выдавать диссертации на руки без справки, что она нужна для вашей научной деятельности и без письменного разрешения автора диссертации.

– Так Николай Николаевич Зябликов умер несколько лет тому назад, – молил Пустопашенский.

– Тем более, – твердо отвечала завбиблиотекой, – тогда нужно письменное разрешение ВАКа.

– Что же, нельзя ли исключения сделать? – подключился к Пустопашенскому Мордехай Мордехаевич, который, найдя ситуацию пикантной и забавной, восстановил свой контакт с внешним миром. – Вы же меня знаете, Галина Родионовна, я прослежу, чтобы никакого плагиаторства не было, – улыбнулся он.

– Я вас знаю, Мордехай Мордехаевич, – отвечала непоколебимая Фатюхина, для пущей уверенности еще раз окинув взглядом представителей факультетской тройки (предместкома Капуцинов слег с насморком в Гаграх

и потому на совещании не присутствовал), – но правила есть правила. А если что случится? Кто будет отвечать? Я, я буду отвечать, завбиблиотекой Фатюхина.

– Но кто же имеет на руках первый экземпляр? – вдруг осененный, вмешался доктор наук Кудинов, представитель с кафедры низких температур. – Он где-нибудь здесь, в читальном зале для научных сотрудников. Конечно же, он нам не откажет взглянуть на диссертацию Зябликова. Вы ведь не выдаете диссертации на дом, Галина Родионовна? – Тут Кудинов, который во время исторического подъема на пятый этаж никак не мог избавиться от мысли, что он все-таки навредил Равику своим присутствием на Ученом Совете, оглянулся назад на коллег, ища моральной поддержки.

Всклокоченный пук волос над газетным листом заколебался с такой силой, что портрет Льва Давидовича Ландау, который венчал юбилейный монтаж, несколько перекосило. Но было поздно, так как, опережая завбиблиотекой, Наташа, которой было просто больно видеть, как маются известные ученые страны, и которая секретной сигнализации, установившейся меж двумя членами факультетской тройки и Фатюхиной, не понимала, ответила наивно и простодушно:

– Конечно, конечно. Я знаю. Это Петр Иссыккулевич Олышанский.

– Олышанский!!! – как в один голос вскричали члены Ученого Совета. – Где он??!!

Птурсов и Галина Родионовна помертвели, Наташа порозовела, а из-за вчерашней газеты «Вечерняя Правда Сосковца» раздался звук, напоминающий предсмертный храп умирающего бизона, которого только что переехало поездом где-то в американской прерии.

– Олышанский!!!!!! – еще раз вразнобой вскричали коллеги ученые, давая волю своим эмоциям. – Не может быть!!!!!!

От сотрясения воздуха портрет Льва Давидовича Ландау сорвался с кнопок, что пригвоздили его к стене,

и бесшумно упал за шкаф экспозиции. Последовало всеобщее столпотворение.

А в это время Иван Петрович Хазаров заканчивал обход читального зала для студентов. Время от времени он любил появляться инкогнито в студенческом зале, где среди уютных зеленых ламп студенческая молодежь конспектировала классиков марксизма-ленинизма или даже готовилась к экзаменам или зачетам, и пройтись меж столов, по-дружески поглядывая через плечо тем, пред кем, как известно, все дороги были открыты. Вид молодых, серьезных лиц молодил Ивана Петровича, напоминал ему его собственную бессонную комсомольскую юность, когда лунными ночами он проводил часы за первым послевоенным изданием полного собрания сочинений отца всех физиков и математиков, пытаясь проникнуть в глубочайшие тайны материи. К тому же, эти ненавязчивые инспекции иногда помогали предотвратить беду. К примеру, в один прекрасный декабрьский вечер несколько лет тому назад, Иван Петрович наткнулся на одного первокурсника, который по всем признакам конспектировал заданное на дом. И что же возмущенный парторг обнаружил в тетради! Крупным шрифтом, на всю страницу было написано:

ПАСХАЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ

- 1) Вся власть – сброду.
- 2) Ударим по бездорожью разгильдяйством.
- 3) etc., etc., etc.,....

(Из секретной, заполуночной резолюции КаЦо по улучшению идеологической работы на деревне и в быту.)

Парторга чуть было инфаркт не хватил на месте. Но нашел силы Иван Петрович, схватил негодяя за ухо и выдворил его с факультета. И что вы думаете. Через несколько лет этот прохвост, по слухам, спился, улизнул в Швецию, пошел на службу в ЦРУ и помер в автомобильной катастрофе на Галапагосских островах. Страшно и подумать, что случилось бы, если бы этот

проходимец не был бы выявлен партийной организацией. Он, может быть, в академики вышел бы, прежде чем сбежать за кордон.

Сегодня же парторг отделения был более или менее доволен. Никто хлебными шариками не плевался, бумажных самолетов не пускал и без причины не хихикал. Весь студенческий состав, как и полагается перед зачетом по общественно-политическим дисциплинам, прилежно копировал труды и шпаргалки. Пришлось, правда, разбудить и отчитать некоторых, но это было пустяки. Закончив обход, Хазаров заспешил назад, в маленькую комнату выдачи литературы, чтобы присоединиться к коллегам по Ученому Совету. Тревожно было на его душе. Как-то не так, не как должно проходило заседание.

Распахнув две узкие, полупрозрачного стекла створки двери, Иван Петрович чуть было не споткнулся о своего старого товарища, Петра Ольшанского. Тот был погружен в чтение репортажа специального корреспондента «Правды» Сержа Невыливайко под заголовком «Дурацкая пуля дум-дум оборвала жизнь замечательного борца за гражданские права негров Берега Слоновой Напасти». К сожалению, самая интересная часть репортажа была уничтожена дыркой, которую настойчивый палец Ольшанского повертел в бумаге несколько минут назад. Все равно, Петр Исыккулевич не унывал и внимательно перечитывал то, что осталось от репортажа.

– Прошу прощения, Петр Исыккулевич? – вежливым шепотом произнес Иван Петрович, кивая на проглядывающий меж толстых ног Ольшанского уголок чего-то, что выглядело как толстый манускрипт в черном коленкоровом переплете. – Подушечку? – и после отрицательного мановения поседелого клока волос присоединился к приходившим в себя после ошеломительных новостей коллегам, засунув подушечку под пиджак, подумав: «Сгодится Фросе на Новогодний подарок».

Иван Петрович Хазаров, надо сказать, осуществлял еще одну полезную функцию на факультете. Видя во время своих обходов оставленный без внимания ценный предмет, или портфель, или еще что, он никогда не забывал наказать растяпу. А что если бы он был бы агент иностранной державы (упаси Бог, конечно), а что если портфель содержал комсомольский билет? Или другой важный документ? Паспорт, например, или ведомость по взносам? Чтобы не оставить врагу, который, Иван Петрович знал, только и рыскал по факультету, ни одного шанса, парторг незаметно брал этот ценный предмет или портфель под свою ответственность. К тому же, если потом разбиралось персональное дело утратившего билет ротозея, было очень легко проверить, насколько правдив этот растяпа был, насколько точен в деталях. Сегодня, отмечал про себя Хазаров, студенты были бдительны, и ему всего-то и удалось свистнуть вышитую подушечку какого-то неженки по фамилии Прокофьев, который, очевидно, презирал рабоче-крестьянскую простоту гладкой поверхности дубовых стульев.

Коллеги все еще продолжали напряженно перешептываться, обсуждая новости (никто еще не решился отправиться на розыск Ольшанского и злополучной диссертации), как среди них пронесло зловещим словом «инфаркт». Его принесла Клавдия Николаевна, которая бесшумно и незаметно проскользнула в библиотеку и в данный момент шептала что-то в костистое ухо декана, время от времени округляя глаза для вящей убедительности. Декан оставался спокоен, но одна морщинка посредине его выпуклого лба выдавала его с головой. Декан думал.

Постепенно ужас сковал группу именитых ученых. Необоримо зловещее слово «инфаркт» все чаще и чаще можно было различить среди неразличимых слов горячего шепота ученого секретаря. Дело было в том, что среди присутствующих, пожалуй, только доцент Путу-

зов, факультетский футболист, не был в той или иной степени сердечником. Наука еще не открыла прямой связи между количеством посещаемых заседаний и риском инфаркта, но маститые интеллигенты прекрасно знали о существовании этой связи. Хотя можно было спорить до хрипоты, до последней воблы, была ли эта связь зависимостью экспоненциальной или логарифмической, существование ее (несмотря на жалкие попытки некоторых буржуазных ученых) было неоспоримо. Казалось, силы провидения не давали роздыху лучшим представителям интеллигенции. Только-только прослойка избавилась от детской болезни левизны, появилось осложнение правого уклонения. Его, в свою очередь, сменила эпидемия космополитического масштаба и характера. И вот теперь инфаркт косил под корень знатных ученых и общественников. А коса, как известно, репейника от василька не отличает, косит всех. Так что если и было что-либо на белом свете, о чем все ученые факультета, да, пожалуй, и Воробьевогорского района Сосковска, были в глубине души единогласного мнения, это был, конечно же, инфаркт. Особенно те, кто перевалил этот трудный рубеж, который отделяет работников ответственных от работников безответственных.

Как-то позабыты были все разногласия, и настороженно прислушивающиеся ученые, что с замиранием сердца смотрели на быстро шевелимые губы Клавдии Николаевны, пытаясь ответить на мучительный вопрос: «Кто на этот раз?» – наконец выловили из гауссова шума ее шепота имя парторга факультета.

Грустно стало в маленькой комнате выдачи литературы, глупыми стали казаться вопросы, над которыми участники заседания только пять минут назад ломали себе голову. Глупыми и неуместными. Что ни говори, а Петька был старый товарищ, пил со всеми наравне, не зазнавался и, когда привозили японские зонтики в уни-

вермаг «Москва», всегда за неделю вперед извещал коллег.

Объединенные в общем горе присутствующие стали все больше и больше чувствовать угрызения совести. Послышались самокритические замечания: «Не уберегли», кто-то стал рассказывать о том, какой замечательный рыбак Петр Иссыккулевич был. Кирилл Львович Пустопашенский, который вдруг понял, как неправильно было его гражданское геройство, сморкался в белоснежный носовой платок, и кто-то в углу, скрытый от ученых суточной газетой «Вечерняя Правда Сосковца», громко и без стеснения рыдал. Было слышно, как слезы дождем капали на суровую поверхность газеты.

– Предлагаю вернуться в зал заседаний, товарищи, – с печальным всхлипом произнес наконец Василий Федорович. Он вдруг почувствовал ужасную пустоту в желудке и испытывал странное чувство отрезанной правой руки.

– Тяжело нам придется без Петра Иссыккулевича, но его дело необходимо продолжить. По местам, товарищи, – продолжил он печально.

Все согласно закивали головами и один за другим, гуськом, покинули библиотеку. Только Хазаров задержался на лестничной клетке съездить с горя по уху какому-то второкурснику, который, забывшись, слушал западный джаз на транзисторе, а на замечаниеотреагировал матом. Никто даже не стал ждать лифта, и через несколько минут тяжелая тишина нависла в зале Ученого Совета.

Все были в сборе, и в то же время кого-то остро не хватало.

– Что ж, продолжим прения, товарищи, – со вздохом выговорил декан Птурсов после глотка траурно-черного кофе. – Кто за? Единогласно.

– Одну минуту, товарищи, – внезапно поднял голо-

ву профессор Пустопашенский, и негодующие взоры коллег обратились на него.

«Чего он еще хочет, презренный интеллигентишка? Довел же Петра до припадка», – можно было прочесть на лицах ученых. Но профессор давно забыл то, что его волновало полчаса назад. Сейчас его сердце раздирало чувство вины, душу скребли кошки, а перед глазами стояли печальные лица Серафимы, жены парторга, и их семерых детей.

– Я вот только хочу добавить, соболезнаю вместе со всеми, товарищи. Уважаемый Петр Иссыккулевич, здоровье которого глубоко подорвано, частично и по моей вине, несомненно нуждается во всем лучшем, что советская медицина может ему предоставить. Я предлагаю наградить уважаемого доктора наук Ольшанского единовременным и безвозмездным пособием в семьсот рублей и путевкой Гагры на три месяца.

– А детей на полгода в Артек, – вставил верный партиец Хазаров.

– Единогласно, – ответил Птурсов.

Еще один доктор наук был в муках рожден для советской науки и никто не слышал, как Афанасий Икс шептал за шторами с заложенным от пыли носом:

– Продались падлы, все продались монгольскому хозяину. Ну, погодите, вы у меня все запоете как канарейки.

Тут он чихнул, и наваждение исчезло. Сладко улыбаясь после освежающего сна, Михаил Афанасьевич занес симпатическими чернилами: «Проверить монгольскую линию». И, обратившись к сидящему по соседству парторгу факультета, сказал:

– Поздравляю, Петр Иссыккулевич, поздравляю. Сильную вы докторскую написали.

Тут он подмигнул счастливо смущенному Ольшанскому:

– Николай Николаевич Зябликов тоже был бы рад, не так ли? – и лукаво улыбнулся.

ИЗ СТАРЫХ ПЕСЕН

Задолго до того, как Юз Алешковский заявил себя прекрасным прозаиком, он был широкоизвестным автором фольклорных песен. Можно без преувеличения сказать, что две из них – «Товарищ Сталин, вы большой ученый» и «Окурочек» – сделались поистине народными. Мы уже печатали песни Юза Алешковского – теперь предлагаем нашим читателям еще часть его песенного творчества.

Редакция

СЕМЕЕЧКА

Посвящаю мадам Питерс

Это было давно.
Еще жили с евреями в мире
все арабы. И Насер
не закрыл для прохода Суэц...
А в Кремле, в однокомнатной,
скромной квартире
со Светланкою в куклы
играл самый скромный на свете отец.

Но внезапно она,
до усов дотянувшись ручонкой,
тихо дернула их
и на коврик упали усы...
Даже трудно сказать,
что творилось в душе у девчонки,
а папаня безусый
был нелеп, как без стрелок часы.

И спросила Светлана,
с большим удивлением глядя:
«Ты не папа, подлец?
Ты вредитель, шпион и фашист...»
И чужой, нехороший,
от страха трясущийся дядя,
откровенно признался:
«Я секретный народный артист...»

Горько всхлипнул ребенок,
прижавшись к груди оборотня.
И несчастнее их
больше не было в мире людей.
Не учитель, не друг,
не отец и не Ленин сегодня
на коленках молил:
«Не губите, Светлана, детей...»

Но крутилась под ковриком
магнитофонная лента.
А с усами на коврике
серый котенок играл...
«Не губите, Светлана», –
воскликнув с японским акцентом,
дядя с Васькой в троцкисты
пошел поиграть и... пропал.

В тот же час,
в тесной спальне
от ревности белый
симпатичный Грузин
демонстрировал ндрав –
из-за пазухи вынул
вороненый наган «Парабеллум»
и без всякого якова
в маму Светланы пиф-паф!

А умелец Лейбович,
из Малого театра гример,
возле Сретенки где-то
случайно попал под мотор...

В лагерях проводили мы
детство счастливое наше.
Ну а ихнего детства
отродясь не бывало хуже.
Васька пил на троих
с двойниками родного папаша,
а Светлана меня...
как перчатки меняла мужей.

Васька пил. Дуба дал.
Снят с могилки евонной пропеллер,
чтоб она за рубеж
отвалить не могла.
А Светланку везет
на зеленой «импале» Рокфеллер
по шикарным шоссе,
на рысях, на большие дела.

Жемчуга на нее
надевали нечистые лапы.
Выдавали аванс,
в цэрэу заводили прием.
И во гневе великом
в гробу заворочался папа –
ажно звякнули рюмки
в старинном буфете моем...

Но родная страна
оклемается скоро от травмы.
Воспитает сирот
весь великий советский народ.

Горевать в юбилейном году
не имеем, товарищи, прав мы.
Аллилуева нам – не помеха
стремиться, как прежде, вперед.

Сталин спит крепким сном.
Нет с могилкою рядом скамеечки.
Над могилкою стынет
тоскливый, осенний туман...
Ну скажу я вам, братцы,
подобной скамеечки
не имел ни Петр,
ни Грозный, кровавый диктатор Иван...

1967

КУБИНСКАЯ РАЗЛУКА

Эрнесто Че Гевара
Гавану покидал,
поскольку легкой жизни
он сроду не видал.
 Прощай, родная Куба.
 Прощай, мой вождь Фидель.
 Прощай, мой министерский,
 мой кожаный портфель.
«Хоть курочку в дорогу
возьми», – кричат друзья.
«Мне курочки не надо,
мне курочки нельзя...»
 Мне курочки не надо.
 Я в нищую суму
 кусочек рафинада
 кубинского возьму.
Возьму его я с собою.
До гроба донесу.

А если будет горько,
возьму и пососу.

Прощай, родная Куба.
Прощай, мой вождь Фидель.
Прощай, мой министерский,
мой кожаный портфель.

Я не вернусь на службу.
Не возвращусь в семью,
борясь за мир и дружбу
у бездны на краю.

Разлука ты разлука!
Чужая сторона.
Марксистская наука
теперь моя жена.

Старшой сыночек Мао,
а младший – Хо Ши Мин,
а деверь – каждый честный
советский гражданин.

Тираны, трепещите.
Мужайтесь, рабы.
Придет вам избавленье
от классовой борьбы.

Прощай, родная Куба!
Прощай, мой вождь Фидель!
Прощай, мой министерский,
мой кожаный портфель.

1965

ПЕСНЯ О НИКИТЕ
(напета вместе со старым другом)

Из вида не теряя главной цели,
суровой правде мы глядим в лицо:
Никита оказался пустомелей,
истории вертевшей колесо.

Он ездил по Советскому Союзу.
Дешевой популярности искал.
Заместо хлеба сеял кукурузу.
Людей советских в космос запускал.

Он допускал опасное зазнайство
и вопреки усилиям ЦК
разваливал колхозное хозяйство
и проглядел талант Пастернака.

Конечно, он с сердечной теплотою
врагов народа начал выпускать,
но водку нашу сделал дорогою
и на троих заставил распивать.

А сам народной водки выпил много.
Петровну к светской жизни приучал.
Он в Индии дивился на йога.
По ассамблее каблуком стучал.

Он в Африке прокладывал каналы,
чтоб египтянам было где пахать...
Потом его беспечность доканала,
и он поехал в Сочи отдыхать.

А в это время со своих постелей
вставали члены пленума ЦК.
Они с капустой пирогов хотели.
Была готова к выдаче мука.

Никита крепко осерчал на пленум.
С обидой Микояну крикнул: «блядь».
Жалея, что не дал под зад коленом
днепропетровцам, растуды их мать...

Кирнувши за наличные «столичной»,
Никита в сквере кормит голубей.

И к парторганизации первичной
зятек его приписан Аджубей...

1966

ПЕСНЯ О ЕСЕНИНЕ
(напета вместе с бывшим другом)

Жил на свете Есенин Сережа.
С горя горького горькую пил.
Но ни разу на горло Сережа
песне собственной не наступил.
 Вся Россия была на подъеме.
 НЭП катился отчаянно вспять.
 Где же кроме как не в Моссельпроме
 было водку ему покупать?..
А партийный поэт Маяковский
в это время в Акуловке жил.
И не то что «особой московской» –
муравьиного спирту не пил.
 Он считал, что эпохе подперло.
 Без него не помрет капитал...
 Песня плакала. Он ей на горло
 то и дело ногой наступал.
Наступал заграничным штиблетом
для коммуны и партии для.
А Есенин был просто поэтом
и решил, что уж лучше – петля...
Что уж лучше – на горло петля...
 Жил на свете Есенин Сережа.
 С горя горького горькую пил.
 Но ни разу на горло Сережа
 песне собственной не наступил.
Ну а песня, а песня, а песня –
овдовевшая песня жива.

И поет ее Красная Пресня
и Акуловка вся, и Москва.

1964

ОСЕННИЙ РОМАНС
(подражание)

Под сенью трепетной
осенних хладных крыл,
на берегу
божественной разлуки –
ненастная листва
и птах тоскливы звуки,
и ветер северный,
и прах Земли уныл.

Как долго я стою
над стынувшим ручьем.
Как часто я брожу
в сентябрьском мироздании,
прижавшись, как скрипач,
задумчивым плечом
к багряной веточке,
к музыке увяданья...

Примечу белый гриб –
чело пред ним склоняю.
А вот часов и дней
не замечаю я...
Любезной осенью
все лучше понимаю –
тварь благодарная –
премудрость Бытия...

Как сладок до поры
существования сон.
И мне все чудится
в нем образ жизни краткой:
падучая звезда
на небесах времен,
над мглой и хаосом
вселенского порядка...

Зима берез в моем саду
и грусть могил.
И другу милому
я жму с любовью руки,
под сенью трепетной
осенних желтых крыл
на берегу
божественной разлуки.

1969

Вышла в свет книга Беур Бриа «МЕССИЯ», представляющая собой Божественное откровение, написанное автором на основе Торы (Книги Моисея) под воздействием Бога в течение шести лет (1979–1984). Это Божественное откровение есть Мессия, явившийся в настоящее время.

В откровении «Мессия» раскрыто: понятие сотворения Богом земного мира (согласующееся с наукой), частичное вмешательство Бога в развитие человечества с предопределённой ролью в этом евреев, будущее человечества с дальнейшей судьбой еврейского народа и государства Израиль.

Цена книги: 12 долларов (в Израиле 10 долларов). Заказывать по адресу: А. Ведрицкий, Вох 28065, Тель-Авив, Израиль.

«АКВАРИУМ»

*Подготовка к печати и вступительная заметка
Анатолия Копейкина*

Кассеты с записями ансамбля «Аквариум» получили хождение, видимо, в конце 70-х годов и особенно распространились в начале 80-х.

Известно, что возглавляет его Борис Гребенщиков, предпочитающий именоваться БГ, – скорее из соображений краткости, нежели конспирации. В одном из московских институтов издавался самиздатский журнал, посвященный, в частности, и музыке, – «Зеркало», выпуск которого был санкционирован партийными институтскими властями.

В автобиографии БГ пишет, что до середины 70-х годов он пел исключительно по-английски, пока не понял, что не пристало русскому рок-ансамблю употреблять чужой язык.

Известно еще, что часть артистов живет в Ленинграде, часть в Москве, и что состав группы не всегда постоянен. По словам самого БГ, он увлекался восточной философией. Видно также, что и отечественная школа абсурдизма (Олейников, Хармс, Введенский) оказала влияние на группу. Кто в ней сочиняет стихи, остается проблематичным: возможно, это один или два человека, близких к ансамблю, а возможно, что имеет место и коллективное творчество.

Ансамбль нередко дает концерты, главным образом в домах культуры, клубах, что находятся на окраинах «обеих столиц»; насколько известно, приводимые ниже тексты на концертах не исполняются.

Тексты переписаны с кассеты без ведома участников ансамбля. Кассета была записана примерно в 1980-1981 гг.

А. К.

* *
*

Корнелий Шнапс идет по свету,
Сжимая крюк в кармане брюк.
Ведет его дорога в Лету,
Кругом цветет сплошной *цурюк*.

Корнелий мелодично свищет
Гармоний сложных и простых.
Он от добра добра не ищет.
Вот и конец пути. Бултых!

* *
*

Где ты теперь, поручик Иванов?
Ты на парад выходишь без штанов,
Ты бродишь там, божественно нагой,
Ты осенен троллейбусной дугой.

Когда домой идешь с парада ты,
Твои соседи прячутся в кусты.
Твой револьвер, блестящий, как алмаз,
Всегда смущал мой нежный глаз.

И по ночам горит твоя свеча,
Когда клопов ты душишь сгоряча
И топчешь мух тяжелым сапогом...
Не дай Господь мне стать твоим врагом

* *

*

Хочу я стать совсем слепым
И торговаться лучше с пылью,
Пусть не подвержен я насилью
И мне не чужд порочный дым.

Я покоряю города
Истошным воплем идиота.
Мне нравится моя работа.
Гори, гори, моя звезда!

* *

*

Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев –
К какой-нибудь бабе в постель.

Вот раньше, бывало, гулял, Козлодоев –
Глаза его были пусты –
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев
Заняться любовью в кусты.

Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал...

А ныне, а ныне – попрятались, суки,
В окошки отдельных квартир.
...Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он – стар, он – желает в сортир.

* *
*

Широ́ко трепещет туманная нива,
Вороны спускаются с гор,
И два тракториста, напившихся пива,
Идут отдыхать на бугор.

Один Жан-Поль Сартра имеет в кармане
И этим сознанием горд.
Другой же играет порой на баяне
«Сантану» и «Weather Report».

* *
*

Что лучше – пена или дом?
Давай-ка вместе поразмыслим.
Тогда, дай Бог, все наши мысли
Исчезнут в небе голубом.

* *
*

Крюкообразность – мой девиз.
«Мадонна Литта» – мой каприз.

Ромашки ем я вместо чаю,
Но пастухов не привечаю.

Твердые розы рву с утра.
Когда ж приходят дохтура,

Я им в лицо слюною едкой
Плюю вонючие объедки.

* *
*

Несчастный матрос, твой корабль потоп,
Клопы завелись в парусах,
Твой боцман – любитель портвейна и сноб,
С прокисшей капустой в усах...

Со злым тараканом один на один
Ты бьешься, бесстрашен и прост,
Среди осьминогов, моржей и сардин, –
Прекрасный, как Охтенский мост.

* *
*

Кто откроет двери – бсстрашный, как пес,
Мастер мух, собеседник стрекоз,
Увенчанный крапивой и листьями роз, –
 Вышел из города скрипящий статуй.
 Вышел из города скрипящий статуй.

С полночными зубами, славный, как слон,
Царапающий лбом скрижали времен,
Стоять столбом! Это движется он.
 Вышел из города скрипящий статуй,
 Вышел из города скрипящий статуй.

Последний шанс, выпиватель воды,
Идущий вниз с четверга до среды,
Живущий за стеной из секретной слюды,
 Вышел из города скрипящий статуй,
 Вышел из города скрипящий статуй...

* *
*

У императора Нерона
В гостиной жили два барона.
И каждый был без языка.
Что делать, жизнь нелегка.

У императора в гостиной
Изрядно отдавало псиной.
Причем здесь пес? – оставь вопрос.
Спешит к восходу альбатрос.

* *
*

Служенье муз не терпит колеса.
А если терпит, право, не случайно.
Но я вам не раскрою этой тайны,
А лучше брошу ногу в небеса.

Ты возражаешь мне, проклятая роса,
Ты видишь суть в объятии трамваем.
Но все равно не верю я комбайну –
Ведь он не различает голоса.

Таинственный бокал похож на крюк.
Вокруг него рассыпаны алмазы.
Не целовался я с тобой ни разу,
Мой омерзительный безногий друг.

Упреки я приму – но лишь тогда,
Когда в пакгаузе затеплится вода...

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕС

Долгая память хуже, чем сифилис,
Особенно в узком кругу.
Идет вакханалия воспоминаний –
Не пожелать и врагу.

И стареющий юноша в поисках кайфа
Лелеет в зрачках своих вечный вопрос
И поливает вином, и откуда-то сбоку
С прицельным вниманьем глядит электрический пес.

Мы несем свою вахту в прокуренной кухне,
В шляпах из перьев и в трусах из свинца.
И если кто-то издох от удушья,
То отряд не заметил потери бойца.

Сплоченность рядов есть свидетельство дружбы
Или – страха сделать свой собственный шаг,
И на кухне замком возвышенно реет
Похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг.

И у каждого здесь есть излюбленный метод –
Приводить в движение сияющий прах.
Гитаристы лелеют свои фотоснимки,
А поэты торчат на чужих номерах.

Но сами давно звонят лишь друг другу,
Обсуждая, насколько прекрасен наш друг.
И этот пес вгрызается в стены
В вечном поиске новых и ласковых рук.

Но женщины – те, что могли быть как сестры, –
Красят ядом рабочую плоскость ногтей,
И во всем, что движется, видят соперниц,
Хотя уверяют, что видят блядей.

И от таких проявлений любви к своим ближним
Мне становится страшно за рассудок и нрав.
Но этот пес не чужд парадоксов, он влюблен в этих
женщин

И с его точки зрения, он прав.

Потому что другие здесь не вдохновляют
Ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк.
И один с изумлением смотрит на Запад,
А другой с восторгом глядит на Восток.

И каждый уже десять лет учит роли,
О которых лет десять как стоит забыть.
А этот пес смеется над нами,
Он не занят вопросом, каким и зачем ему быть.

У этой песни нет конца и начала,
Но есть эпиграф, вот несколько фраз:
Мы выросли в поле такого напряжения,
Где любое устройство сгорает не раз.

И, логически мысля, сей пес невозможен,
Но он жив, как не снилось и нам, мудрецам.
И друзья меня спросят: о ком эта песня?
Я отвечу загадочно: ах, если бы я знал это сам...

ИВАНОВ

Иванов на остановке, в ожидании колесницы,
В предвкушении кружки пива –
В понедельник утром жизнь тяжела.
А кругом простые люди,
Что, толпясь, заходят в транспорт,
Топчут ноги Иванову,
Наступают ему прямо на крыла.

И ему не слиться с ними,
С согражданами своими.
У него в кармане – Сартр,
У сограждан – в лучшем случае пятак.
Иванов читает книгу,
И приходят контролеры,
И штрафуют Иванова, –
В понедельник утром всё всегда не так.

Он живет на Петроградской,
В коммунальном коридоре,
Между кухней и уборной,
И уборная всегда полным-полна.
И к нему приходят люди
С чемоданами портвейна
И проводят время жизни
За сравнительным анализом вина.

А потом они уходят.
Только лучшие друзья и очарованные дамы
Остаются с Ивановым до утра.
А потом приходит утро,
Все прокурено и серо –
Подтверждает старый тезис,
Что сегодня тот же день, что был вчера.

АТЕИСТ

Борис Бурле родился очень маленьким, слабеньким, и мать, чтобы выходить этот светленький морщинистый комочек плоти в послевоенном Ленинграде, кормила его до трех лет грудью.

В семнадцать лет Боря закончил в Ленинграде Футбольную школу молодежи – ФШМ, но дальше по правому краю футбольной судьбы не побежал, а принужден был обстоятельствами приобретать профессию инженера в Лесотехнической академии. «Плановая вырубка лесонасаждений» – так, в принципе, должно было бы быть написано в его дипломе, но не написали и вообще не дали ничего. На пятом курсе Боря захлебнулся новой для себя и главной правдой, с нею за спиной легко поднялся, и с двумя чемоданами в долгих руках, с тихой невозмутимой (лишь бы с Борей) женой Аней и двумя светлого тона дочками взлетел по некрутому витку над Ленинградом и по такому же витку прилачился к суровому бетону аэропорта Лод.

Жена его между детьми успела окончить институт, и их, как специалистов, направили учить язык в поселок возле Иерусалима, в трехкомнатную четверть домика, сложенного из асбестовых плит. Над семейством Бурле шумно жила в своей трехкомнатной четверти семья зубного врача Цейса из города Ж.

Стылый, малоподвижный Восток, в котором Боря уже два месяца жил в дивном и праздничном сне, в душном и свежем воздухе террасного полосатого среднегорья, – Бурле ненавидел.

Зернистый воздух гор вызывал у него горловые спазмы, неопрятные, нервные аборигены – раз-

драженное удивление, в общем, до истины надо было добираться двумя переполненными, городскими автобусами с пересадкой на Центральной автобусной станции.

Легкий праздничный туман из головокружительного счастья иерусалимской весны задурманил Борину голову, глуховатого островного балтийского профиля, совсем.

Был он не просто так, еще инженер. Жило в этом запущенно сложном человеке острое ощущение справедливости, правды и понимания счастья.

За два месяца до окончания средней школы Бурле пригласили на весенний тренировочный сбор, с профсоюзной командой мастеров в город Леселидзе. Был апрельский морозный денек, с жестяными лужами в родном, питерском дворе, с безжалостным рыбным ветром, с отчетливым подвижным небом. Растерянный от счастья Боря пришел домой.

– Посмотри на себя, как ты выглядишь, – сказала мать. Выглядел Боря бледновато. Футбол, в современной тренерской методике, не подходил для ее материнского взгляда.

– Меня пригласили с мастерами на сборы на юг, – объявил Боря.

– Достойное занятие для человека с головой, – завел из комнаты отец, еще не потерявший надежды на здоровье, на краткое будущее и на собственных детей.

– Сейчас лишит счастья, – отчетливо подумал Боря.

Развел их по углам до начала схватки решительный дверной звонок.

– Полковник Сорокин, – приложил руку в перчатке выше округлого, русского, любезного лица пришедший к шляпе. Веселый, гладкий, уверенный, разумный и трезвый.

– Здравствуйте товарищи Бурле: Анна Яковлевна, Савелий Матвеевич, Боря.

– Пожалуйста, товарищ полковник, – побледнел отец.

Не обращая внимания на слова отца, Сорокин крепко взял Боря за плечи.

– Ну, покажись-ка, сынку. Так вот ты какой, хорош, – заключил Сорокин.

– В чем дело? – окончательно испугался отец.

– Сын, говорю, у вас хорош, Савелий Матвеевич. Можно сказать, гений края, – шумел полковник в коридоре.

Отец завел его, наконец, в комнату, отнял плащ – шляпу изъять не удалось – усадил к столу, мать поднесла чай и любимое клубничное варенье последнего летнего вара в раскрытых трюмах хрустальной лады... и Сорокин потаранил дальше.

– По мнению многих, Боря через годик-другой будет играть в сборной, вот только подкрепит. У него замечательные перспективы. В его голодраной команде будущего у него нет и условий тоже, – гнал Сорокин, – а «Динамо» на подъеме, на подъеме, говорю, «Динамо». В общем, короче, прославленное «Динамо» хочет Боря.

Боря из своего угла злобно буркнул:

– А Боря не хочет прославленного «Динамо».

Но Сорокин, конечно, не слышал и увлеченно продолжал:

– Мы вчера с руководством наблюдали двухсторонку. Пришелся нам Борис. Генерал хвалил. В общем, берем в «Динамо», ну и естественно, любой ВУЗ, двухкомнатная квартира и машина «Лада» через год.

– Пейте чай, товарищ полковник, – умильно сказала мама.

– Его же не отпустят, – воскликнул отец.

– Чтобы у вас других забот не было, друзья, – улыбнулся Сорокин, – иди, Боренька, подмахни заявленьице.

Отец кивнул.

Боря перешагнул все еще живой остаток солнечного дня на полу навстречу ласково-любовному опытному взгляду Сорокина, как загипнотизированный, взял в руки дорогую хозяйскую авторучку – тяжелая сигара в золотом марципане американского избытка, – покрутил ее, отложил от листа.

– Я, товарищ полковник, футбол-то бросил час назад, так что простите.

Было в нем это достоинство, это несокрушимое гордое упрямство, Бог весть откуда, уже не от отца с матерью, конечно, а вот, наверное, от согбенного местечкового деда.

К тому же он был невероятно брезглив.

А играл действительно замечательно.

По кромке поля остановится, качнется влево и уйдет вправо, перепрыгивая защитные ноги, убегая к угловому застиранному флагу и подавая резко и коротко на переднюю штангу или по плавной высокой дуге на заднюю.

Настоящий традиционный правый край: крепконогий, легкогрудый, опасный.

Каждое утро, попив английского чайку и насмотревшись с крыльца и надышавшись, Боря отправлялся с женой Аней учить язык, который давался ему, но с трудом. Жена делала успехи невероятные. Ее перевели в самую прогрессирующую группу, которая начала занятия десять месяцев назад. Боря гордился. Аня тихо улыбалась.

В его начинающей группе все все время говорили только о работе, о поисках ее и о всем, что могло быть

с этим связано, – нервировали Борю. Только зубной врач Цейс и невероятная девушка Сандра из города Виннипега не говорили. Может быть, она тоже говорила, но Боря не понимал. Но наверняка не говорила. Девушка эта казалась настолько женщиной, что Боря все время хотел предложить Сандре быть ею, но боялся быть неправильно понятым, молчал и правильно делал. Только смотрел на ее лицо с простоватым профилем, замечательную походку, прямые, облитые дорогим солнечным шоколадом плечи.

Еще сидя в Ленинграде и читая письма от выехавших знакомых, Бурле всегда с раздражением читал эту фразу: «работы пока нет» или «работу еще не нашел», или «еду по поводу работы» и, наконец, «вчера нашел работу», как некий пик жизни.

– Здесь не наработались, – рычал Боря.

Страна представлялась ему местом, где все научаются жить по-новому, иначе, лучше, учатся правде, любви, справедливости.

– Боренька, а разве здесь ты живешь не по правде и любви? – робко спрашивала жена.

– Не совсем, – отвечал Боря.

Боря ехал учиться жить.

Вот и приехал.

Он чувствовал, как мощный грузовик этой жизни, катившейся в леноватой России не слишком быстро по уютным ухабам, выехал на западную роскошную магистраль и погнал так, что не то что остановиться, а даже придорожный пейзаж не углядеть.

Голова его кружилась, и он выходил из дома погулять по сизым волнам морского каменного холмогорья, задирали лицо к «разверстому небу над Иерусалимом», следил за полетом дикого голубя к Иордану... и огромная луна, не сделанная в Гамбурге, висевшая на тончайших дымных облаках, вроде бы над Вифлеемом, успокаивала и утешала.

Никуда Бурле не ходил и ничего не выяснял. Все и так было ясно. Его полуспециальность, полуполученная с такими жертвами в пользу чести, — здесь, в этой стране, обезумевшей на посадке леса, была полуприлична.

Даже «для рубки ухода» и «рубки санитарной» Боря был не нужен. Пока он не переживал и даже как-то радовался, но ясно было, что надо что-то придумывать. На ночь он читал сказки братьев Гримм, справедливо считая, что утро вечера мудренее, но и утро не наделяло его мысль делом.

Весь поселок, все новоприехавшие семьи бешено покупали предметы для новой жизни на новом месте, для новой ванны, для новой кухни, для новой спальни, для нового счастья. Брали ссуды, одалживали, устраивались на вторую работу, трудились по ночам. Только Боря не работал, не одалживал, не покупал. Глядя на спокойное лицо Ани, тревожился.

Соседей Бориных можно понять: всего было так много, вещи были так современны и так совершенны, и так прекрасно удобны, так доступны — только деньги, что головы не кружились только у очень немногих — у тех, кто в драненьком пиджачке, в плохоньких ботиночках на резине выехал раствориться и исчезнуть в дурманящем сладковатом воздухе.

Однажды к вечеру приехал в длинном автомобиле неожиданный гость, презируемый сосед по каменному ленинградскому двору, глухо брякнул машинной дверкой и, облаченный в новое имя Арик, зашел.

Оказалось, за три года здесь преуспел в страховании, открыл свою контору, катался по миру в удовольствии, все имел и был доволен.

Он упирался в кухонный столик отросшим животом, плечи его заплыли, щеки обвисли, он много и неопрятно ел. Речь его была темна.

Рассказал о поездке в Тайланд, с торопливыми подробностями, вполголоса, когда Аня вышла к детям, о визите к двум гладкотелым нежнокожим азиаткам,

одна из которых делала все обычно, а другая уж так... и от этого «так» у Бориса перебежала холодная дрожь по спине, несмотря на необъяснимое презрение к рассказчику и к себе.

Некогда этот Арик был узенький, плоскотелый прыгун-подросток с продолговатыми и сильными мышцами спины и ног, с целеустремленным в высоту суровым недалеким лицом.

– Ты что, с тех пор так и не играл? – спросил Арик, когда разговор неизбежно свернул к трудоустройству.

– Во что? – спросил Боря.

– Здесь мог бы делать хорошие деньги.

– Четырнадцать лет прошло, – сказал Боря.

– Мог бы хорошо зарабатывать большие деньги, – повторил Арик.

Когда Бурле вышел его провожать, тот безуспешно пытался дать ему денег, не смог, растрогался и сказал:

– Хорошо, что вы приехали весной. Зимой здесь, вообще, идет дождь – по улице не пройдешь. Тебе еще понравится.

– Мне и так нравится, – сказал Боря.

– Тогда что, тогда порядок. Главное, помни, что будет еще лучше, – поучал Арик, немудреный оптимист местнонационального замеса.

– Я уже и сам это давно понял, – сказал Бурле.

Дома он зашел в кухню, подсел к окну, включил радио и, глядя в черную мглу пропасти, начинавшейся сразу за сетчатой оградой поселка, послушал русскую станцию израильского радиовещания, в которой редактор-почасовик Ашеров скорбно поведал сильным, пожилым, чуть дребезжащим голосом, за которым чувствовалась подавленная истерика, намеренно и нарочито спокойно, кошмарную историю про польскую крестьянку Юзефу, про ее приемную дочь Хану, про их встречу через сорок лет в городе Кракове, и Боря Бурле почему-то тяжело плакал, глядя на приемник «Спидола» на обеденном казенном столе и слушая эту

довольно стандартную для этой страны новеллу, сложенную из простых русских, казалось бы, слов.

Но вот плакал.

– Старею, – подумал он, вытирая слезы.

Следующий день был короткий, пятница, полудень перед выходным. На асфальтовой полянке за домом играли в послеобеденный футбол до наступления темноты в метровые ворота взрослые парни, четыре на четыре.

Бородатый сионист Мирон, по московской конспиративной кличке «усы», освободился перед воротцами, получил мяч, занес высоко назад здоровенную ступню и, крикнув, быстро вымахнул.

Кожаный посланник судьбы со звоном влетел в Борину комнату, прямо в Борину жизнь.

Прибежал запыхавшийся потный сосед Цейс.

– Кто платить будет, а? – спросил Боря.

– Да ну вас, Бурле, мы с местными играем, отдайте скорее мяч, а то они Бог знает что о нас подумают, – сердито сказал Цейс.

– Как играют-то?

– Да ну, куются. Я заплачу.

Цейс уже практиковал.

Нельзя сказать, что Боря в выцветших трикотажных шароварах, в драных кедах и в ковбойке (профсоюзную футболку с номером 7 он надеть постеснялся) был встречен с воодушевлением. Было в его поведении что-то подозрительное, что-то не бравое, противоспортивное. Да и места не было.

Наконец Цейс задохнулся окончательно.

– Поиграйте, Бурле, за меня в защите. Постарайтесь не напортить, – сказал Цейс.

Соперники были парни резкие, темпераментные и Боре это облегчало. Он их ловил на начале движения, на намерении, так сказать, и дальше уже все было просто. Они как бы рассыпались перед ним, перед его едва обозначенными финтами, и Боря скользил между ними,

как в хоккее, обязательно по привычке в угол и оттуда уже легкий пас перед воротами на грозно набегающего Мирона.

Сам Бурле не забивал.

После игры к Бурле подошел соперничавший мальчик постарше, пожал руку и со свистящим выговором сказал затейливую фразу, из которой Боря понял слово «господин».

– Он предлагает свести тебя на тренировку мастеров к двоюродному брату. В понедельник в три часа, – перевел Мирон, который выучил язык в Москве.

– Годы мои не те, скажи ему спасибо, – сказал Боря.

– Это что вы такое говорите, Бурле, как вам не стыдно, – заволновался Цейс, – соглашайтесь немедленно.

– Старый я для этого дела.

– Старый не старый, а попробовать надо. Вы настоящий игрок, Бурле, стыдиться вам нечего.

– В понедельник поедем, а там видно будет, – рассудил Мирон.

– Согласный он, уговорили, – закивал Цейс мальчику.

Тот все понял без перевода, попрощался со всеми за руку и, сказав еще фразу, ушел.

– Он говорит, что вы, Бурле, суперзвезда, – попробовал свои силы в творчестве художественного перевода Цейс.

– Сраму-то, я же бежать не могу, – загоревал Боря.

– А зачем вам бежать, – вошел в раж Цейс, – вы их на месте чик и чак, чик и чак, – и, вскочив, он показал ногами, как надо будет Боре делать.

Самое смешное, что в его словах, не в движениях, конечно, был известный смысл.

– Чакнуть бы тебе в лоб, – злобно подумал Боря, – какой простой человек, – удивился, в гневе плюнул и пошел домой обедать с неоформленным желанием диеты.

Два с половиной дня Бурле пытался по утрам бегать в окрестностях поселка, не ел картошки и макарон, худел. В воскресенье вечером напился с Мироном плохой водки «Чудесная». Весь вечер Боря говорил одиност: «За тех, кто знает, чего нам не надо». Мирон отвечал: «За тех, кто в море», в смысле: «там, в другой стране, вдали». – «Жуткая страна какая, а?» – спрашивал Боря. «И все же жить можно только тут или там, ты со мной согласен, старик? И нигде больше». – «Ну да, ну да, или на северном полюсе души, или на южном».

Мирон был похож на разночинца – волосы его рассыпались, очки блестели. Он рассказал, что здесь, на высоте шестисот метров над уровнем моря, особый воздух, прибавляющий здоровья, и потому водки в Иерусалиме можно выпить больше, чем прежде на равнине. Наверное, он был прав. Выпили две бутылки водки, съели за разговором кастрюлю макарон с мясом, в томатном, переперченном Мироном соусе. В два часа пришла Аня и отвела Бурле домой. По дороге, в удивительной тишине и мгле, Боря все порывался набрать в авторучку чернильного неба и написать Ане любовное стихотворение. У него было поэтическое настроение, авторучка шариковая. Стихов он никогда не писал.

Приехали почти вовремя. Молодой светлоглазый тренер, чуть заплывший нерастраченными калориями, внимательно оглядел Борю и кивнул.

– Он говорит, чтобы ты переоделся и размялся. Сейчас будет двухсторонка, – сказал Мирон. – Сколько тебе лет?

– Тридцать один, а что?

– Он спросил. Я на всякий случай сказал, что двадцать восемь.

Боре достался плосконосый защитник, смешивший мрачным выражением лица. В этот день, вообще, все смешило Борю. Защитник безуспешно пытался грубить.

– Что-то ты не то делаешь, парень, – засмеялся Боря облегченно, и так, по веселой стезе пошел, пошел, только вынимай вратарь.

– Ну как, ребята, ничего? – спросил Боря Цейса и Мирона в перерыве. Те, загорававшие полуголыми на ветхой трибуне, живописали собою скульптурную группу «Сионист и зубной врач на отдыхе».

– Не то слово, старик, на меньше миллиона не соглашайся, – зашумел Цейс.

– Достоинно несешь честь советского футбола, – сдержанно похвалил Мирон.

– Второй тайм не потяну, – подумал вслух Бурле.

– А тебе и не надо, забей пендаль и хватит, – сказал Цейс.

– Какой пендаль? – не понял Боря.

Подошел тренер с пендалем в руке, деловито сунул Боре лимон, пластиковый бидон с водой, полотенце. Было очень жарко.

– Дайте ему пендаль пробить? – попросил Цейс. Мирон перевел.

– Так сойдет тоже, – сказал тренер. Мирон перевел.

– Я положу возле вас пендаль, посмотрите, пожалуйста, чтобы не украли. Он мне дорог, больно уж хорош, – сказал тренер.

– Проследим, – пообещал Мирон.

После тренировки представитель романтической школы Мирон учил Бурле городской топографии:

– Объясняю дорогу, запоминай, Боря. По этой стадионной улице, видишь, справа починает покрывки усач – Гад, молодой работающий хозяин, в некотором смысле знаменитость, так вот по этой улице ты выходишь на магистраль и спускаешься вниз налево, за грузинским рестораном, детищем крутых людей с Французской горки, на светофоре переходишь магистраль и по тенивому стоптанному тротуару медленно идешь по уже запущенной, перестраиваемой, но все равно милой серд-

цу Мамилле, с закрытым на солнечной стороне знаменитым и воспетым «фасолевым рестораном», выходишь к Старому городу, к сияющим цветам на всегда свежем газоне под стенами, пересекаешь несуразную площадку Яффских ворот, затем осторожно пробираешься в толпе и духоте фантастической улицы Виа дела Росса, выходишь в отстроенный геометрический Еврейский квартал и от него, в охряной тени иерусалимского камня, спускаешься к белой площади перед горой и стеной...

– Ну и что? – устало сказал Боря.

– Нет, ничего, – смутился Мирон.

Цейс доливал воду в радиатор и не слышал ничего.

Бурле представлял школу рафинированного реализма и никакого надрыва и восторга понять не мог.

Дела закрутились большие. Боря, при посредстве тех же Цейса и Мирона и адвоката Краховицкого, подписал с клубом очень выгодный для себя контракт.

– Куй, Боря, железо, пока горячо, – советовал Цейс абсолютно правильно.

Председатель правления клуба, энергичный промышленник, у которого глазная синева, казалось, выплескивала на глянцевые щеки, очень довольный сделкой, надавил где надо, сказал, кивнул, мобилизовал, и через неделю Боря въехал в новенькую, собственную, рассроченную на 25 лет квартиру в новом юго-западном районе столицы. Еще через неделю квартира была обставлена и оборудована, а еще через неделю Боря, все с теми же Мироном и Цейсом, кстати, совершенно и бескорыстно счастливыми, внес в агентство «вольво» крылатый банковский чек на автомобиль.

Между этими утомительными, но чрезвычайно занимательными делами Боря и играл.

В первый раз тренер, все правильно рассудив, подпустил Бурле на последние пятнадцать минут. Счет был ничейный, и иерусалимская, на восемьдесят процентов сефардская «торсида» разочарованно посвистывала.

Сначала у Бори не получилось. Защитник, суровый юноша, поймал Бурле вместе с финтом и мячом, легко уложил на землю и убежал в атаку, громко и презрительно топая по кочковатому, жесткому краю поля. Поле и все было не ахти и не шибко. Не для техничного игрока поля.

Во второй раз Бурле сыграл удачнее. Прокинул мяч сбоку и просто обежал опекуна с другой стороны. Окрашенную в грозные голевые цвета подачу партнеры досадно пропустили, но на трибунах оживились.

И уже из центрального круга главный иерусалимский игрок, хрупкого сложения, но почти армянин по фамилии, изящно, как и всегда, как и все, что он делал, отдавал Боре мягкий, как девушке, пас, и Бурле надвигался на защитника неумолимо и мстительно, как белая ленинградская ночь, и «раскручивал» грубияна вправо-влево своими невесомыми финтами гения, пока бедняга не усаживался, с временно закружившейся головой на землю, а Боря летел дальше, как вольная птица, как всегда в угол, как всегда один. В этот раз завершающая нога нашего сутуловатого центрального Амоса нашлась – и Иерусалим победил.

От шума на трибунах взлетела над центром города с огромных лиственных деревьев вокруг старой больницы на улице Штрауса, приветствуя Бурле, гол, команду, победу, Иерусалим и вообще всех, черная туча возвращающихся домой перелетных птиц. Не из Ленинградской ли области?

В следующей игре на выезде, в городе с двойным названием, пригороде Тель-Авива, – все города в Израиле, кроме Иерусалима, являются пригородами Тель-Авива, – Боря играл уже тайм. Второй.

Уже о нем слышали, но что мог сделать обычный защитник, пусть и с широким надежным подбородком, с этим естественным лукавством движения, с этими мелькающими ногами, с этими уклонами и передачами... А Амос забивал.

– Ахуя, – сказал он по-арабски после игры, обнимая и целуя Бурле.

– Брат мой, – растолковал вечером Мирон.

Той же ночью Бурле вдруг приснилось, что он идет с Мироном и своим двоюродным братом, уроженцем Иерусалима, страшнобородым мужчиной в твердой черной шляпе и подобающем ей сюртуке, по светлой белокаменной неширокой улице, где-то в Старом городе, и брат говорит, протягивая смуглую руку:

– Забыл тебе рассказать, Боря, футбол закрыли и уже забыли.

– Что забыли? – заволновался Бурле.

– Забыли, говорю, эту игру и ее героев, и, как видишь, все идет дальше, – развел брат руками.

По воскресным утрам зубастый, носатый весельчак-зеленщик с иерусалимского рынка – главного финансового и морального оплота Бориной команды – приносил в дом Бурле огромный картон с фруктами и овощами.

В первый раз Аня растерялась, завела его в кухню, поила чаем, беседовала о жизни в Алжире и Ленинграде, затем спросила:

– Сколько мы вам должны?

– Еще гол, – отвечал дядька.

– Примерно у меня семь детей, – ответил он на другой Анин вопрос. Точно он не знал.

На третий его визит Аня сумела ему подарить фотоальбом «Русская мебель».

С восьми утра в квартире наверху, двумя этажами выше Бориной, начинали гнать гаммы. Без перерыва, без разницы. Сверху вниз и назад, сверху вниз и назад.

Там жила семья музыкантов из Томска. «Так сказать, томский квинтет» – как называл все это Мирон, продолжавший жить, где жил. В квинтет входили: расстрепанный, всюду расстегнутый папа, занимавшийся теорией музыки; с перекрашенным ртом мама, всегда на первой линии, у налаженного станка «Красный Ок-

тябрь»; два вяловатых, пластичных брата – унылые скрипачи, и выразительная виолончелистка, дочь, с прекрасным лицом дорогого фарфора, несколько азиатского, чуть смуглого типа девушка, не загорелая и не спортивная.

Кормила всех мать – днем, вечером, в будни и светские праздники «уроками игры на фортепьяно для детей всех возрастов» – как значилось в объявлении, приколотом на доске объявлений домового комитета при входе в парадное.

Вечерами на отдыхе она иногда, в виде компенсации, расплескивала по всему дому прозрачный покой, придуманный Шубертом.

Была она счастливым человеком: волевая система обучения, поклонницей которой она была, дававшаяся ей и всем вокруг нее с таким трудом, несла ей удовольствие, семья – тоже, заботы, кухня, магазин, солнце, даже муж... все-все – удовольствие.

На той же лестничной площадке, густо пахнувшей краской, жил еще один российский жилец, одинокий, резколицый, красивый, с благородной, барской осанкой. Человек этот вызывал любопытство у Бурле, которому хотелось с ним подружиться, сопровождать в ежевечерних размеренных прогулках – руки за спиной, неторопливая беседа, гулкое плотное небо, изредка величавый жест к яркой соучастнице – луне за дымной занавеской, сквозь которую черными диагоналями мелькали дикие птицы в остывающем воздухе, насыщенном пронзительными запахами и звуками из окрестных рощ, уходивших к Хеврону.

Однажды утром Бурле разглядел его в окно: нагруженный авоськами-самовязками, он медленно и прямо возвращался под солнцем с рынка. Бурле спустился во двор, скользко шаркнул по каменной тропе новыми сандалиями и сказал навстречу:

– Позвольте, помогу.

Поднялись, с передышкой, на третий этаж. Где-то совсем наверху топали дети. Человек долго пытался, наконец, отпер свою дверь. Кое-что мельком Бурле о нем слышал.

– Спасибо большое, чаю не хотите?

Голос его был необычайно громкий, высокий. Когда он потом читал иногда Боре стихи, то гласные русских поэтов, особенно Державина, отдавались в молчащем на обеденном перерыве фортепьяно соседей, бренькнувшим, чуть гудящим звуком струны.

Фамилия его была Жемчужин. Исай Семенович Жемчужин.

– Вы какой чай, Борис, предпочитаете? Английский обеденный, цейлонский, грузинский, китайский или, может быть, местный, Высоцкого? – спросил хозяин. Чай, видно, в этом доме водился.

– Высоцкого, – пожелал патриот Боря, к чаю равнодушный.

– Покрепче?

– Как вам.

– Не рекомендую, я пью почти деготь, по привычке.

– Ну, чуть послабее.

Комната его была чрезвычайно чиста, с кое-какой не в стиль мебелью, окно в занавесях, в углу громоздкий проигрыватель на табуретке, к отставленной ножке которой прислонена одинокая пластинка в маслянистом конверте с неясной издали надписью готическим шрифтом. Многоэтажный письменный стол, тенденциозно подобранная книжная полка и два приземистых кресла, резных, звонких, очень крепких и старых – «мамино наследство».

Чай был насыщенного цвета, без сахарных и лимонных привнесений – прекрасный.

Бледные литографии на стене шевельнулись, мелькнули тенью, прыснула с подоконника гладкая хозяйская кошка – за стеной запульсировала, побежала гамма.

Жемчужин унял гримасу на большом, бритом, нервном лице, спросил:

- Вы, Борис, кажется, э-э... э спортсмен?
- Футболист, – поправил Бурле.
- Ну и как, вообще, наш спорт?
- Бежит, – сказал Бурле.
- Бежит, говорите?
- Бежит, – сказал Бурле.

Жемчужин улыбался с трудом, с известным напряжением. Было ему под шестьдесят. Сильное семитское лицо, как бы законсервированное лагерем.

- Сколько же вы сидели, Исай Семенович?
- Очень долго.
- А все же?
- От одного памятного года до другого.

Почему-то он не хотел отвечать. Это потом уже Бурле понял, что его раздражала цифра.

Довольно скудно он жил на государственную пенсию, отказавшись от особой.

– Я свою вину перед ними знаю и помню твердо, Боря. За национальное дело – (за которое и полагалась особая пенсия) – я не сидел.

Он осознавал свое место и считал, что осознал свое призвание. Писал книгу жизни.

– Есть высший смысл в нашей жизни, – Жемчужин не сказал «тут», но все равно вышло внушительно. Он вообще любил говорить так, ограничивая масштабы своей лексики космосом, вселенной, землею, планетой. С этим человеком трудно было назвать, пусть изумительные, пусть голевые, передачи смыслом жизни.

– Мы приехали... нас отпустили сюда, для того, чтобы мы служили Ему, – Жемчужин плавно показал загорелой мощной рукой вверх, – а какие-то слепцы...

– Но ведь можно прожить просто и достойно, – сказал Бурле.

- Надо прожить верно.

Спорить с ним было нельзя. Бурле этого понимать не хотел.

– Проживу верно, как умею, – сказал он.

– Это невозможно, – вскричал Жемчужин, – вы будете жить, будто просто переехали в Ленинграде из одной квартиры в другую.

Продолговатая тень его холодного профиля отчаянно металась по стене.

Как-то в городе, возвращаясь с женой в дневной час, Бурле с удовольствием увидел, как Жемчужин переходит улицу: статная, сильная походка, блуждающая улыбка наслаждения на гордо задранном лице – смотрите, как надо гулять по городу. Было в его повадке что-то очень хозяйское, прочное, бригадирское, возможно.

– Вот, смотрите, человек достойно несет честь, – громко сказал жене Бурле.

Она тревожно и вопросительно взглянула на мужа.

– А я достойно несу бесчестье, – продолжил он.

На другой день Боря впервые отыграл всю игру.

В перерыве Мирон озабоченно ему говорил: «Сбавь пыл и не унижай людей».

– Что такое? – заволновался Бурле.

Мирон был человек неожиданный. Боря держал с ним ухо остро.

– Почему-то мне жалко защитника, – полуотвернувшись, пожал плечами Мирон.

– С тобой не соскучишься, – вздохнул Боря. С его неестественно длинных ресниц летели капли пота. Он очень уставал. Его хлеб давался ему упоительным, но чрезвычайно тяжелым, почти непосильным для его нережимного тела, трудом.

С защитником он действительно переборщил. Заигрался. В футбольной профессии это считалось неэтичным.

Но почему-то этот парень, с известной репутацией, жутко его раздражал. Это упрямое, мрачное, неприми-

римое лицо. Эта наглая развинченная повадка, грязный «отбор». Звали его в приблизительном переводе Миру Мир – Шалом Шалом.

И Бурле просто-напросто втоптал его от раздражения в землю, не прикасаясь к нему, смешал его с пережженной солнцем легкой пылью, томно и вкусно пахнувшей сенцом.

– А вот не нагличай, – бормотал Боря, оправдывая безжалостность и выпархивая своим заурядным телом гения над защитницей могучей ляжкой, над голенью в шерстяной гамаше, над бутсой с восемью страшными металлическими шипами, над всем этим опасным сооружением по имени Нога, и летел дальше, и, как говорится, «где имение, а где вода», где сидит потерявший равновесие защитник Миру Мир, вытирая щетинистое злое лицо, а где бежит столичная «семерка» Борис Бурле – Иерусалим.

В Иерусалиме у Бурле жил родной человек, дядя, старший брат отца. В тридцать втором году приехал на пароходе и вселился в невообразимый быт религиозного Иерусалима, смешался со всеми и выделился, как все, служа Закон. Яков изучал запрещенную к разглашению секретную книгу, с текстами, похожими на карту межпланетного путешествия, испещренную цветными линиями вверх, вниз и в стороны. Пытался собрать разбившиеся в осколки сосуды души и распыленный на искры божественный свет. Посвятил, как и все соседи, свою жизнь царству Света и Добра. Как и все.

Выглядел он странно. Солидно, но странно. Он был нистаром, тайным учителем мудрости. Махонькое тело, с трудом приспособленное сидеть и ходить; очень белое до голубоватой глубины лицо, подслеповатые глаза в круглых очках без оправы, дрожащая кисть. Он никак не мог понять, что же вообще все эти «штатские», не отобилизованные, светские люди делают. Не то что наивен, совсем нет, но вот этого не понимал.

– Ну, хорошо, Боря, – говорил Яков утвердительно, – утром ты молишься, затем учишь Книгу, а что ты делаешь на так называемой работе?

Бурле вспотевал и бледнел.

– Я в принципе должен сажать леса, – отвечал он.

– Леса, – повторял Яков, – это хорошо, леса, – произносил он медленно.

– Благослови его, папа, – просил давешний двоюродный Борин брат из страшного сна, и отец, взяв Борю за руки, нашептывал скороговоркой в два легчайших быстрых выдоха Боре спасение.

Девушка Клаудия родилась в Неаполе, но жила тоже, как Боря с семьей, Яков с детьми и одинокий Мирон, в Иерусалиме. В местном университете она увлеченно изучала, из-за красоты расположения и дешевизны обучения, религиозную философию и русскую литературу. Было ей двадцать пять ярких лет, преобладающий бледно-рыжий цвет, одновременно жесткий и нежный средиземноморский выразительный профиль и, главное, старательный русский язык – плод восьмилетних усилий, результат модной европейской левизны. К тому же удлинённая фигура, к тому же любовь к футболу.

– У меня в жизни два любимых мужчины, – сказала Боре незнакомая девушка по-русски, постучав ему ногой по спине. Боря остановился.

– Кто такие? – машинально спросил он.

– Эдуард Стрельцов и вы, – объявила девушка.

– Хорошая компания, – сказал Бурле.

И все это в центре города на треугольной площади Сиона под расплывшимся по небу солнцем, досветившимся, кажется, уже до собственной тени на фоне дырявого рослого забора, за которым уже лет девять грохотало, затихая и вновь оживляясь, строительство головок кружительного глубокого фундамента очередного гостиничного дома.

У стоявшего рядом сублильного, но гордого молодого человека кремового восточного оттенка во всю силу работало стоявшее на его плече огромное радиосоружение. Из него несколько молодых бесполых и высоких голосов выводили в сопровождении струнного ансамбля песню, посвященную футбольной команде Лода, победоносно ворвавшейся в национальную лигу, и которая, конечно, «в этом огромном и солнечном мире является бесспорно лучшей». При этом обладатель приемника победно глядел на Бурле, явно узнав его и радуясь так пришедшейся к месту песне.

Странно, но даже раздражения Бурле не почувствовал, ни от этих голосов, ни от звуков кануна – ближневосточного варианта гуслей, ни от глупого молодого человека. Только запах кофе и табака из ближайшей лавки почувствовал – запах Востока.

Дом Клаудии поразил Бурле. На полу, возле белой кровати, лежала развернутая московская «Правда» с проштудированной исчерканной статьей, посвященной ошибкам компартии Италии. На стене висел фотопортрет очкастого простоносого – сапожком – мужчины с небольшим лицом.

– Калинин, что ли? – удивился Бурле.

– Что вы? – воскликнула Клаудия. – Троцкий.

Бурле присел.

Она была дивно хороша – тяжеловатый очерк высокой ноги, провальный штрих талии, голое мягкое плечо, забранные вверх, в сетчатый пучок, горящие волосы, густой зеленый взгляд, ну и так далее, в общем «девушка моей мечты».

Конечно, Боря улыбался и гладил ее, и прощал, неизвестно за что, вероятно, за наивность и доверчивость, верность умершей идее. Она притворно и слабо сердилась.

На самом деле вся эта сцена, с фотографией на стене, с полузабытой газетой на полу, в золотистом воздухе, под мелодию старого танго из некоей доброжела-

тельной к любви соседской квартиры, была жутко трогательна.

Все Борины дамы, с юношества, всегда выбирались им без вкуса и разбора – просто все. Иногда случайно везло, как с Аней. И вот сейчас, кажется, тоже.

А как же Аня? Ей жилось в Иерусалиме раскованно и свободно. Она перестала стесняться себя, дышала легко и двигалась, как дышала, в призрачном, целительном, тяжком воздухе. Постоянный солнечный ливень, раздражавший Бурле, ее радовал. Мирон как-то отстал и почти исчез из ее жизни – однажды на остановке автобуса Аня с удивленной улыбкой выяснила, что маленький злой Бурле, его заурядное тело гения, держали ее сердце цепко и твердо. Несколько смешила ее, удивляла и мешала только фраза, сопровождавшая ее повсюду: «Это Анна, жена правого крайнего Бурле и мать двух его дочерей».

На рынке она просто не появлялась. Денег с нее не брали, только просили поговорить с мужем, «чтобы бил по воротам».

– Почему ты не бьешь по воротам? – как-то за ужином спросила она, смеясь у плиты.

– Да зачем? И так хорошо, – нахмурился Боря.

– А все же? Меня тут донимают.

– Вратаря жалко, – сказал Боря.

Мирон устроился что-то вычислять по системе «кобол» и появлялся у них много реже. Некая двусмысленность с Аней, некий взгляд, прикосновение рук, вечернее чаепитие на кухне с открытым в черную свистящую ночь окном, изжили себя. Под одобрительный гул холодильника, запах сонных детей и наивно-жесткие ночные руки Бурле.

Цейс купил квартиру в соседнем парадном и бывал почти ежедневно, являлся с коньяком нарушать спортивный режим. Сам пил хрустальную рюмочку, Боря – стаканчик. Аня разливала чай.

– Может быть, хватит, у тебя же завтра тренировка, сердце свое пожалей, – отодвигала она полупустую бутылку.

– Мне сердце не жаль, – отвечал Боря.

– И мне тоже не жаль, – говорил Цейс.

Аня частила к какой-то раввинской жене, жившей возле площади Субботы, в запущенном флигельке, и основательно, серьезно, с неким налетом природного изящества, как и все, что делала, изучала Закон. Делала успехи. Жемчужин, большой любитель и ценитель женщин и их походы, наблюдал эволюцию Аниных взглядов и неизменившуюся фигуру с одобрением. Аня покрыла голову платком, купила подходящее платье – все у нее выходило естественно, как будто все и должно выходить так элегантно и даже, если это возможно, красиво.

– Совсем с ума сошла, – мрачно комментировал Боря, – глаза-то, гляди, совсем изводянились.

Аня молчала. Старшая девочка, учившаяся в противоположном конце города в религиозной школе, шептала послеобеденную молитву. Боря смотрел светлыми глазами, бурчал: «окружают, гады», – и уезжал на тренировку по физической подготовке тела.

Центральным защитником в Бориной команде играл араб Али из иерусалимской окраинной деревни, поделенной надвое железнодорожным путем на север.

Очень веселый крутоголовый парень. Руки и ноги у него сгибались с трудом, мешали чудовищные мышцы. Играл он жестко, его боялись, но как-то не всерьез.

Где-то он по целым дням куролесил, по-своему, конечно, по-арабски куролесил. Там покурит, здесь поест, поговорит, но к вечеру всегда возвращался домой, к жене и дочкам. У него, как и у Бори, было две дочки, в придачу к которым небольшая рощица олив... и там несколько скота... Солил и мариновал он оливы сам, в специальных, еще прадедовых бочках, по специальным, очень, кстати, простым, вековым рецептам.

Однажды принес Боре олив в подарок и кусок овечьего сыра в двойной любовной упаковке.

На выборах он голосовал за крайне правую, в смысле правоты, партию. Столько правоты было у этой партии, что, казалось, все голосовавшие за нее получают свой надел правды и истины на твердом небосводе над Землей Израиля и на твердой немой земле. Лидер партии, аккуратный, несколько гиенного розового вида человек, если только гиена может быть розовой, жил в Назарете, зарплата ему шла из Москвы, получал он ее в Цюрихе, но это шутка. Жил он в Тель-Авиве, зарплату ему платил местный налогоплательщик, да и насчет его привлекательности и цвета мнения могут быть иными. Завлек же он чем-то сердце Али и его брата.

А на двухсторонке, когда кто-нибудь орал: «Али, отдай!», Али поднимал свое яростное лицо от борьбы, круглое мокрое лицо и старательно отдавал пас, обычно неточно, и сокрушенно разводил короткие руки, мол, «что поделать, не техничен я, братцы». Боря всегда вспоминал игру из ленинградского, майского детства.

– Али-баба, – кричал один строй ребят, держась за руки.

– О чем слуга? – скандировала шеренга напротив.

– Пятого-десятого Борьку нам сюда.

И Боря вырывал свои руки у соседей и бежал прорывать противника, обычно Таню К.

Брат Али, болельщик кровавый, кровный и безграничный, мельничный грузчик, регулярно приходил на тренировки, припорошенный хлебным снежком, внимал голевую ситуацию безумным узким взглядом, поводил плечами и ногами – переживал. За мешком рабочей одежды жило невероятно здоровое тело, настоящее тело старшего брата. Али его боялся.

Братья делили родительское наследное жилье – пятидесятилетний арабский дом с метровыми стенами, сложенными из иерусалимского, так называемого «сладкого» камня, мягкого, пастельного цвета; с пли-

точным ориентальным полом, укрытым для теплоты ног и красоты глаза; на крыше был сложен небольшой аккуратный куполок из другого вида иерусалимского камня, белоснежного, «ангельского», добываемого в неглубокой каменоломне Сидкин в Старом городе; вокруг дома нарядный невысокий заборчик из «жесточковатого еврейского» красноватого камня, также иерусалимского, дорогостоящего, очень твердого и тяжело обрабатываемого. Деньги у братьев, видно, водились. Они делили поровну оливковую рощицу, делили овец, делили двор и скромный доход от продажи сельского продукта.

Однажды пригласили Боря, к которому питали футбольный и человеческий пиетет, на праздник – «хафла». Низко и удобно сидя в подушках, поели разного барана: в супе, в жарком, с мокрой зеленью и с хрустящим тугим овощем, запили могучим кофеем из простых чашек, что было неважно, на освежающий вкус не повлияло. Покурили стеклянный, изощренный сосуд с пробулькивающей водой и дурманящим вдохом из витых мундштуков-шнуров, поговорили о жизни на севере и юге, о солнце и луне, о дожде и снеге, о мусульманстве и коммунизме, о женах и детях, о футболе и хоккее.

Под разговор Боря принял анисовой водки-арака с зеленой, бегущей от Рамаллы, антилопой на этикетке. Бежала она споро, спору нет, голова Борина подкруживала... в наступающей темноте, грустнело, грустило, отчего-то хотелось плакать при взгляде на неродные, внимательные лица братьев, на темный стройный массив кипариса во дворе, на ковровое, топкое убранство комнаты, и вспомнилось милое, пожилое, стремительно стареющее лицо отца в ленинградском аэропорту; его наивный итээровский костюмчик с навечно повязанным узлом галстука и малиновый колпачок авторучки в косо срезанном нагрудном кармане пиджака.

Братьям пить не разрешал их Закон. Грация их беседы и их осторожное достоинство были восхитительны. Курортный, жасминовый воздух гор подмешивал к их основательности нечто нереальное и невесомое. Боря зависал и нелепо пытался двигаться на весу, чувствуя себя бездомным и брошенным без сильной ведущей руки на затылке. Длилось это, к счастью, недолго. Неприкаянность и незащищенность, а иначе – тоска, посещали его в Иерусалиме довольно часто, но он справлялся со всем успешно из-за замечательного, нового чувства хозяина.

Но все равно, как-то он болтался не там и не тут, не примкнувший и не охваченный. Жизнь его шла не так, как хотелось бы и как надо. Оправдания жизни он никак найти не мог.

По утрам Бурле спал допоздна, пил холодный чай из фарфорового побитого горлышка, мимоходом, спокойно заглядывал в окно, в раздернутый занавес, в пейзаж: нарезанные на склонах добро-красные участки с неуклюжей виноградной лозой, с помидорным и картофельным кустом, со стальной стрелой дороги в город, с неудачно-нелепым небоскребом гостиницы слева от взгляда.

Жемчужин лежал в больнице с сердцем, поговорить было не с кем. Жемчужин реагировал на все так серьезно (чувства юмора у него не было, он мог смеяться только своим словам); его позиция предпоследней инстанции, его негодование и любовь, его лагерное богатство, его рукопись, его страсть – все это неизбежно вело его к высокой койке в сердечном отделении, к прилепленным на груди проводам, к бежащей огненной геометрической змейке на зеленом экране, к дрожащим рукам, к извиняющейся полуулыбке: «Ну, что слышно?»

Бурле поспешно звонил на работу Мирону:

– Не понимаю, что не так.

Мирон по телефону разговаривать не любил, к тому же увлеченно и тяжело работал на капиталиста, сумрачного религиозного мужчину с постоянной сигарой во рту, с одышкой, крашеными волосами и массой детей.

К тому же Мирон сладострастно питался неприязнью, справиться с которой не мог и не хотел.

– Это оттого, Борис, что вы, как сказал Бердяев, «не ищете смысла жизни, а ищете вы лишь ее благ», – отвечал Мирон.

– Ну конечно, – мгновенно заводился Боря, – все у вас: правда, борода, жизнь, интерес к ней, а я сам все найду.

– Ну давайте, желаю успеха, – с отвратительной ленцой прощался Мирон.

Боря долго не мог успокоиться, толкался по квартире, каменный пол замечательно студил босые ступни во вчерашних синяках.

На самом деле Мирон, конечно, был неправ, как был неправ всегда, даже когда был прав. Боря не блуждал, а безуспешно боролся с вдохновением и призыванием.

В этот день после тренировки Бурле решил поехать к защитнику Миру Мир и извиниться. Вспомнил его лицо после той игры и решил поехать.

Центр-форвард Амос с Миром был хорошо знаком: не то начинали вместе в команде мальчиков, не то отбывали срок на гауптвахте за самоволку на действительной службе. Амос, с подозрительными знакомствами, тридцатилетний способный центр на закате, согласился ехать немедленно. Заехали в гастроном, который в Иерусалиме назывался иначе, чем в Ленинграде, но все равно был гастрономом. Боря купил угощенья для всей Мировой семьи и себе с Амосом чего, и они поехали.

Миру Мир был дома. Он сидел с ногами на диване, крытом ковром, и детским голосом восточного солиста пел, сопровождая себя на уде – арабском варианте ман-

долины. Мир цеплял струны традиционным орлиным когтем и пел о рождении человека в страдании и слезах, о первом добром отце, сильнее которого никого нет, о союзе с Господом и о любимой, и о запахе ребенка, и о войне, и о труде, и о внуках, и о запахе воды и травы, и о боли и о страхе смерти. Припев был об одиночестве поэта и о желании любви.

– Ты обрадовал мое сердце, Борис, – воскликнул Мир.

Жена его уже накрывала ливийский стол вместе с пылающей юной сестрой, рожденной в городе Триполи.

– И ты, брат мой Амос, – сказал Мир сверкающим голосом.

– Прости меня, Мир, – попросил Боря.

Из другой комнаты уже стучал тамбур, вступали канун и скрипка, и Мир обнимал Борю, и оба плакали, и Амос, отвернувшись, жестами просил у хозяйской сестренки огня, прикурить позабытую сигарету.

На другой день хоронили Жемчужина. Он умер рано утром, во сне, ничего нельзя было сделать. Над телом в саване на носилках говорили речи, было много народа, приехала старая тетка Жемчужина, бежавшая в 20-м году в Шанхай из Тобольска. У Бори все время крутились эти слова: «Он дал, Он взял», с ними Боря и вернулся домой.

Дома выпили за душу Жемчужина вместе с музыкальным теоретиком, Цейсом и еще одним соседским парнишкой, часто просившим у Бурле «посидеть в машине». У него была так называемая «болезнь руля».

Ночью Боря говорил с Жемчужинным по телефону, и тот громко говорил Боре, что «каждый все равно совершит все, что ему предназначено, и волноваться нечего, а надо жить, как Господь заповедовал, и тогда все будет хорошо». И Боря плакал от жалости, и Аня носила из кухни газированную воду, и земля на кладбище была так суха, так тверда.

В середине недели играли дома рядовой кубковый матч шестнадцатой финала с командой третьей лиги. Боря попросил не играть, сказал, что болит колено, и тренер согласился: «пусть его отдохнет, справимся и так».

Но что-то не пошло, не поехало, в кубке вообще другая игра, и во втором тайме, наспех размявшись, Боря вышел на поле.

Он действительно плохо себя чувствовал, что называется, был морально не готов. Физически тоже. Тело его не было естественной оболочкой, продолжением его души. Равновесия с окружающей средой, с громкими людьми вокруг, с плохо ухоженной землей поля, с пронзительным светом не было, как будто не было никогда. Удивительная свобода тела ушла, неизвестно кем, как и почему отнятая. То есть известно кем и чем, но это будет полуправда, то есть не совсем правда.

– Жжете свечу с двух сторон, Бурле, – сказал ему как-то адвокат Красовицкий, очень опытный, очень взрослый, бегавший по ранним утрам в тумане по асфальтовым подъемам полезным бегом трусцой. Адвокат справедливо считал, что «в Иерусалиме нужно жить долго», но здоровье берег отвратительно судорожно.

Способность Бороина была врожденной, получена была еще от жизни в материнском теле, а значит, с уходом мерцающего таланта – смерть.

На шестьдесят шестой минуте шестой номер гостей ударил Борю с размаху по незащищенной голени и ее сломал. С облегчением Бурле потерял сознание.

Больница находилась в лежавшей глубоко низине, почти впадине, и склон из Бороиного окна не падал, а карабкался. Боль у него быстро кончилась, но покой не пришел. Футбольный иерусалимский период кончился. Аня была с ним все время.

Через день появился Мирон – прочел в газете.

– Написано, что ты стал богатым человеком, – сказал он на всю палату.

– Да, разорил вот страховую компанию, – угрюмо пояснил Бурле.

– Ты за них только не переживай, привет, Аня, – бодро сказал Мирон, прочно рассаживаясь. Аня поздравалась опустив глаза.

– Принес тебе ананасы и книжку, учебник жизни.

Аня кашлянула, прищурила глаза, забрала ананасы и книгу и по-прежнему молча вышла.

Откуда-то с белесого неба сгущался тонкий свистящий гул – звук раскаленной атмосферы. Он проникал в палату через раскрытое окно вместе с легким дымным привкусом горящего сухого дерева – запахом воздуха этой земли.

– Ну что, переходим на святой язык, на путь добра и света? Период футбольного завоевания кончился? – спросил Мирон.

Что-то в его голосе, фразе, лице не нравилось Боре. Наглая уверенность правоты, вот что.

«Занукал, гад», – подумал Боря.

Вошла Аня, за нею Клава с букетом, затем Амос и Миру Мир, непривычно тихие в этом доме боли, за ними Цейс с кипой газет и дядя Яков, ведомый сыном. Все гурьбой направились к Бурле, неся тревогу и любовь.

– Не волнуйтесь, милые, я чувствую себя хорошо, – сказал Боря, глядя на этих людей с некоторым неловким страхом, из-за обилия любви, вероятно.

В соседней палате лежал немолодой грузинский мужчина, «бэз профессии», как он громко произносил сочными губами, выговаривая баритонные звуки, с деланным кавказским акцентом. Шея его и плечи были зашнурованы в гипсовом корсете.

Еще приходил на сытный воздух виноградного, Жориной мамы производства, самогона – чачи – с полованной ногой Коля Клокотов, попавший в эту страну через брак с бендерской Ривой и таким образом через

закон о Возвращении, который, как известно, позволяет всем, кто так или иначе повязан с лицами еврейской национальности, стать гражданином Государства. А также Боря, на одной ноге, прыг-скок по стеночке для страховки, благо физподготовка позволяла. Коля уж был на костылях.

Жора аккуратно разливал по домашним, хрустальным чистым звуком позванивавшим стопочкам, нарезал копченого мяса острым уголовным ножиком, хлебушка, помидорку, перчик и говорил специально для роли, путая роды и падежи: «За наш маленький славный страну, за ее могучий армий и экономик».

Затем он включал магнитофон с записью репортажа знаменитого матча, когда «Тбилиси» выиграла кубок, и под взволнованный голос грузинского комментатора, под уютный дождь его с трудом разбираемых русских слов все охотно выпивали свои семьдесят пять грамм и закусывали, кроме Коли, который утверждал, что «еда это еда, а алкогольный напитки – это алкогольный напитки». И смешивать их нельзя и преступно... Никто с ним не спорил.

– Ну что, Георгий, что тебе не хватает? – довольно прожевывая, укоризненно спрашивал Коля.

– Державной мощи гвардейских колонн, снегирия солдатской флейты и высокой слаженной меди оркестра. Вот чего мне не хватает, – давал неожиданный ответ Жора – уже без акцента.

В коридоре стучал никелем и нержавеющейкой больничный ужин простоквашного яйца, «какавы», и Жора брезгливо и небрежно отмахивал мускулистой нерабочей рукой. «Прикройте, мол, двери, мешают».

– А тебе что, Боря, не хватает? – не унимался Николай. Любил он местные и масштабные беседы. Любил и вообще поговорить, поспрашивать, как все русские любят, уж что сказать.

– Да мне все хорошо, – отвечал Боря. – До перелома я вообще думал, что понимаю все или почти все. А

вот с переломом что-то у меня сломалось. Я гол и бос, как говорится. Будущее мое тревожно и пасмурно. Учителя нет. Что будет? Что делать?

– А ничего не надо делать, – сказал Коля. – Гол и бос пришел, гол и бос уйдешь. Живи, как умеешь.

– Вот-вот, – вздохнул Боря, – умение-то у меня от игры. Игра ушла, что осталось?

– Остался голый и босой человек по имени Борис Бурле из Ленинграда, живущий нынче в Иерусалиме. Одевайтесь, Бурле, – медленно и громко приказал Георгий.

Сентиментальный и слезливый после травмы, Бурле подумал так: и все-таки не так уж и жарко. И воздух сливочно густ, и все-таки тебе только тридцать два, и нога почти не болит, и там, наверху, на горах, город, и дикий голубь в красновато-буром оперении «летит над струями Иордана» по направлению к нему.

Как в театре, властно раскрылись створки дверей и взошла к Боре, Жоре и Коле широкой белоснежной тенью громогласная, мужеподобная, робкая медсестра Далия.

– Здравствуй, милая, – приветствовал ее по-русски Коля.

– Зубы не заговаривать, водку убрать, Бурле, тебе письмо, – алая, решительно сказала Далия.

– Это не водка, дорогая птичка Далия, – ласково отвечал Георгий, длительно чмокая, – это чача.

– Без разницы, – так же отвратительно, как и все в вашей каннибальской стране, – сказала Далия, роясь в своем командирском планшете.

– Это верно, – согласно кивнул Коля.

Далия неудачно сходила замуж за «Леву с Могилеву», как называли его российские товарки Далии по профессии. Лева от Далии сбежал, оставив ее с двумя детьми. Его в принципе можно было понять. Ее тоже.

– Вот твое отвратительное напуганное письмо, Бурле, на бедной бумаге, с идиотской маркой Спарта-

киады на конверте, – сказала Далия, протягивая Боре захватанный бледный конверт. Напоследок она спросила: почему российские письма, Борис, всегда пахнут куриным супом?

– Потому что в России высоко развито куриное животноводство, – отвечал Боря.

И вот что было написано в этом знаменитом письме Бориным дядей, пенсионером Гринбергом: «Здравствуй, дорогой Боря! Прошли четыре праздничных дня, полные гостевых событий, суеты, угощения, встреч с друзьями, приятного общения и т. п. Но времени на эпистолярию не оставалось, если не прибегать к ночному бдению, чего мне, признаться, не хотелось. Вот вкратце моя жизнь, а теперь – спортивные новости, которых, я представляю, с каким нетерпением ты ожидаешь.

Близится к завершению розыгрыш чемпионата по футболу по обеим лигам: высшей и первой. В первой лиге еще до завершения чемпионата победитель определен – это интересная львовская команда «Карпаты». Опасаюсь только, что ее подрастажат. В Высшей лиге осталось провести два тура, которые и решат, кому носить золото, кому – серебро и кому – бронзу. К великому сожалению, выбыло из борьбы за чемпионское звание тбилисское «Динамо». На финише сезона команда перенапряглась и вышла из формы.

Когда вы получите это письмо, чемпион будет уже известен. На последних метрах борьба на редкость обострилась. Киевляне хотя и держатся на очко позади «Спартака», имеют то преимущество, что безболезненно могут сводить все оставшиеся матчи вничью, так как не израсходован лимит: у них пять ничьих из восьми. «Спартаку» же надо только выигрывать, ибо у него лимит ничьих не только исчерпан, но и перебран. Вот между ними и разыгрывается золото, так как «Шахтер» вчера проиграл «Спартаку» четыре-три и отстает от него на четыре очка. Это – краткий футбольный обзор почти без комментариев, почти как хронология.

Как ты живешь, дорогой Боря? Все ли у тебя есть? Как у вас с едой? У нас, слава Богу, в магазинах все есть. Вчера Аня сумела даже купить в Елисеевском три кило апельсинов, на которых стоял штамп латинскими буквами «Яффо». От этого они, конечно, (апельсины) показались нам еще вкуснее. Что тебе прислать, дорогой Боря? Твой отец, который, кстати, держится молодцом, мне недавно рассказывал, что ты вернулся в футбол и даже играешь в классной команде, которая, кажется, называется «Бейтар». Кто тебе пасует, дорогой Боря? Есть ли у тебя надежные товарищи и друзья в команде? Это, как известно, самое главное в футболе и в жизни. Есть ли шанс попасть в сборную? И если да, то какой? Большой или маленький? Болею за тебя, люблю и горжусь. Твой дядя Гринберг.

П. С. На должность старшего тренера сборной назначили, к великой радости всех истинных ценителей и любителей футбола, – Константина Ивановича Бескова. Намечен круг кандидатов в Олимпийскую команду, на которую теперь возлагается главная престижная надежда.

Кандидатов более сорока. Но найти хоть одного выдающегося футболиста типа киевлянина Блохина трех-четырёхлетней давности невозможно. Ох, как трудно придется Бескову! Дай-то Бог ему удачи...»

1983 г.

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ (Из новой книги)

СЕРДЦУ СЛЫШИТСЯ ПРИВЕТ

Как возвращается блудливый сукин сын
туда, туда, в страну родных осин,
где племена к востоку от Ильменя
всё делят шкуру неубитого пельменя.

Он возвращается, стопы его болят,
вся речь его чужой пропахла речью,
он возвращается, встают ему навстречу
тьма – лес – топь блат.

Его встречают по заморску платью,
его сажают в красные углы,
он возвращается к любимому занятию –
подсчётам ангелов на острие иглы.

Он всем поведал, что Земля кругла,
и некому пробить сей крепкий круг,
ну, разве что комета, сделав крюк,
но вероятность в общем-то мала.

Однажды, начитавшись без лампад,
надёргав книжек с полок невпопад,
он вышел прогуляться до угла
и вдруг увидел: вон ещё игла.

Там, из пластинки северных небес
игла пила мелодию не без
игривости – романса, что ли? вальса?

И к той иголке, светом залитой,
как прикипел, фрегатик золотой,
похоже – только что пришвартовался.

Команду ангелов сумел он увидеть
и сосчитать (их было 25),
на палубе золотого корабля
мелькали крылья, бегали огни,
они вели себя, как дети, как пираты.
И думал он, губами шевеля:
«Выходит, вот как выглядят они,
летательные эти аппараты,
так вот где принимает их Земля».

БРАТЬЯ К. *

Куличики, калачики,
крестики, нули.
Папашку раскулачили,
мы трое утекли.

Один в Москве стал банщиком –
не знали чудака?
Другой стал барабанщиком
в оркестре ЦДКА.

Нежнейшая натура
был банщик, не нахал,
следил, чтоб не надуло,
всё дверки прикрывал.

Глаза его тюленьи
глядят то в пол, то в таз,

Издателю известна полная фамилия братьев, но здесь, по понятным причинам, она приведена быть не может.

и в женском отделении
он замещал не раз.

Он видел в клубах пара
не прелести, не срам –
жнивье, полосу пара,
над речкой старый храм.

Средь визга, лязга шаек
нашёл себе резон –
он слышал крики чаек,
церковный перезвон.

Бурлит орава банная,
он, розовый, сидит...
А шкура барабанная
тем временем гудит.

Гудит тугая шкура
который год подряд.
Бунтарская натура
был барабанный брат.

Он буйная натура.
Он лупит, в раж войдя,
как будто это – шкура
Великого Вождя!

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК
(по Соловьеву)

Весь день он бегал по делам,
по городу мелькал,
вопрос о сроках подымал,
на суммы намекал.

Издатели – такой народ,
им палец не клади
в рот. Он набегался, но вот
всё это позади.
«Теперь в гостиницу скорей», –
подвзвизгнул Аппетит.
Ещё с порога из дверей
он видит – стол накрыт:
столь нежнорозовый лосось
там напластован наискось,
что об Авроре вспомнилось,
о розовом её сосце,
блестит под устрицей ледок,
засим на серебре клубок
темно-коричневых миног
в горчичном уксусе,
бараний жаркий жирный бок
и спаржи слабый стебелек,
и то, что булочник напек, –
всё это вызывает шок,
восторг и дрожь в крестце.
.....

Уже бараний съеден бок
и спаржевый гарнир.
«Не ешь так много, Сведенборг», –
в углу проговорил –
кто? Никого в столовой нет,
зал полутемный пуст;
ну, разве проскрипит паркет
или раздастся хруст
в камине – это всё вдомяк,
в пределах естества,
но нету никого, кто мог
произнести слова,
от коих левый сведен бок
и пропотела плешь:
«Не ешь так много, Сведенборг,

ты слишком много ешь.
Чем жирных уминать миног
подчас зараз по сту,
предайся лучше, куманек,
молитве и посту.
Свидетель Бог, уж виден гроб,
где пляшет бесов рать.
Не ешь так много, Сведенборг,
не нужно столько жрать.
Ты ныне духом нищ, и вот
туда, где тьма и слизь,
к себе в колодец-пищевод
Иосифом свались.
Ты много ел, ты много пил,
ты долго жировал,
на палец сала накопил
желудок, желт и ал.
Свеченье печени в ночи,
как тучи грозовой,
и на проспекте Газа вонь
бензина и мочи.
А уж отсюда близок путь,
минуя стадион,
в слепой отросток заглянуть,
где бредит Родион.
Простится в вышних перепуг,
но сытость не простят.
Ты думал – Лондон, Петербург,
а это просто – ад,
где сатана от лени «Нгrrrr...»
рокочет вдоль кишок...»

.....

Но тут вошел служитель-негр
и канделябр зажег.
«С утра он не был вроде сед,
забавный этот швед».

- Прикажете подать десерт?
Он отвечает:
– Нет.

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

«Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки».

А. С. Пушкин

М. Ю. Лермонтов (14 лет):

«Внимали пленники уныло
Печальной песне сей для них,
И сердце в грусти страшно ныло...»

Татарин:

урус кильдым кончал базар
папаш мамаш писма писал
писма писал пять тыщ деньга
деньга барда гуляй нога

Письмо Жилина:

Адрес: Город Дураково
Господину Неттаково
А подателю сего
не давайте ничего.
Впрочем, право, можно дать
плетей двадцать – двадцать пять,
чтоб не зря пускался в путь.
Ну, а я уж как-нибудь.

(Пушкин:

«Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь».)

Письмо Костылина:

...крест крестильный с шеи сняли.
Если б, маменька, Вы знали,
как тут нравы непривычны,
как татары неприличны,
невоспитанны и злы!
Ноги у меня опухли,
а под мышками набухли
лимфатически узлы.
Только лишь на Вас, родную,
я надеюсь. Закладную
под именье можно взять,
ан и выйдет тысяч пять.

Два бреда:

Темь. Ночь. Яма. Яма. Ночь.
У татарина есть дочь.
Дочь татарина мала.
Маша встала и пошла.
Глазки сини, косы русы.
На Руси живут урусы.
Пуля дура, а храбра.
Пряжка – наши прапрапра-
прагорбаты и горчат.
Куча-туча татарчат.
Ну, Фруфрушка, выноси.
Вот уж мы и на Руси.
Здесь дом мой, а там дом твой.
Чей там лай и чей там вой?
То ли Жучка, то ли Шарик.
Белый шарик, красный шарик.
Левый мозг и правый мозг.
День так холоден, что жарок.
Два конца имеет мост.
Мост имеет два конца.
Уже поздно, так что рано.

На мосту стоит овца.
Она раба барана.
А на рабе – ба! рана.

Л. Н. Толстой:

«– Иди один,
за что тебе из-за меня пропадать.
– Нет, не пойду:
не годится товарища бросать».

От автора:

Начался пожар от свечки.
Весь сыр-бор из-за осечки.
Дураки у нас солдаты –
чистят ружья кирпичом...

Л. Н. Толстой:

«Послали Дуньку в пуньку».

От автора (продолж.):

...но они не виноваты,
да и мы тут ни при чём.
Много денег, мало денег –
каждый, каждый в жизни пленник.
На ногах у нас колодки –
в виде бабы, в виде водки,
в виде совести большой,
в виде повести большой.
Не уехать нам с Кавказа,
не видать конца рассказа.
Вечно тянется обоз.
Бородой Толстой оброс.
По дороге без развилин
едут Жилин и Костылин
и сливаются в одно
зо-ло-тис-то-е-пят-но.

ПАМЯТИ ПОЭТА

Сижу под вечер стихший,
застыл, как идиот,
одно четверостишье
с ума нейдёт, нейдёт:
*Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненной драмой
Загадочно полна**.

Среди российских скальдов
известен ли К. Льдов?
В завалах книжных складов
знать не сыскать следов.
Весь век его невнятен –
атласных канапе,
и золотушных пятен,
и Чехова А. П.,
от водочки к боржому
«эпоха малых дел»
(как будто по-большому
никто и не хотел).
Взволнованные речи,
и бархатный жилет,
и волосы по плечи,
чтоб знали, что поэт.
Папашины клистиры,
папашин стетоскоп.
А в церкви, где крестили,
всё усмехался поп.
Но Розенблюм не хочет
быть Розовым Цветком,
а буква «ль» щекочет
красивым холодком,

* Из стихотворения К. Льдова «Швея» (1890).

и веет грустной сказкой
красивый псевдоним
с оттенком скандинавско-
славянско-ледяным.
Слова он любит – «драма»,
«загадка», «трепет», «рок»,
и только слово «рама»
вдруг стало поперёк.
А девушка машинкой
в окне стучит, стучит,
и что-то под манишкой
в ответ стучит, стучит,
и что-то вроде гула,
и ясно не вполне,
но что-то промелькнуло,
послышалось в окне.
Не «тема женской доли»,
не Маркс, не Томас Гуд,
да чёрта ли в том что ли,
в «Биржёвке» всё возьмут.
«Проклятые вопросы»?
Да нет, не то, не то...
И пепел с папиросы
спадает на пальто.
*Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненной драмой
Загадочно полна.*

Ньюхемпширский профессор
российских кислых щей,
зачем над старой книжкой
я чахну, как Кощей,
как будто за морями,
сыскали мой дворец,
как будто разломали
заветный мой ларец,

как будто надломили
тончайшую иглу,
и здесь клубочки пыли
взмываются к стеклу,
и солнце проникает
в мой тусклый кабинет,
на книгах возникает
мой грузный силуэт,
вся тень фигуры в кресле
сползает по стене
и, видимо, исчезнет
минуты через две –
*Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненной драмой
Загадочно полна.*

РЕДАКЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Автором фотографий М. Ростроповича, Г. Вишневской и Р. Конквеста, помещенных в 40-м номере нашего журнала, является А. Вернер. Фотографии приобретены у автора Интернационалом Сопротивления без каких-либо ограничений для использования. В свою очередь, Интернационал Сопротивления передал эти фотографии «Континенту» в порядке заключенного между ними соглашения о безвозмездном обмене информацией.

ПОСЕЛЕНЦЫ

Рассказ

Памяти отца посвящаю

1

На исходе дня, при начавшихся первых сумерках, Шурочка Олендер влетела на «Тушию» – высокий, господствующий над всей долиной холм на стыке земли Беньямина и северной Иудеи.

Натужно ревя, как маленький танк, ее «мини-май-нор» ломится через траншеи, по трубам, по связкам арматуры, подминая горки песка, щебня, а шины хрустят и скрипят, и этот звук отдается ей прямо в сердце: «Господи, лишь бы не проколоться!»

Каждый вечер, прилетая на «Тушию», Шурочка молится о колесах, иначе ей крышка, каюк, – ни телефона отсюда, ни рации... Весь холм изрыт в котлованах, стоит в строительных лесах, имеется сторож, конечно, у поселенцев, а вот Шурочка так ни разу его и не видала! Быть может, приходит он позже, ночью, – сторож-араб, из окрестных внизу деревушек!?

Еще год, ну два от силы, и Шурочка сюда переедет! Слабая, хрупкая женщина, – будет здесь жить и растить своего единственного сына, и – помаленьку сходить с ума, ибо выскочить замуж в ближайшее время ей абсолютно не светит, даже на горизонте на обозримом – пусто и ничегошеньки!

– Чокнулась бабонька на вилле своей, ну прямо свихнулась! – вот что говорят о ней все мужики в Иерусалиме.

А она им в ответ посылает:

«Ну и хрен с вами, со всеми там мужиками...»

Выходит Шурочка из машины, оставив ключи в зажигании, не запирает дверей, не заворачивает стекло: кого ей бояться?

Великим библейским покоем объаты холмы Иудеи, долина земли Бенямина. Каменистые внизу поля, сожженные безжалостным солнцем. А здесь, а кругом – все разворочено, скалы и камни расколоты...

«И будет, когда вернетесь: изроете горы и перемелете скалы!» – вспоминаются ей слова пророка, и сердце ее поет и ликует.

Обходит Шурочка свой маленький танк: прокола вроде бы нет! И бьет для верности по протекторам носком маленькой туфельки.

«Господи, выбраться бы назад подобным макаром! Сделай и это чудо!?»

Идет она к вилле своей, которая вся в лесах, остов еще бетонный, еще не обложена камнем. Но камень давно готов, завезен, – на все три этажа, свален рядом огромной кучей.

Ступает Шурочка по ветхим мосткам, и думает восхищенно:

«С одним лишь посохом пересек я сей Иордан, и вот – сокровища у меня, стада и сокровища... Не диво ли, Шурка: с одним чемоданом стареньких шмоток приехала из Москвы, и вот – вилла!? Шурка Олендер лепит себе трехэтажную виллу! На какие деньги, на какие шиши – понятия не имею!?»

Откуда-то сзади, со стороны Кадмоны, где Шурочка живет во временном лагере, доносится пение муэдзина, – высокий жалобный плач одинокого человека в пустыне.

Это плачут ее враги, это голос враждебного окружения, пятикратное на день напоминание о проблеме, о страхе, ставшими частью ее души, ее быта, – это правила в суровой, беспощадной игре, это плата, и ничего не

поделаешь: Шурочка заселяет родину, землю предков, вторгшись клином в селения Ишмаэля*.

«О чем он молится, интересно, враг-священник, на минарете деревенской мечети? Двоюродные, в принципе, братья, одному Богу ведь молимся? Весь день, – о чем он так жалобно просит? Обо мне, разумеется, о моем доме, о «Тушие» – чтобы все мы исчезли, провалились бы к чёрту... Много молится, конечно, о моем народе, обо всем государстве! Чтобы туда же, в преисподнюю, ибо воткнулись мы им, как кость в горле, как нож в душу. Вот о чем плачет он там, а Бог его слушает. Бог его слушает, но не внемлет...»

Мысли Шурочкины устремлены в будущее – во времена Мессии, когда все, наконец, устроится, утвердится, – лет, скажем, через сто, – заселится вся страна, и сомкнется Иерусалим с Дамаском, – так ведь пророки нам обещали!?

«И станут снимать о нас фильмы, про подвиги первопроходцев, да, про нас... Какие же будут сюжеты? Пальба? погони? горы арабских трупов? бесстрашные поселенцы-евреи и нежные дамочки, вроде меня, которых насилуют террористы? Как в голливудских боевиках про заселение Дикого Запада... Ну да! Именно такую бредятину и накрутят, и не покажут, не донесут этот великий покой в изумительной нашей долине, этот розовый, дивный свет уходящего солнца, этот теплый, тугой ветерок со стороны усыпальницы пророка Самуила, из Ромотаим Цофим... Все исказят, балбесы!»

Шурочка перешла мостки и входит на первый этаж, цепким, опытным глазом определяет: что прораб ее сделал за день, что по плану и уговору, а что не так!

Ох уж этот прораб, ну и работничек ей достался! Мотает из Шурочки все кишки на локоть себе, все кишки из нее, все нервы.

* Ишмаэль – старший сын праотца Авраама, родоначальник арабской нации, библи.

«Как в том анекдоте, если вы слышали? – любит Шурочка сравнивать. – Распяли евреи Христа, или не распинали, – это еще не известно, еще не доказано, но то, что душу из парня вынули, – это точно, на это они мастера!»

Разбитной, лукавый мужик-сефард, не то из Ирака, не то из Курдистана, – прораб Шурочкин, – владеет арабским, естественно, и вся команда его – сплошные арабы. Читать чертежей не умеют, работают медленно, кое-как, за каждой мелочью обращаются к ней, к инженеру. И Шурочка им толкует, разжевывает, пристально за всем надзирает. Уже половина застроек на «Тушие» готова к вселению, а она, а у нее... Э, да что говорить, что объяснять!? Не приезжай она сюда каждый вечер, не цапайся с этим лисой-прорабом до хрипоты, до истерик, – торчать бы Шурочке во временной своей Кадмоне целую вечность!

«Еврей же все-таки, брат по вере, по крови, а до чего мне чужой! Ну а я? Разве я ему не с луны кажусь точно так же? Не иной биологический тип я ему?» – погружается Шурочка в отчаяние.

И вдруг предвкушает в глухом тупичке своем интересное открытие, – в подсознании где-то, оно еще смутное, но осеняет, как вспышка:

«Одинокий человек в пустыне... Они ведь тысячу лет жили так с Ишмаэлем! Вот и переняли обычаи, их манеру молиться... Мы же, евреи Европы, жили совсем на иной природе, рядом с христианским великолепием. И переняли мощь, величие христианства. Потому-то так и отличаемся! И пусть говорят, что Восток есть Восток, а Запад есть Запад, – мы все равно сойдемся, вопреки Киплингу, вопреки всему миру. Иначе, зачем, скажите пожалуйста, затеял с нами Господь эту всю петрушку?!»

Шурочка рада своему открытию, а еще больше – образу своего мышления, с этим так интересно жить!

Надо бы сказать, что жизнь ее с некоторых пор вообще стала непрерывной цепью открытий, пусть личных, микроскопических, но зато – целиком ее, и употительных до экстаза.

Началось же все далеко не просто! Началось с того, что пришла Шурочка в кружок изучения Торы, переселила себя и решилась. А это одно уже было залпом Авроры, революцией, сменой власти во всей Шурочкиной сущности.

Равом* в кружке оказался молоденький паренек, свободно владеющий русским, – рав Альперт – гений и душечка, из хасидской семьи в Латвии: приехал в Израиль основательно образованный, и сдал на «смихут»** без особых препятствий, дескать, и мы, русские, не лыком шиты... Потянуло Шурочку, конечно же, в синагогу, по субботам – не то чтобы каждый день, – а и она молится. И сына приводит Вадика-Шая, ему, слава Богу, «бар-мицва» исполнится на будущий год, совершеннолетие... Более того – увлеклась Шурочка и Кабаллой, палец в нее окунула, ноготочек, и будто спала вдруг пелена с ее глаз, другое открылось зрение.

Слышит вдруг Шурочка кошачий вопль, вздрагивает, обмирает. Что за наваждение, – на нижнем этаже, где-то совсем рядом – болезненный, смертный вопль!? Ищет среди колонн, заглядывает в корыта из-под раствора, в ванночки, в тачки, идет к большим кубам с половой плиткой, запакованным в полиэтилен, и видит распластанное на полу животное – котенок! – извивается, подышает...

«Господи, да как он сюда попал?»

Котенок весь окровавленный, один глаз сочится сукровицей, лапы у него перебиты.

Шурочка присела на корточки, борется с безразличностью: тронуть-не-тронуть? И быстро соображает:

* Рав – ребе, раввин.

** Смихут – официальный документ на звание рава.

«Он из деревни, снизу, мальчишки арабские издевались, вот же изверги! – Все настроение разом испортилось, ожесточилась: – ...Какой народ, такая у него и скотина! всю свою злобу на животных своих вымещают. Собаки их злые, остервенелые, ослы и овцы – паршивые, тощие! Уж я-то знаю, вижу, каждый день проезжаю мимо... Не еду, – лечу, лечу, как угорелая, а если не мчаться...»

И пережитый недавно ужас вспомнила с содроганием...

Ехала Шурочка к себе в Кадмону, и шла свадьба по деревенской улице, которую ни объехать, ни прорваться, ибо дорога здесь горная, с обеих сторон обрывы. Очень вежливо она посигналила свадьбе, а на нее никто не обратил и внимания, и поплелась Шурочка на малой скорости, слушая звуки свистулек, наблюдая их пляски и пестрые одежды, необычные уху москвички дикие улюлюкания со взрывами всеобщего вопля.

Ехала с Вадиком, с сыном, и вдруг на них набросились! Окружили мгновенно машину, колотя по ней камнями, кулаками, и что ужасней всего – ухватились снизу за легонький автомобиль, норовя сбросить с обрыва. Думала все, капут им пришел! Так и не помнит Шурочка, как они вырвались, как удрали!? О, этого не забудет до гроба, это им ни за что не простит!

Соображает она мучительно:

«Что же с котенком делать, явно агонизирует, подыхает... его Ишмаэль, конечно, зовут!?»

Никогда Шурочка не имела дел с животными, понятия не имеет, как обращаться с ними, не держала в жизни собак, кошек. У сына, правда, есть аквариум, рыбки – это его хозяйство! В Кадмоне полно собак, – смешные декоративные игрушки: болоночки, спаниэли, карликовые боксеры, какие-то колбаски длинные на кривых ножках. А на диванах, чуть ли не в каждой семье – дымчатые сиамские красавицы, грациозные, как восточные принцессы.

«А эту гадость противно и в руки взять, фи... Может, сгрести в совок да подбросить соседям? Нет, лучше его не трогать, все равно поддыхает!»

Решив успокоиться, хорошенько обдумать, как ей с котенком быть, Шурочка взошла по голой лестнице на второй этаж.

Здесь, по замыслу, у них будет салон, – сумасшедший вид на далекую Рамаллу, промышленный Атарот, а в ясную погоду – зыбкое море Моавитских гор, и Мертвое море. Не салон, а сказка, мечта, где запросто грузовик развернется!

И, как обычно, глубоко взволнованная, Шурочка стоит у окна, видит – густеют тени в долине, и наливаются ночью, природа глохнет, а краски на небе неописуемо божественны.

Первые огоньки зажигаются внизу в деревне.

«Оттуда пришел ко мне умирать котенок... Господи, ну что ему нужно от меня, почему я, почему ко мне?»

Снова припоминает проклятую свадьбу, видит Шурочка ту дорогу над обрывами. И – брр... – опять содрогается.

«Я-то что, с меня, как с гуся вода, – забудется, перемелется, а вот у Вадьки от этого приключения на всю жизнь шок останется! А он и вовсе у меня прибитый, запуганный, этого ему не хватало... Ничего, скоро здесь будет большая трасса, восьмирядная трасса на Тель-Авив, тогда мы эту деревню вообще забудем, не будем общаться с ними. Ни с ними, ни с их животными несчастными!»

Припомнился Шурочке ее молоденький светлоликий рав с бородой, который любит им про животных рассказывать, из Торы, конечно! Про то вспомнила, как Бог знакомил животных с Адамом при сотворении мира.

...Провел Бог животных парами перед Адамом, и наказал им строго и вечно человека бояться. Ибо в нем,

в человеке, частица Бога, дух частицы Создателя! А они – лишь скот, и дух в них низменный, животный.

– Так почему животные нападают все-таки на человека, кусают и умерщвляют? – спросил их рав. И сам ответил, поскольку никто в кружке об этом не знал. – Животные нападают на человека, если видят в нем хоть частицу животного, частицу самих себя, – только поэтому... Ведь не напали же львы на Даниила, когда он брошен был в ров ко львам, не тронули праведника!

«При чем здесь львы, при чем здесь котенок? – злится Шурочка, так ничего и не придумав. – Всякая чушь лезет в голову...»

2

Семейство Олендер в Кадмоне самое малочисленное: сын да мама, но виллу строят, как все, – не хуже, не меньше! Виллу, как памятник в награду самим себе, ибо потомки...

А если не в шутку, если всерьез, – скоро ведь Вадик вырастет, женится, наплодит семейство, будет им крыша над головой. Да и мама, глядишь, – выскочит замуж, родит еще пару раз. Хоть и вдова, но далеко не старуха. В конце-концов, за бабу с виллой, с усадьбой любой мужик выскочит... Только бы с нервами сладить, чуточку подлечиться, чтоб люди от Шурочки перестали шарахаться... «Шурочка-Шурочка, а мозгами курочка...», – сочинил мерзавец какой-то в Иерусалиме.

Русское их ядро, семейств тридцать, живут в бывшем лагере Иорданского легиона – как в крепости осажденной: обнеслись заборами из колючей проволоки, поставили вышки с пулеметами, на воротах – солдаты пограничной охраны. Всю ночь обшаривают окрестность голубые прожекторы, носятся джипы патрульные, а все их мужчины местные разбиты по парам, и тоже дежурят с карабинами.

Шурочка без пистолета никуда не выходит, не выезжает. Купила себе дамский браунинг после той свадьбы, и чувствует себя совершенно иначе, когда сумочка с пистолетом при ней, тут же под боком.

«И это в собственном государстве, на родной земле!? – не может она никак постичь. – Во всем мире израильтян боятся и уважают, а здесь, а в собственном доме, – как крысы по норам со страху трясемся! Ну не смешно ли, я вас спрашиваю, не дико ли?»

Семейство Олендер сидит на диване у телевизора, Шурочка вяжет кофту, пальцы ее снуют, мелькают, – вяжет она вслепую, и оторваться не может от фильма: сердце в ней бухает, каменеет.

...Носятся на лошадях индейцы, пытаюсь выбить из форта гарнизон поселенцев. Пальба стоит адская! Индейцы гибнут, как мухи, но их тьма, уйма несметная: дикие, черные, улюлюкают... Проникают в лагерь, начисто всех вырезают, женщин насилуют, и все поджигают, оставив пепел и угли.

Такие вот фильмы смотрит Шурочка каждый вечер, смотрит, как окаянная, не в силах выключить, оторваться, с душой отравленной ужасом.

Эти же фильмы, там, в Рамоте, в Иерусалиме, смотрят, конечно, с охотой и удовольствием. Там это их веселит, приятно щекочет нервы, расслабляет... Зато в Кадмоне – все всерьез, все это может случиться в любую ночь, – нападут и вырежут, как в этих «техасах» двести лет назад!

И ведь никто не поймет, что нервы у Шурочки на последнем пределе, что только притворяется человеком здоровым, на самом же деле – больна, слаба и несчастна, и вся ее мистика, религиозность, – как бы последний поиск убежища: куда свою душу пристроить, где бы ей, бедной, найти покой?

Ого, в Иерусалиме их всех считают пройдохами, ловкачами, дескать, взяли удачный тремп за счет госу-

дарства! А Шурочке эта вилла стоит судьбы, – судьбы и не меньше...

Удрал от нее недавно Денис, – сердечный дружок, жених, – как от чумы, идиотки, и сочинил, кажется, эту самую песенку про Шурочку-курочку.

А все потому, что мозги ее действительно набекрень, что шарики без извилин, а извилины – не в ту степь, ибо мужик был достойный, в самую, как говорится, масть: вечно веселый, модно одет, стройный и гибкий, как балерун.

Знала отлично, где он работает, и ничего не имела против, – геодезист-картограф кладбищенский на Масличной горе!

А что в ней зазорного, в этой работе? Масличная, как-никак, гора, громадный по-своему город: тысячу лет хоронят евреи своих мертвых, сколько поколений лежат в этих склепах!? Под ней, под Масличной горой Воскрешение мертвых должно состояться, поэтому полный порядок там должен быть, и этим самым Денис как раз занимался, прокладывал переулки, дорожки, разбивал участки...

И вот однажды – а дело было в Кадмоне – Шурочка разостлала карту и стала Денису рассказывать про «Тушию», про виллу, про своего прораба-каналью, ввести в курс дела, мужик ведь завелся в доме!

Денис долго молчал, пялился в карту, загадочно улыбался, как будто вникал внимательно во все Шурочкины проблемы, и вдруг изрек со своей невинной, очаровательной улыбкой:

– Как кладбище! – безо всякой задней мысли, естественно, а Шурочка остолбенела.

Вечно погруженная в мистику, уже привыкшая каждому слову, явлению придавать высший, метафизический смысл, – внезапно ослепла, услышала сердце свое в сдавленном горле. Кладбище? На что он ей намекает, что он ей, гад, пророчествует?

И как завизжит, как забьется в истерике:

– Кретин! Мудак! Недоносок!

Вяжет Шурочка кофту, пальцы снуют, порхают, а в сердце – тупая, тяжелая боль. Глупое сердце сочтется досадой, безнадежной досадой...

«А ведь скажешь кому-нибудь, что живу в Кадмоне, – брови вскидывают восхищенно! Не идиотики наши, конечно, которые всем завидуют, а знатоки Торы, люди образованные... О, Кадмона, скажут, в Кадмоне, вы знаете, – великая мудрость сошла от Бога к царю Соломону, – благословенное во веки веков место, гверет* Олендер! В Кадмоне мудрость жила еще издревле, при ханаанеях. Вы помните, гверет, как обхитрили кадмонцы самого Йегошуа Бен-Нуна, ученика Моисея? Сказали, что живут далеко, вовсе не в Ханаане, обрядились в рваньё, положили в котомки свои сухари с плесенью, – видите, мол, какие мы дальние? И мир заключили... А мы, евреи, волосы на себе рвали с досады, да поздно было – мир заключили!.. А скажешь как «Ту-шия», то вовсе убить можно, поскольку так оно и переводится – мудрость... Мудрость да мудрость! Откуда же, Господи, эта глупость во мне, откуда? Ангелы мои хранители...»

И смотрит на сына: бледное, чахлое растеньице, стебелек ее жидкий, – в кого он такой уродился?

Через год ему «бар-мицва», а все его в школе метелят, кому не лень – все абсолютно, и кличку гнусную дали: коксинель! А он ведь и впрямь, как девочка, – именно...

Много раз пыталась Шурочка поднять трубку, объяснить с Денисом, вернуть человека любой ценой. Не ради себя, – себя уж ладно, чёрт со мной, с дурой! Ради сына, Вадьки, он так к нему привязался, так подружился! Ну просто – отец с сыном... Об этом Шурочка могла лишь мечтать, да и не мечтала даже, не смела!

* Гверет – госпожа, ивр.

Записал Вадьку на бокс и на карате. Купил перчатки боксерские. Купил распашоночку на тесемках, кальсончики чудные – полотняные. По три раза в неделю возил в Иерусалим, не считаясь с бензином, со временем. Купил аквариум с рыбками... И кончился Вадькин медовый месяц, кончилось сыночкино счастье – вот вам и «Тушия» с Кадмоной – мудрость царя Соломона! Блеть хочется...

«Будь она проклята, эта вилла!»

Смотрит она на сына, чувствуя безмерную нежность, чувствуя боль, сострадание, и что-то еще, которому нет названия, чья природа уже не наша, совсем не земная, – не каждой матери положено это знать, не каждой матери в это проникнуть.

Возила Шурочка сына к знаменитым невропатологам, психиатрам. Пыталась пристроить в кибуц, ибо мысль такая была – сменить ему обстановку, общественный климат, как говорится. Обидно ведь все-таки, дети кругом, как дети: буянят, дерутся, бьют стекла соседям, а этот же – как не от мира сего – ни рыба, ни мясо! Пробовала и иглоукалывание, пробовала человека с электрическими руками, который ауру, якобы, восстанавливает, оболочку вокруг человека – жизненный дух. Возила Вадьку к знахарям и к гадалкам, – не заколдован ли сын дурным глазом? Поила травами и отварами, и в Тель-Авив попала однажды, к какой-то припадочной тетке, размерами со слоной тушу...

Сказали Шурочке, что тетка эта общается с духами, что может сказать, кем была душа человека в прошлой жизни. Что пережил человек и какую принес память, – память и искажения.

– Это девочка из Освенцима, в одиннадцать лет ее сожгли в крематории! – сообщила тетка, выйдя из транса. – Не удивляйтесь, гверет, большая часть евреев, которые нынче рождаются, это души из крематориев, они нуждаются в особой заботе.

И Шурочка успокоилась, смирилась, ибо с Кабаллой тут ничего не входило в противоречие, – все объяснялось, и повлекло за собой лавину других открытий, грандиозных и удивительных.

Ну как объяснить, например, это мягкое в Израиле отношение к детям: все им прощать, неслыханно баловать? Шурочка так и не видела, чтобы взрослый ударил ребенка в Израиле...

Можно ей возразить, конечно! Можно сказать, что были мы две тысячи лет в галуте, страдали и мучались, пусть же дети наши растут на воле, как им угодно, а мы полюбуемся, – свободные на своей земле!

Все это так, все это тоже верно, а Шурочка все-таки хочет думать иначе, ибо есть у нее собственный, тайный ключик.

...Рядом с Олендерами, на соседнем пороге – живут Самара – Эдик и Бэлла, Шурочкины приятели еще по Москве, все трое они, между прочим, один институт кончали. Эдик опекает Шурочку, как родную сестру, без Эдика никакая вилла бы у Олендеров не состоялась. Себе цемента достанет, и ей везет, себе арматуры, и ей... Трубы, краны, строительный лес, камень заказывал им в Бейт-Лехеме, архитектор был общий... Ну а финансы? Кто пробивает финансы Шурочке в агентстве Поселенческом? О, Эдик Самара – локомотив, а Шурочка за ним, как вагончик! Сама бы давно свалилась, ни за что бы не потянула!

Так вот, дети... Родились у Белки и Эдика двое малышей в Израиле, мальчик и девочка – чудные крохи, и оба со странностями, необъяснимыми аномалиями.

Девочка, что постарше, смертельно боится собак! Едва завидит щенка, как тут же трясется и падает в обморок. А крохе нет и пяти, ни разу в жизни собака ее не кусала, пожалуй – не лаяла на нее, не пугала. А один только образ собачий вызывает у ребенка судороги и полное отключение сознания, – как понимать изволите это?

И видит концлагерь Шурочка, видит гестаповцев... Людоед-овчарка набросилась на человека и разорвала, и память об этом была последней, с которой душа отлетела...

Мальчишка же Урик ни днем, ни ночью не расстается с оружием. Ходит обвешанный пистолетами, автоматом, – игрушечное, разумеется, но так он и спит, обложенный кругом оружием, так его водят в садик, в гости, – целый арсенал у Урика, горы оружия. И все он содержит в наилучшем виде, копит и бережет.

«Оружейником будет, изобретателем, – смеется Эдик. – Живет ведь в Кадмоне, все видит, все понимает, опасности взрослых передаются, ничего удивительного! И вообще – в Израиле это модно, мальчишкам идти в армию...»

А Шурочка видит картину, молчит: смелая была душа, воевала камнями, палками, не хотела жизни своей даром отдать. Так и погибла где-нибудь в гетто с мечтой об оружии, чтобы на равных сражаться, и лютую жажду этой мечты принесла в новую жизнь.

...Затихает бой голливудский на телеэкране, индейцы с коней и фургонов спешили, добивают раненых, грабят имущество, а форт догорает. Шурочка замерла, насторожилась: послышалась ей работа мотора у себя во дворе, и безошибочно определила, – «пежо» Самары Эдика!

Хлопнула дверца, и тут же ей позвонили.

– Вадик, открой дяде Эдику! – и поднялась с дивана, оставив вязание.

Родной человек – Эдик Самара – целует Шурочку, целует Вадика-Шая... Рыжий, сорокалетний великан, крепкой, тяжелой кости, на плече у него карабин. Именно таких евреев Шурочка бы хотела видеть в будущих фильмах, и верит, что будут, что не сокрут потомки!

Чует Шурочка, что заскочил к ним Эдик на одну минуту, чем-то смущен, в руке у него мешочек нейлоно-

вый – шевелится в нем что-то живое. Не знает Эдик с чего бы начать, и Шурочка спрашивает:

– Ты на дежурстве? А почему вдруг с машиной? А Белочка где? Да ты заходи, не стой на пороге, выпей чашечку кофе!

– Спасибо, Шурик, времени нет, Белка в машине, мы не ужинали еще, – выпаливает скороговоркой. – Слушай, я был на горке на нашей, на «Тушие», вдруг слышу из коробки твоей жуткие вопли... Это не твой котенок случайно?

«И не подох ведь, проклятый! – испугалась Шурочка, пронзенная чем-то внезапным. – Нашел меня, прямо домой явился... Нет, это не зря, это ясно уже, это мне испытание с неба!»

И тут же заволновалась, захлопотала:

– Да он же у тебя задохнется, вытащи его оттуда! Ах, да пройди ты сначала в комнату!

Огромный Эдик Самара переступил порог, сел на диван, прямо на Шурочкино вязание, и вытряхнул на пол котенка, на коврик.

– Мамочка, кто же его раздавил? – воскликнул Вадик, трогая осторожно шерстку, глядя, как котенок вопит, извивается, а тонкие ребрышки вздымаются и опадают.

– Ты же была там, мамочка, ты же его раздавила!

– Бог с тобою, сыночек, этой беды мне еще не хватало!

И бешено соображает: «Не будь идиоткой, какое дело тебе до этой дохлятины? Скажи Эдику человеческим языком, пусть выбросит на помойку, пусть отвезет туда, где нашел!»

– Знаешь, Эдик, ты, дорогой, иди, ты ведь торопишься... Оставь, мы им займемся, мы уж придумаем что-нибудь! Привет Белочке, целуй деток...

Утром Шурочка позвонила в Иерусалим на работу, сказала, что опоздает, есть дело у ней – семейное, личное, отвезла сына в Рамот, в школу, а сама поехала к ветеринару.

Котенок лежал на заднем сиденье в корзиночке, угревшись в тряпках, был он отмыт, накормлен, – весь вечер вчерашний Вадик его лечил и отхаживал.

Шурочка ехала и волновалась:

«В жизни случайностей не бывает, этого слова кабаллист вообще не должен употреблять! С этим котенком, я чувствую, что-то крепко завязано: либо моя судьба, либо Вадькина... А может – и вилла!»

Прием ей назначен был в девять, об этом договорились по телефону, и Шурочка мучительно припоминала:

«Альперт, Альперт... Ветеринар Альперт, – страшно знакомая фамилия, и голос показался знакомым, кто бы мог это быть? Ах, такая уж вздернутая была я вчера, не догадалась спросить, сосредоточиться! Ладно, на месте уж разберемся...»

В Рамат Эшкол приехала рано, с запасом в полчаса. Припарковала машину у «супер-маркета». Котенка оставила одного и пошла прошвырнуться по магазинам.

Время пролетело мгновенно! Ничего она не успела, и никаких закупок не сделала, а как вошла в антикварную лавку «Парас» к знакомому еврею из Тегерана, так и вышла в девять, вся пропахшая терпким орехом, сандалом – запахами сокровенной мечты далекого детства.

Чуть ли не все кадмонцы строят себе дворянские гнезда, купеческие терема, помешавшись на русской старине. Многие заказали себе пятистенные избы в Финляндии, с деревянной сауной непременно, с полами и березовым веничком, – вот же блажь!

Шурочка же Олендер душой всегда жила на Востоке, с младых, как говорится, ногтей тянуло ее сюда – в Израиль, в Иерусалим. Две тысячи лет отсутствовала, –

шутка ли такое сказать, подумать? Здесь она чуть ли не одна из первых, – прикипела к Востоку корнями, не вырвать...

На вилле у себя Шурочка соберет все сокровища и экзотику, – это ее мечта! Внизу, например, у ней будет Индия... Есть уже столик резной с инкрустацией, есть кушетка, атласные кресла, ширмочка чудная, трехстворчатая, статуэтки-слоники, торшер, вешалка – стариной желтой кости. Все это есть у нее, и помаленьку еще подкупает: то там прихватит, то здесь...

Салон же оформит в персидском стиле! Поэтому и пасется часто в Рамат Эшколе, в лавке у Нисима из Тегерана, своего обожателя. А Нисим этот как завидит Шурочку сквозь витрину, сразу руками машет, и зазывает: «Саша, Саша ми Россия, бо эна, бо эна!» Угощает рахат-лукумом, чашечкой кофе, орехами... И все виляет, виляет хвостом, так и тает, отдал по дешевке старинный медный кувшин чуть ли не в рост человека, с журавлиным узким горлышком, два гигантских подноса на складных скамеечках, тарелки стенные, облитые майоликом, отдаст персидский ковер... О, нет, ковер этот стоит целое состояние, и Шурочка понимает, – самой за него придется отдаться!

«Господь мне простит этот грех – бедной вдове, это сильнее меня! Ничего не поделаешь, и у старухи бывает прореха!» – уговаривает она себя, попивая кофе в скалочной лавке у своего обожателя пылкого, с головою в тумане, и путая поэтому русские пословицы.

На третьем этаже, в спальнях – будет арабский дизайн! С этим проблем у Шурочки нет, и не будет, – в Старом городе, в окрестностях Стены плача, тоже в лавочках, можно достать все, что угодно, да по великой дешевке, если, конечно, уметь торговаться. А торговаться она научилась, умеет... Знает Шурочка, если с арабом не торговаться, то просто обидишь смертельно...

Ровно в девять вернулась к машине, взяла корзинку и спустилась в подвал, рядом с «супер-маркетом». Судя

по всему – квартальное бомбоубежище, ибо дверь на входе была из массивной стали, на герметических запорах... Яркое освещенный коридор, где Шурочка шла, был обклеен плакатами: глисты, ящур, клещи, и уйма другой пакости, нечисти, а в конце стоял журнальный столик с креслами, где сидел бородатый мужчина, который слышав шаги, поднялся навстречу.

– Доброе утро, госпожа Олендер, как вы себя чувствуете?

Шурочка узнала своего рава, очень этому удивившись.

«Какое странное совпадение! Ему тоже назначен прием... – и вдруг похолодела. Ей сделалось стыдно, и сразу – жарко. – Да он же в халате, дура! Рав Альперт, и Альперт-ветеринар – одно и то же лицо, с ним ты вчера и говорила!»

– Кводо а рав*, так вы... так я...

– О, не путайтесь, ради Бога, здесь я для вас доктор Альперт, а еще лучше, просто, – Шломо, я ведь гораздо моложе! Вы были так взволнованны, так странно дрожал у вас голос, я прямо испугался... Что это за котенок Ишмаэль, из-за которого вы так страдаете?

Отчаянно силясь понять, что же с ней было вчера, и что она говорила, не зная, как себя оправдать, Шурочка брякнула первое, что пришло ей в голову, пробуя даже скокетничать, понравиться:

– Ах, иврит ваш вчерашний был без капли акцента, я вас совсем не узнала! Вот и случилось...

Доктор заулыбался: мягко, умно, чтобы Шурочку ничуть не обидеть, но, видно, не сладил с собой, громко расхохотался.

– Я слова не сказал на иврите, вы даже не помните? Мы говорили по-русски, я-то вас сразу узнал, пытался расспрашивать, называл по имени, успокаивал...

Шурочка растерялась: такого с ней еще не бывало!

* Кводо а рав – ваша честь, учитель, ивр.

«Ну, девочка, теперь тебе только вешаться... Это не просто глупость, а самый настоящий маразм, старческая сенильность!»

– Это ничего, это бывает – даже похуже! С одним учителем математики, моим хорошим приятелем, тоже случилось нечто подобное, – начал рассказывать доктор.

– ...приехал новый оле*, проучился месяц в ульпане** и вышел на первый урок! Пришел и директор его послушать, и сел подальше, чтоб не мешать... Короче, начался урок, приступил мой учитель к объяснению материала, и, как ведется, как и должно было быть, – потеет, мучается, а детишки хихикают, ерзают, ни черта не слушают. Иврит чудовищный их веселит, все внимание отвлекает. Учитель же просто в панике! И вдруг – пошло у него, поехало, как по маслу, – всюю разговорился, детишки притихли, весь класс напряженно слушает, поедают его, буквально, глазами. Прозвенел звонок, и урок закончился лучше некуда! Вышли они с директором, идут в учительскую: ну и как вам понравилось? – чуть ли не с гордостью спрашивает мой приятель. Директор обнял его за плечо, и отвечает в глубокой задумчивости: первая половина урока, я бы сказал, прошла ничего, вполне нормально! Волновались, естественно, немного нервничали, зато все было ясно, понятно... А вот со второй половины, когда вы вдруг перешли на русский, – ну абсолютно ничего не понял!

Шурочка громко, от всей души смеялась теперь:

– Изумительно, доктор! Нет, не может этого быть – анекдот...

– Могу вам поклясться – совершенно реальный случай!

* Оле – новый эмигрант, ивр.

** Ульпан – курсы по изучению языка, ивр.

– Какой несчастный! На работу, конечно, не взяли?

– И здесь вы не угадали: работает в той же школе, прекрасный преподаватель, директор им не нарадуется.

Шурочка успокоилась, полная благодарности к своему умному раву, за эту паузу, веселенький случай, давший ей освоиться с необычной ситуацией, с жутким провалом памяти.

«А почему бы и нет – ветеринар, рав? Не Торой единой жив человек, и не святым духом – вполне достойное ремесло! И все-таки стыдно, год хожу к человеку на лекции и не знала... Теперь понятно, почему он так много о животных знает, так интересно рассказывает! И про Адама, и про Даниила во рву, про Амалека...»

– Давайте-ка своего Ишмаэля!?

И Шурочка передала корзинку, он запустил туда руку и извлек взвопивший от боли комочек. Уложив на ладонях, на уровне живота, стал серьезно и строго разглядывать.

«Как ребенка! – подумала Шурочка. – Какие мы с Вадиком молодцы, отмыли кровь, грязь... А вид у него все равно не еврейский, – паршивый, приبلудный!»

Доктор с минуту изучал пациента, а Шурочка понимала, что ее тайна отныне в надежных руках, что долг свой она исполнила наилучшим образом. Все это никак не случайно – (опять это дурацкое слово!), – а рука судьбы, и скоро все объяснится.

Шурочка вдруг припомнила одну из последних лекций на тему об Амалеке, – задала хитрый вопрос и получила от рава ответ, приведший ее в восхищение:

«Пророк Самуил, провожая царя Саула в поход на Амалека велит ему истребить у врага от малого до велика, – это понятно, но почему он требует уничтожить и всех животных? – спросила Шурочка. – Чем животные виноваты?»

«Совершенно уместный вопрос, госпожа Олендер! – обрадовался рав Альперт, просияв глазами и всем ли-

цом. – В случае с Амалеком Господь Бог действительно велит Израилю уничтожить все на войне, «не трогая ничего из заклятого», умертвить у него всю скотину, даже собак – «мочащихся к стене»... Дело в том, что искусство черной магии было настолько развито в древнем мире, настолько дьявольски изощренно, что нам это кажется чистейшим бредом сегодня. В Египте, в Халдее и Вавилоне легко превращали людей в животных, и наоборот! Приведу вам простой пример: помните, когда Моисей превратил посох в змею, и та вдруг ожила и поползла на глазах у фараона, то маги египетские без труда проделали то же самое, посмеявшись над Моисеем? Существует мнение, что именно так Амалек и уцелел, превратившись в тучные, соблазнительные стада, которых пригнал в Израиль Саул... Пророк же Самуил впал в ярость, когда увидел, что повеление Господа не исполнено – именно о животных, и от досады готов был убить самого Саула, ибо Амалек – это оборотень, сатана, метафизический дух зла! И это во все времена, даже по сей день... Есть кабаллисты, которые легко доказывают, – явление германского фашизма, уничтожившее одну треть нашего народа, это и есть все тот же самый Амалек, с привычным ему обликом зверя!»

Вот этим ответом она и была потрясена, взволнована, помнится, даже подумала ни к селу, ни к городу:

«Ну вот же, вот же вам готовые сюжеты для фильмов, почему их никто не снимает? Мировые шедевры...»

– Как будто из мясорубки! – услышала Шурочка и испугалась.

– Спасите его, я заплачу сколько угодно! Вы разве не видите, – это не просто котенок? Я понимаю, я дура, это звучит смешно... Когда я его нашла, меня как током прошибло!

Доктор поднял на нее глаза – пустые, отсутствующие. Потом они потеплели, ожили, полные жалости и сострадания.

– Ваше доброе сердце влетит вам в копеечку, здесь нужен рентген – куча снимков! Нужна операция, и я убежден – далеко не одна, так что хорошенько подумайте, это долларов сто, и ничуть не меньше!?

«Бандит!» – ахнула Шурочка, и ноги ее подкосились.

Упала в кресло возле журнального столика, и принялась лихорадочно соображать:

«Бандит, разбойник, да как он смеет!? Ведь мы же свои, ведь я же строюсь, у меня гроша свободного нет за душой! За сто долларов я могу... Господи, целых сто долларов!? За пададь какую-то, мешочек перемолотых костей? Нет, нет, надо немедленно ехать к другому ветеринару, не может быть, чтобы столько стоило!»

Через открытую дверь смотрела со злобой на доктора, который не получив ответа, вошел в кабинет, опустил котенка ее на кушетку, поставил кипятить шприц, взялся перебирать ампулы.

Злоба и ненависть клекотали.

«Ну почему, почему я такая несчастная? Вот он там улыбается, что-то губами лопочет, зная, что дура, что пробка, и грабит меня! – и чувствуя, как слезы душат ее – еще минута, и разревется, крикнула: – Валяйте, Шломо, договорились! – вскочила и поехала на работу.

4

Снится ей сон этой же ночью: серая, пепельная поляна, растет на ней бледный, высокий стебель. Вдруг видит Шурочка, как всеми листьями он начинает махать. И непонятно ей ничего – ветра как будто нет... Словно взлететь собирается, так этот стебель машет, как птица, – оторваться от этой унылой поляны, где пепел лежит крупой, мелкие острые косточки – смолотые, обугленные.

И умиляется Шурочка, уж очень знаком ей стебель – чахлый, болезненный, и хочется ему помочь, а вот как, и что происходит – не знает!

И видит – голубь белый, взволнованный опустил под стеблем, воркует, нервничает. Тоже понять не может, – что за жизнь борется в этом стебле, птица, или растение?

Вдруг налетела целая стая! Их приманило, видать, любопытство, а сесть на пепел брезгуют почему-то... Но сели, перебирая лапками, очумело глядя на листья, а Шурочка ужаснулась: пепел-то, Боже мой...

– Мамочка, пересчитай стаю! – услышала голос, и стала тут же считать. Двенадцать голубей насчитала, включая и первого. Но всем им, даже самой Шурочке – еще одного не хватает!

А этот тринадцатый – умница – вот он, круги свои пишет все ниже и ниже, и возникает великая тяга, неумолимая тяга, и – о чудо! Вырвался стебель всеми корнями от жуткой поляны, вырвался и взлетел, и машет, машет листьями все сильнее, уверенней, уносясь с ликующей стаей...

Шурочка сразу проснулась, включила ночник, подошла к сыну.

Вадик был в полном порядке, и Шурочка успокоилась. Ни капли не мучаясь, не гадая – мгновенно поняла сон. Сунула ноги в тапки, накинула халат, и вышла за дверь.

Тихая библейская ночь раскинулась над Кадмоной. Шурочка вдруг подумала, что именно здесь, в точно такую же ночь, сошла с небес дивная мудрость к царю Соломону – благословенное Богом место!

«И стебелек мой тоже на будущий год, как раз в тринадцатый – возмужает... Отлетит проклятие Амалека!»

Обшаривал голую местность голубой столб прожектора за колючей проволокой, у ворот пили кофе молоденькие пограничники – на стыке земли Беньямина и северной Иудеи.

Шурочка поглядела в небо, усеянное крупными звездами, и, задохнувшись от счастья, крикнула, как ненормальная:

«Спасибо, глазки мои голубиные, отличные фильмы вы крутите!»

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в Румынии, в Бухаресте, в 1940 году. Спасаясь от нацистов, родители бежали в СССР, семья чудом осталась жива, уцелела.

Окончил Ташкентский Ирригационный техникум, Узбекский Государственный институт физкультуры, был мастером спорта по боксу, чемпионом республиканских и всесоюзных соревнований.

Первый рассказ свой написал в 1964 году. Жил во Львове, Ленинграде, Москве, Кишиневе, несколько раз пытался поступить в Московский Литературный институт, но безуспешно. В СССР почти ничего из прозы опубликовано не было, хотя писал много – естественно, «в стол». Своим литературным отцом и наставником считаю покойного Давида Яковлевича Дара.

С 1972 года в Израиле. С тех пор у меня вышли четыре книги: «Третий Храм» (переведена на иврит и английский) «Прогулка в Раму» и роман «Десятый Голод».

Печатался в журналах «Посев», «Менора», «Возрождение», «НЕС», «22», «Сион», «Рассвет», «Родина», «Грани», «Круг». В газетах: «Русская мысль», «Наша страна», «Трибуна», «Неделя», «Иерусалимский Курьер».

Лауреат Израильских литературных премий: «имени Сапира» (в 1978 году) и «премии имени Рафаэли за 1984 год».

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Перевод с украинского Василия Бетаки.

* * *

*

Закройся медною горою,
Спрячь дерзкую голубизну!
Мрак, бултыхаясь надо мною,
Шагами давит тишину,
Но горизонт укрыл каймою
Тебя! Шепни: «Живу! Живу!»
Вглядись: виденье голубое
Похоже на твою жену!
Пусть гром вселенский надо мною
В отчаянье – и не взгляну! –
Разбей кулак о тишину,
Закрывшись медною горою!

* * *

*

...А зэк танцует в сапогах отцовских
Под небом сивым, под дождем слепым.
Грохочет, словно колотушкой в доски,
Вытряхивая из души, как пыль,
Скорбь одиночества и злую тьму...
А дождь – за шиворот (на коем – номер!)
Эх, добежал бы с Киева в Житомир
За этот час, что выдали ему!
Гуляй!

А что там дальше, через час?

Плевать, что снова ни вздохнуть ни охнуть,
Пусть не вздохнуть: тут главное – не сдохнуть!
Чтоб снова фигу показать в свой час!

* *
*

Гляну вдоль стерни осенней –
Куда ты бежишь, дорога?
Горизонты все пустынной,
В мире мокро и убого...

За прудом – лес холодеет.
Витражи берез, пылая,
Всё зовут: – Беги скорее
В мир безвестный, в мир без края...

Осень – зимой обернется...
Стынет над землей Сварога
Обезумевшее солнце.
Мокро в мире и убого.

* *
*

Памяти Миколы ЗЕРОВА

Колеса глухо тарахтят,
Как волны, бьют в паром.
Встречай товарища, Харон,
И с горем и с добром!

Колеса бьют, колеса бьют,
И бесконечен путь.

И всё. Домой не повернуть,
И дом свой не вернуть!

Москва, Медвежегорск и Кемь,
И остров в волны врос,
Колючей проволокой оброс
И весь распух от слез!

И снова – Вятка, Котлас, Усть-
Вим... Не перечисляй!
Сов-конц-соц-лагерный Союз,
Забытый Богом край!

Он даже дьяволом забыт!
Тут правит бог иной:
Марксист, Расист и Людоед –
Един их лик тройной!

Москва-Сибирь, Москва-Сибирь...
Руками лагерей
Сооружают новый мир
Из крови и костей!

* *
*

Проплавив окна сквозь пространство-время,
Сквозь эти стены рабской немоты,
Хор свеч паникадила с высоты
В нас проникает, растворяя темень.

Чтоб глубь души сумела воссиять
Озерами в ночи твоей тяжелей,
Стой и молись, склоняя очи долу,
Пока почувствуешь, как благодать

Нисходит, словно отсветы ее
Экраном ярким существо твое
Вдруг высветят. И зыбкой синевой
Размоют кольца лет, как сон за сном.
И ты, оставленный в себе самом,
Поймешь, что значит чудо смерти т о й.

* *
*

Мертвый сон галактик
Не задушит нас...
Спать бы, спать бы, спать бы –
Миновал наш час!
Глупо ночь плутает
По степи глухой.
Кто там так ступает
Гулкою стопой?
Ведьма ли степная?
Водяного шаг?
Или – насылают
Божью кару так?
Небо – рваной раной,
В трещинах земля,
И от страха пьяны
Космы ковыля.
Скифским бабам каменным
Не избыть беды...
Кто там к звездам пламенным
Проторил следы?
Может быть – последний
Из живых людей
Бросил мир наш бедный
И ушел к звезде?
В нашей круговерти,
В царстве Сатаны,

Ни жизни, ни смерти,
Только сны да сны...
Мертвый сон галактик
не захватит нас...
Спать бы, спать бы, спать бы...
Миновал наш час!

ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗАРУБЕЖЬЯ!

В последнее время участились случаи перепечатки в русскоязычных изданиях Зарубежья материалов «Континента» без всякой ссылки на источник.

В связи с этим, редакция считает своим долгом предупредить столь бесцеремонных публикаторов, что отныне мы закрепляем за собой право пресекать подобную практику в соответствии с существующими в каждой отдельной стране законами.

Право требовать морального или судебного удовлетворения на местах предоставляется нами нашим официальным представителям, имена которых обозначены на второй странице обложки журнала.

Напоминаем также, что «Континент» разрешает всем русскоязычным изданиям Зарубежья безвозмездные перепечатки из «Континента» только с условием обязательной ссылки на источник.

РЕДАКЦИЯ

ПЛАЧ ПО АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

Не Богу. Тебе я – смертному
И умершему давно –
В могилу твою усердную
Молитву мою (на дно),
Как самое подноготное,
Захоронить спеша,
Пока у тела не отнята
Смертная, но душа,
Собственными перстами
Из ребер, как – за рубеж!
Вытаскиваю. И под камень
Втаскиваю. К тебе.

1

Я стою посередине.
Старый храм.
По колоннам паутины.
Голубиный гам.
В пустоте его, как в яме,
Тонет речь.
Потому что в старом храме
Нету свеч.
Только тени привидений
По углам.
Никуда себя не денешь,
Старый храм.
И где парусы крылами
Развиваются,
Наши души в старом храме
Бьются в купол голубями,
Разбиваются...

Там, где девушка пела в хоре
 За изгнанников и бродяг,
 Ахинею такую порют
 И дурачат за «просто так».
 Соглядатаи лезут в хоры,
 В самый купол с утра галдят.
 Страшный Суд – это если горе
 Онемело! И пусть назад
 Ротозеи идут из храма,
 Скурвив око в иконостас,
 Поминая Стихи про Даму,
 Непонятностью их давясь,
 Повстречают не Божьи лики –
 Обыкновенных химер оскал...
 Замолчите, проклятые книги!
 Никогда вас Блок не писал!

...Но поздно вечером в соборе,
 Когда светильники темны,
 Старушка в траурном уборе
 Стоит безмолвно у стены:
 Над аналоем дым курений,
 У алтаря архиерей,
 И тесно в храме даже теням,
 Но места нету для людей.
 И только ей, быть может, слышен
 Псалом Давида. И легли
 Лучи луны крещеньем высшим,
 Как слезы девичьи, в пыли.
 Но звук истаял в благодати
 И пенье труб оборвалось.
 Пустой собор. И Богоматерь,
 Которой петь не довелось,

Стоит одна. Господней метой
Заря нисходит на собор.
И нет прощенья нам! И нету
Надежды в жизни за раззор!

4

Проели, пропили,
И всё – промотали.
Кораблик на шпиле
К земле приковали.
И лишь над кронверком
С крестом на плече
Ангел не меркнет,
Подобно свече,
Сияет в ночи,
Осеня крылом
Огарок свечи
За бессмертным столом...

5

То ли сердце источилось,
Надоела ль чехарда –
Только снова мне приснилась
Петербургская звезда.
Но в пустынном поднебесьи
Не могу никак найти
Отголосок старой песни,
Им оброненной в пути...
Друг затерянный мой, дальний,
Помяни его во тьме
У колонны ли Ростральной
Иль на Пряжке в кутерьме
Топтунов и прочих ванек,

Отыщи у дев и вдов
Искру Божию в тумане
Иль тоску его в бурьяне
Вещей бездны пошлых слов...

Петербург – Иерусалим

ШВАРЦБАНД Самуил – родился в 1941 году, жил в Ленинграде, публиковал в советских изданиях статьи по истории литературы. В 1962 году его стихи были приняты к публикации в «Новом мире», но не пропущены цензурой – с тех пор больше не предпринимал попыток их напечатать. С 1982 года живет в Израиле.

АНКЕТА

Перевод с украинского Юрия Милославского

I

Чернобровастый паровоз где-то вдалеке заперхал колесами, чуть присвистнуло над степью, и замурзанные деревеньки удивленно выглянули из-за холмов – а Половецкое, продвигаясь навстречу, так даже поклонилось, словно спеша здоровья пожелать. Но мелко посыпало-зачастило дождем, нахмурилось, – вот и не дошло дело до «здравствуйте».

А на тихое перханье паровоза поднялся с пола в своей избе – Собачка Антон Родионыч, потянулся – сказал жене:

– Терпеть не могу, когда бандюга снится. Все ж'ки с е к р е т н ы й а г е н т п о б е - б е*, а мне всю дорогу: сволочь да сволочь!..

Растрепанная, с подбитым в засини глазом жена подремывала рядом. Антон Родионыч тыканул ее в бок и гаркнул:

– Хозяйка!.. Слава Богу, день уже, а ты куняешь. Давай!

Весноватая Галька дернулась, с ужасом вгляделась в свою судьбину – и успокоилась; запекшиеся с мутью глаза ее улыбнулись Собачке:

– У кого что болит, тот о том и...

– Не, ты, бля, послушай: словили мы вчера Горячего на лугу, – а ночью вижу – вроде стожки горят, свиньи какие-то черные в печку лезут, а за ними – наши заложники... Мужики возле огня пляшут, самогонку из

* «Бе-бе» – Комиссия по борьбе с бандитизмом.

котелков поддают... Я их с Чабанюком разгоняю, а Бугаец Дмитриевский – сексотом он у меня, – тот котелок подносит... Пей, говорит, душа-кровь, с нами. А главное – Горячий на коне – прямо в рыло... Я команду: «Револьверы!», – а сено горит, и деревня черная, скрутилась, вроде как самогонный аппарат...

Галька погладила сонную головку дочки Палашки, прикрыла рядом ноги разогревшегося на лежанке сына – и тяжело вздохнула:

– Это потому что пьешь. Вот так догуляешься когда-нибудь: наскочит банда...

Антон Родионыч сплюнул, растер сапогом – однако ж побледнел и, перекосясь, ответил:

– Товарищ Джемс указывает: неочищенный самогон пить вредно...

И даже как бы приласкался к жене:

– Дурбила, ты вообще-то знаешь – кто такой твой Антон Родионович? Думаешь – его запросто-нехотя? – ого! Я и теперь еще могу кое-кому устроить, чтоб не гавкали: «бандитом был, – бандитом остался»... А?

Ну, обратно завелась – «надоел ты людям», – положил я на людей! – поняла?! Правильно говорит товарищ Джемс относительно женщины...

Антон Родионыч натянул левый сапог – и перебрался с мысли на мысль:

– Готовь завтракать, а Палашка хай смотается до комбеда за подводой. Выступление сегодня говорю для учителей; контрреволюционеров, бля... «Мы стремимся только к лучшему!» – и на всю избу: – Завтракать – раз! Онучу без рубцов пошукать – два! Стопку к завтраку – три!

И Антон Родионыч принялся завтракать; жена подносила, а заспанные детишки робко посматривали на отца и молчали; изредка, правда, достигало мать неосторожное ребячье: «Мам, и нам сальца», но тогда отец недовольно прожевывал вместе с комком еды свое слово:

– Азиаты.

...На печке шелестела камышинкою детям бабка Оксана:

– Батька ваш душам запись ведет, а потом водку пьет и мать бьет...

И дети боялись отца: когда наступит вечер – сорвет он уздечку с гвоздя – и к матери:

– Против власти прешь?! Убью гадину!

Пьяный рушился на глиняный пол, бился лбом о ножку стола, блевал, – а мать стлала куль соломы, на него кожух, укладывала мужа спать, а сама бежала запирать двери – страшно...

«И ведет душам запись, а потом водку пьет и мать бьет...»

Собачка надел посекшуюся от солнца кожаную куртку, напялил поверх дождевик, сунул за пояс револьвер – и, бахнув дверьми, вышел.

Вплоть до подхода к деревне Смутные Горбы Антон Родионыч размышлял:

– Как там тов. Джемс про женщину говорил? «Женщина и производство»... – просмеялся и сплюнул. – Разве с таким жлобом, как моя, может быть производство? Культуры – ма, неграмотная, политики совершенно не кумекает.

– Но-о-о, осади малось, не дергай, – возле холмика толковал со своею клячею некий мужичонка-рыжая борода.

Увидя Собачку, он вытер мокрое лицо и подобострастно, хитренько залыбился:

– Антон' Родионычу привет...

– Здравствуй, – тихо отозвался Собачка, – и тотчас же в полный голос: – А продналог?! – поправил ворот дождевика – и двинулся дальше.

– П р а д а л о г ... – искажился мужичонка. – Но-о!

Ударил клячу – взвизгнула жижа под колесами, и воз остановился; рыжая-борода бросил вослед Собачке

матерное, рванул вожжи – и свирепо спросил у обнаженной вербы при дороге:

– А?! Прадалог, говорит, а?!

...А Половецкое с утра уж такое было нищее, убогое: объединенная скотиною стреха, дерева в клочьях коры, и прошла через дорогу от колодца босая девка – юбка на ней из мешковины; прошла – хлюпнула водою у воротец...

– Ладно хоть дорогу с полными ведрами перешла, – подумал мужичонка и потуже затянул ремешок шинели.

II

Волостное управление, что перекрашено под исполком, напоминает прежнее николаевское: хоть и заменили в уголке икону на бюст Шевченко, а под ним – плакаты: «Бей по Колчаку!», «Бей по Деникину!», «Бей по Петлюре!», – а кто-то, нуждаясь в бумаге, отодрал от одного этак цыгарки на три, – зато приписал: «Бей бан-дитов – эксплуататоров народной крови!»

Съезд.

Учитель Матвиец глядит на все искоса, осторожно. Вперяет палец в газету и громко – так, чтобы все присутствующие слышали, – зачитывает: «Европа в революционном огне: в Англии, Америке, Франции перепроизводство продуктов достигло... Безработица грозной волной...» – и бросает газету на стол.

Подбегает, притоптывая, тов. Джемс: маленький, с поклеванным оспою, монгольским личиком; он – начальник милиции; просит прощения, но инструктора из центра – не будет:

– Начинайте, товарищи, а докладик сделает Антон Родионович.

Собачка касается револьвера, выпрямляется – и торжественно, по-гусиному, шествует к трибуне.

При имени Собачки делегаты затихают.

– Товарищи интеллигенция и селянство, – начинает он, – вам известно, кто я такой?!

И дальше:

– Затемнять народ, жаждущий знания и света... Буржуи сознавали, шо кода настанет социализм советской власти – они погибнут, и они погибли, но йдеть жестокая борьба, реками проливается кровь, и эксплуататоры народной крови бандиты, например, поймали куренного третьего куреня, который, как и я, перешел честно на сторону – и повесили на вербе вместе с кобелем каким-то, а хто ж сознательный не согласится, шо это зверство? И кода йдеть борьба не на жизнь, а на смерть, тода нужно аккуратнo сдать продналог, не думайте, шо я не сознаю, какая его трудность, токо наш дядько, пока не загремит – не перекрестится, но время не ждеть, раз ты сдал продналог, тода не будешь нарекать, шо Антон Родионович дышать не дает, не – я тебе пальцем не трону, поскольку ты честный человек, а не бандит, не помогай империализму, который железной рукой хочеть потопить у крови ревалюцю, а сдавай продналог, правильно говорю или нет?!

Учитель Черевичко хлопает в ладоши и растерянно бегаёт глазами по делегатам. Из синего дыма выплывает оспанное личико тов. Джемса:

– Нужно, наконец, осознать, – прикартавливая, говорит он, – за что мы, рабочие, пришли на село... Знаем, к нам много примазалось грязных рук, но это будет потом – выясним! – но я променял станок на винтовку не для себя, а для всех рабочих и крестьян, – думаю, товарищи, что мы все скопом пойдем за революцию...

Говоря, он припоминает Собачку: «Надо бы его поближе... Завтра возьму его анкету».

Черевичко наклоняется к Матвийцу: «Чудак, ей-Богу, – шепчет, – здесь вопрос о пайках стоит, а он революцию нажаривает...»

– Предлагаю, товарищи, спеть «Интернационал»,
– неожиданно завершает речь тов. Джемс, и съезд поднимается с мест и начинает петь.

«Тоска осенняя», – повторяется в голове Матвийца, а когда «Интернационал» приходит к концу, он серьезно отвечает Черевичке:

– Не беспокойтесь, после съезда, кажется, выдадут по паре белья.

– Неужели? – радостно вырывается у Черевички, на что Матвиец говорит только:

– Ох, грязь какая на дворе...

III

Домой Антон Родионыч возвращается, как водится, выпивши. Когда добредает он до Половецкого, то снимает с плеч винтовку, загоняет в магазин обойму о пяти патронах, и целится в старую дуплистую вербу, где повесили повстанцы его приятеля-куренного, и бьет...

Выстрел достигает деревенских изб, гулко расширяется о дряхлые стены, и оседает луна на озимые, и еще гуще кропит дождь, и спешит, оступается осенний вечер в черном армяке, и туманы снуют над деревней.

Вместе с вечером оступается, скользит по грязи Собачка, и громко, словно все еще слушают его на съезде учителя-делегаты, заявляет:

– Бог – картинка... А прикажут тебе: «не пускать дождя!» – вот и не пускай! – Главное, – продолжает он, – домой придешь – и анкету писать надо... А то самого за «же» прихватят – и будешь не агент по бе-бе, а...

Из тумана раздается лошадиное ржание, и Собачка, пригнув голову, рывкает:

– Стой! Кто идет!

Крик его будто спихивает лошадь в придорожную колею. Резко кособочится телега.

– Стой, стреляю!!

– Да я это, я, продналог возил, – раздается голос давешнего рыжебородого. – Присаживайтесь, довезу. Крепенько вы где-то клюкнули...

Садясь в телегу, Собачка едва не падает.

– Клюкнул, – ответил он. – Поскольку служба такая... Вот ты – меня подвозишь, а сам думаешь, небось: «Чего это никто не подловит бе-бе это колченогое и того...» А?

– Я человек тихий, – ехидно замечает мужичонка. – Меня не трогай – вовек не задену... Дождит, – переиначивает он разговор. – Хоть бы уж морозы... В газетах, Антон Родионович, нового ничего? – слышал, что Николай Николаевич-то Одесс' занял, – правда или брешут?

– Брешут, – уверенно отвечает Собачка. – А тебе кто говорил?

– Да так... На базаре болтали. А правду в деревне говорят, что вы, Антон Родионович, благословение женино – пожгли?..

– Картинки, говоришь, пожег? Не, пока висят, но пожгу! Докажи, что власть имеешь, – не буду, а раз для самообмана...

В избе Антона Родионыча еще светилося: жена латала его галифе, разорванное на какой-то гулянке; словно дождь по стволу дикой груши, что под окном избы, – бежали Галькины слезы; вздыхала, поднимала глаза к иконе Богородицы, наклонялась к столу...

– Плачем... – скрипнул зубами у окна Собачка и постучал прикладом в двери. Галька вскочила, бросилась в сени отворять мужу; на пороге – приостановилась: «Смерть моя пришла...».

– Ждала?!

Навесная плюха опустилась на измученное лицо Гальки, а мокрый дождевик Собачка сбросил наземь, положил на стол револьвер и скомандовал:

– Раздевай, чего стала!

Галька раздела.

- Ужинать есть?
- Галушки с ряженкой, я думала – вы не придете...
- Давай! Не могла днем залатать?! У, жлобина...

Миску с ужином Антон Родионыч швырнул жене под ноги.

– Даешь служебную папку!

– Видишь, – обращается Собачка к жене, – всякий жлоб спать ложится, а ты за него, гада, анкету пиши, какое настроение... Чего расквакалась, пошла спать... – матерщина хлещет по комнате, и раздаётся тихое шелестение бабки Оксаны: «Не плачь, дочка, не ты первая, не ты последняя».

В окно незряче лупится осенняя ночь, прислушивается к старушечьим словам: «Молись... Пусть пишет людские души, пусть ведет крови учет. Молись...»

Антон Родионыч разворачивает анкету «секретных сведений по борьбе с бандитизмом», долго глядит за здоровенную, как подсолнух-пустышка, печать, по ободку которой корячатся буквы: «особоуполномоченный...», – усмехается, затем слюнит черно-синий карандаш и, приговаривая вполголоса, пишет.

– Давно ли работаете по бе-бе? – деликатно интересуется анкета, – партийность, социальное положение, национальность.

«Безпартийный, – старательно выводит рука Собачки, – но чесно перешел из банды Зеленого к советской власти, когда сидел четыре месяца в особом отделе (и как только шкуру спас?! – мне теперь один хрен, хоть чёрту служить...), бо, – рука Собачки вздрагивает, он язвительно шкерится – и продолжает: – бо тогда еще не укрепилась в моем районе соввласть, а был полный наш бандитизм, который искореняется и продолжает мною искореняться, но честь имею донести товарищу особоуполномоченному...»

– Хотел бы я знать – какой гад донос на меня сделал? – за бандитские скатерти и покрывала! – сам себя вопрошает Собачка и отвечает – по пункту национальности:

«Покрывала и скатерти я представил по описи вместе с ребятами, когда сопровождал бандита Ярового, а что не оказалось не знаю, по всей вероятности думаю, что пропали в дороге при сопровождении, бо», – и ставит точку. Затем пишет:

«Не все еще явились на амнистию, а есть некоторые в Гудимовом лесу, которых не выяснил, с каких сел, а на подозрении у меня учитель Матвиец – связной и Костюченкова Мокрина, которая гонит самогонку...»

Перед глазами Антона Родионыча оказывается п. 27 анкеты: отношение местного населения к религии?

«Отношения пока никакого сделать неззя, бо все ходят до церкви каждое воскресенье, особенно старики и бабы, а вред от этого я поясню на сходках и в разговорах»...

Собачка откладывает карандаш и, нечто припомнив, поднимает голову к темным, в паутине с васильками, иконам; молча, оскалась, тянет на себя полотенце – и когда срывается с деревянного колышка женино благословение – Мать Божия с Младенцем на руках, – бьет Ею о пол и бешено топчет.

– На, на, на!! – безумно вопит Антон Родионыч. – докажи, что Ты не картинка, а ну – докажи!..

Наступив на Лик Младенца, он ловит на себе взгляд Гальки, хватает ее за косы, валит, измывается:

– Целуйся со своим Богом! Целуйся! – порешу я тебя сегодня!

– Тату, – слышится голос Палашки, – пожгли вы иконы, мама вам ничего не говорили, не убивайте их, не сиротите нас...

Собачка сидит на стуле; снуло глядит на суровый портрет Шевченко в шапке; перед ним стоит на коленях Палашка, моет слезами отцов сапог.

– А хай не восстает против меня... Понимаешь? А, Тарас Григорыч? – обращается Собачка к портрету, – не восставай. Раз жгу – значит, знаю – и меня спалят,

гады... Э-э, ты тоже – нация твоя гайдамацкая, – вяло, утомленно заканчивает Антон Родионыч и пьет воду.

...Собачка спит.

Избитая, лежит в чулане на досках Галька; дикая улица Половецкого доносит до нее обрывки странных кровавых песен:

Летела пуля через гору
И прострелила белу грудь мою...

Глухо перхает где-то чернобровастый паровоз, и Галька отрыгивает кровь и шепчет жуткие слова: «Все одно, что там помирать, что здесь, – все одно...»

Светятся ее глаза, она хочет подняться, но падает, сомлев, на куль с чужою пшеницей – и, прислушиваясь к собственному голосу, произносит:

– Убью.

Тогда к избе Антона Родионыча подкрадывается клочковатая слепая осенняя ночь, заглядывает в окно, присаживается на крылечке рядом со псом – и ждет.

КОСЫНКА-СТРЕЛЕЦ Григорий Михайлович – родился в 1899 году в деревне Щербаковка, что на Киевщине. Начал публиковаться двадцатилетним.

Схвачен и убит пятьдесят лет назад – в декабре 1934 года – вместе с прочими крупнейшими представителями новой украинской культуры: Иваном и Тарасом Крушельницкими, Дмитрием Фальковским, Алексеем Влызко (подробности – в статье известного украинского писателя и публициста Григория Костюка, помещенной в книге «На магистральных эпохи», изд. «Смолоскип», Торонто-Балтимор, 1983. Русский перевод см. «Форум», кн. 9, 1984, изд. «Сучасність»).

«МЫ ДОТЯНЕМ СВОЙ ВЕК...»

* *
 *

...а когда заметались метели
по стране на январской метле,
в снежный саван оделись недели
и светило повисло в петле...

Не приемлю посулов от жизни,
раскромсавшей судьбу на куски
в этой проклятой Богом отчизне,
где в тисках неизбывной тоски

только толпы вокзального люда,
словно волны, бушуют у касс,
только волги с сексотами люто,
словно волки, снуют среди нас.

Как бездарна и несокрушима
пирамида из мыслящих плит!
Симбиоз индивида с режимом
превращает ее в монолит...

1979



Ноябрь. Эпидемия гриппа
ломотой корёжит скелет.
Отправлена пышная грива
в корзину за выслугой лет.
То оттепель дразнит игриво,
то стужа заносит стилет...

Сограждане входят с опаской
в общественный транспорт, как в лес,
скрывая под марлевой маской
зрачков лихорадочный блеск.

На службе, у касс, в заведеньях
без тени улыбки – всерьёз! –
вверяют свои сновиденья
начальству, сморкаясь до слёз.

Ночами читают Пикуля,
кидая бессоннице кость.
Жуют с отвращеньем пилули
от кашля и нервных расстройств.

Потом обращаются к водке,
сочтя ее меньшим из зол,
поскольку в надсаженной глотке
мозоли натер этазол.

Проблемы всё неразрешимей!
И, сунув термометр в рот,
мечтой о постельном режиме
бежит занемогший народ.

... Не пялься с надеждой на флюгер.
Чихая на мир не ворчи.

Отсутствие снега на юге
причиной считают врачи.

Они в шутовском облачении
шныряют по темным углам,
сличая влечение к лечению
с параграфом плана. А план –

загнать в карантин пилигрима,
колючкой опутать леса...
Намордник надежнее грима
сотрет выражение с лица!

НОЯБРЬ.
ЭПИДЕМИЯ ГРИППА.
НА ПАЛЬЦАХ – МИКРОБОВ ПЫЛЬЦА

1979

ГРИПП

Преодолев полосу невезенья на брюхе,
в перьях и пухе, в бумажной трухе, будто в прахе,
драные джинсы сменив на парадные брюки,
вытянув руки, бреду, спотыкаясь о плахи...

Ложные страхи! Пора бы прийти в умиление
от всенародного мления. Прочь умаление
планов, побед и значенья великой эпохи!
Есть недостатки, конечно. Но плахи – не плохи!

Это такая попытка приятия мира –
выдавить желчь на бумагу японской пипеткой
и раствориться в колоннах, шагающих мимо
поступью гордой, сверяя маршрут с Пятилеткой,

к новым высотам, зияющим над континентом, – слесарь с дояркой и прапорщик с интеллигентом. Вывернуть мир наизнанку таким контингентом – плёвое дело. Хана буржуазным агентам!..

«Кентом» дымя, возведем города из брезента
в джунглях и в Арктике!.. (Голос жены: «Полотенце...»
...Брысь, отщепенцы! От вас не приемлю презента!..
(...нужно под краном смочить. У него инфлюэнца».)

1979

* * *

Б. Календарёву

Итак, опять про жизнь под страхом смерти.
Про бег с преодолением барьеров.
Про суть и диалектику судьбы.

Коль есть обратный адрес на конверте,
не жди щедрот от унтер-офицеров
конвоя. Снисхождения – от судьи.

приходит и уходит ночь
как время
любить
и уклоняться от объятий
как время пить
или писать стихи

себя не доказать по теореме
в которой нет устойчивых понятий
а лишь потери страха да грехи

И если что мне и дано от Бога, –
так это бег. От дьявола – дорога.
От прочего – неистовство толпы,

намеренной следить за мной по вешкам
извечным, – и не дай мне Бог помешкать
или сойти с размеченной тропы!..

в висках стучит не кровь
а бормотуха
стреляет ухо
но томленье духа
не то же
что похмельная тоска

когда пророка помещают в лагерь
молва
молитвой объявляет шлагер
а истиной
шуршание песка

И если что мне и дано от века, –
так это выюга. От страны – опека,
похлёбка и короткие права.

Желанный финиш призрачней, чем Мекка
Меха снегов на заглушают смеха.
Когда ж бумага впитывает эхо, –
слова в сугробах чахнут, как трава.

1979

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИИ

Глазницы досками забиты.
Сквозь щели проступает быт.
И впечатленья от событий
стихами не желают быть.

Стихи гнездятся в левой пятке,
в давно не стиранном носке.
Но девственны листы тетрадки –
от пламени на волоске.

В конце концов, плевать на это:
жизнь за плечами или треть.
Как на урок, спешать поэты –
кто в эмиграцию, кто в смерть.

Пусть Божий дар клеймом на теле
внушает не любовь, а страх, –
блажен Сражённый на дуэли!
Блажен Сгноённый в лагерях!

Их судьбы жгли, а не мерцали
свечами у слепых икон.
Они свели концы с концами,
замкнули цепь – и вышли вон.

А мы, нахальные потомки,
в котомки побросавши снесь,
без слов плетёмся сквозь потёмки –
кто в эмиграцию,
кто в смерть...

1978

* *
*

Действительность разумна. Так и быть.
Разумное действительно. Допустим.
А нам пора мариновать грибы
и находить подкидышей в капусте.

Всё тоньше нить. Часам обрыдло бить
как в полночь, так и в полдень.
Захолустье
знобит от грусти.

Блажь былых обид

мы растворяем в Маркесе и Прусте.

Периоды на несколько страниц –
бикфордовы шнуры осуществления
несбыточной надежды... А с ресниц

стекают в лист тетрадный, как чернила,
события, предметы и явления...
Но нет,
и нет,
и нет
для них мерил.

1979

ВРЕМЯ

ледяные ветра бронёй не скуют язык
не растопит зной
зрачков ледяные угли
разве только время спустит с цепи борзых
и флажки охоты украсят москву и бруклин

по дорогам снуют вестовые грядущих дат
но ветра перемен огибают столбы россии
на которых я по неведенью был распят
не как вор и тать

а просто как лжемессия

мудрецу

эпоха воздаст за его труды
если он чуток подпоёт и вашим и нашим
то есть можешь собрать паровоз без колёс и трубы
и пыхти что есть мочи над ширью лесов и пашен

производит кремль инвентарный подсчёт светил
в небесах и на

остриях допотопных шпилей
здесь курантов бой эпоху смутил
аккуратным «бом» в приказном совмещеньи стилей

это знает время

а мне не известен ход
размышлений Бога

уснувшего над часами
чья большая стрелка как сердце пронзила год
обретенья веры

и стали нули плюсами

без сомненья время надежнейший эскулап
ан уже сработался съеденный ржою клапан
мундштуки фанфар в наши дни заменяют кляп
черновик эпохи не кровью –

слюной заляпан

1979 – 1980

* *
*

есть на каждом листе календарном
дабы впредь мы не знали забот
четкий перечень в ритме ударном
красных дат и рабочих суббот

в промежутках меж грохотом стали
и воинственным визгом газет
припадаем мы к зелью устами
по пути на парад иль в клозет

в этом веяньи явно влиянье
искривления времени – но
воздаяние за возлиянья
род людской не пугает давно

по морозам и метаморфозам
утирая то водку то пот
мы дотянем свой век под гипнозом
черных дат и кровавых суббот

1979

* *
*

«Три мудреца в одном тазу
пустились по морю в грозу...»

– Всё куда-то постепенно движется:
тает снег, и подсыхает жижица,
деточки пиликают на дудочке,
дедушки разматывают удочки,
истины становятся банальными,

а пенсионеры – персональными,
нет икры, зато дешевле яйца, –
словом, всё течет, всё изменяется...

– Не согласен! Мир на месте топчется.
Нож не точится, и печь не топится.
Классы-массы не мычат, не телятся.
Рыцарь отсыпается на мельнице.
Не прядёт народная умелица.
Без остатка ноль на ноль не делится.
Так что ваше «вечное движение» –
лишь один из видов разложения.

– Оба вы – невежды, трусы, нытики!
Люди – индивиды, а не винтики!
Нам пути к мечте откроет знание!
Человек! Найдите выше звание!
Отрицая всё или сюсюкая,
вы споётесь с западною сукою!
Вам, да всем хаймовичам и крамерам, –
место на погосте либо в камере!..

«...будь попрочнее старый таз –
длиннее был бы мой рассказ...»

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе
Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

Воздушной почтой

Европейские страны,			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка,			
Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка.
В цену входит выходящее 6 раз в год приложение
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под
редакцией А. М. Некрича.

**Просим писать прямо на адрес редакции и прило-
жить банковский или почтовый чек, либо сделать
почтовый перевод.**

Россия и действительность

Александр Зиновьев

НЕ ВСЕ МЫ ДИССИДЕНТЫ

О социальной оппозиции в советском обществе

Я ни в какой мере не претендую на то, чтобы подводить итоги социальной борьбы в Советском Союзе в послевоенные годы, давать оценки известным формам оппозиционного движения и делать прогнозы относительно их будущего. Я хочу рассказать лишь об одной категории советских людей, находящихся в состоянии потенциальной, а порою – и актуальной оппозиции к советскому социальному строю. Эти люди еще не выделились из бесформенной оппозиционной массы в особое течение. В послевоенные годы волна антисталинизма, либерализма и диссидентства завладела общественным вниманием до такой степени, что эти люди либо оказались поглощенными этой волной, либо стушевались, не будучи в состоянии даже заявить о своем существовании как особого социального феномена, либо были спровоцированы на индивидуальные бунты по самым различным поводам и раздавлены по одиночке. Теперь, когда антисталинизм, либерализм и диссидентство исчерпали себя в качестве значительных социальных движений, настало время хотя бы констатировать факт существования этой оппозиционной категории людей в советском обществе.

Я не берусь здесь судить о Советском Союзе в целом. Страна эта слишком огромная. Условия жизни различных народов и наций, входящих в него, настолько разнообразны, что пока еще невозможна идеология и тем более программа, объединяющая все формы недовольства в единый поток. Более того, я не берусь даже судить лишь об одной части Советского Союза – о России. Ситуация в последней в принципе мало чем отличается от ситуации в Советском Союзе в целом. Я ограничусь лишь той частью Советского Союза,

которую я называю Москвией. Такое вынужденное ограничение даже имеет то преимущество, что ориентирует наше внимание на самый глубокий аспект советской оппозиции, а именно – на аспект социальный. Подчеркиваю: не на политический, прагматический, культурный, национальный или религиозный, а именно на социальный, т. е. касающийся самых фундаментальных принципов коммунистического общества.

Что такое Московия? В Московию входит Москва и все то в стране, что так или иначе находится в сфере непосредственного влияния Москвы, для чего Москва является объектом подражания и желанным местом жизни. Московия не есть явление национально русское, хотя вклад русских людей в это государство в государстве огромен. В Московию со всех концов страны устремляются представители разных народов и наций. В борьбе за существование и за лучшие условия жизни они образуют тут свои национальные группы, превращающиеся зачастую в национальные мафии. Но не они характерны для общей ситуации в Московии. Доминирующими здесь являются не традиционные национальные отношения, а те, которые складываются в силу специфических условий коммунистического социального строя. В Московии на самом деле складывается новая, ненациональная общность людей. Советская идеология, утверждая это, не врет. Она лишь констатирует очевидный факт. Замечу кстати, что представители русского народа в рамках Московии стали утрачивать национальное самосознание быстрее и основательнее, чем представители других народов и наций.

Мало констатировать очевидный всем факт выпадения отдельных советских граждан и групп населения в оппозицию. Надо выяснить, почему вообще здесь возникает оппозиция, какие социальные категории людей и в силу каких условий с необходимостью выталкиваются в нее. А для этого нужно обратиться к анализу социальной структуры этой страны как страны по преимуществу коммунистической. В Московии же это преобладание коммунистической системы дает себя знать наиболее отчетливо и ощутимо.

На Западе советское общество представляют крайне упрощенно и тенденциозно. При этом игнорируют тот банальный факт, что такое огромное и развитое общество не может существовать без разделения функций людей и их объедине-

ний, без иерархии их социальных позиций, без различия условий их жизни и деятельности, без различия их интересов. Возьмем, например, такую группу граждан советского общества, как академики, профессора, доктора наук, называемые словом «ученые». С точки зрения Запада, все они суть ученые в строгом смысле этого слова. Но в реальном советском обществе между этими «учеными» имеются социальные различия, которые гораздо важнее, чем принадлежность к категории граждан, работающих в области науки. Есть академики, профессора и доктора наук, которые действительно делают вклад в науку. Это – рабочие и мастера в сфере науки. Они не принадлежат к привилегированным слоям общества. И есть академики, профессора и доктора наук, для которых сфера науки есть лишь одна из возможных сфер жизни общества, в которой они добиваются социального (а отнюдь не научного!) успеха, делают карьеру, занимают посты в социальной иерархии. Многие из них принадлежат к привилегированным слоям общества. Многие из них входят в систему власти вплоть до высших уровней. Эти две группы «ученых» принадлежат к различным социальным категориям, имеющим в советском обществе различный социальный статус, различный материальный уровень, различные интересы. Отношения между этими категориями не являются гармоническими. Интересы их не совпадают. Между ними возникают конфликты, порою достигающие силы острых антагонизмов. С социологической точки зрения, их еще более нелепо объединять в одну группу «ученых», чем объединять в одну группу «военных» генералов, офицеров, унтер-офицеров и солдат. Это касается всех прочих категорий советских граждан, называемых социологически ничего не значащими словами «писатели», «музыканты», «художники», «хозяйственники», «рабочие», «крестьяне», «интеллигенты» и т. п.

Сказанное целиком и полностью распространяется и на категории людей, которые оказываются в оппозиции к советской системе, вступают в конфликт с обществом, ведут какую-то борьбу против его недостатков или даже против социальной системы в целом. На Западе придали преувеличенно большое значение лишь одной форме оппозиционного движения, а именно – диссидентской, игнорируя или занижая значения других, гораздо более важных с точки зрения эволюции советского общества. Я имею в виду антисталинистское и либераль-

ное движение, а также ту форму оппозиции, о которой я буду говорить ниже.

Всякую оппозицию к существующему строю порождает недовольство людей условиями жизни и деятельности. Но не всякое недовольство рождает оппозицию. Советские руководители, например, очень недовольны тем, что трудящиеся пьянствуют и нарушают трудовую дисциплину, а чиновники злоупотребляют служебным положением и заражены коррупцией. Но от этого советские руководители не превращаются в оппозиционеров к своему собственному строю и своему собственному руководству. Масса советских людей недовольна дефицитом продовольствия, трудностями с жильем, очередями, бюрократизмом и прочими дефектами советского образа жизни. Но они не становятся от этого оппозиционерами.

Недовольство людей условиями своего существования проявляется в каких-то действиях. Но не всякие действия такого рода суть действия оппозиционные. Хищения государственного имущества, злоупотребления служебным положением, коррупция, халтура, очковтирательство и прочие явления такого рода в значительной мере суть специфически коммунистическая форма выражения неудовлетворенности различных слоев населения своим положением. Но эти действия не отнесешь к числу оппозиционных. Добровольная эмиграция советских людей на Запад и случаи, когда советские люди остаются на Западе, не являются оппозиционными действиями, как бы люди, совершающие эти действия, ни мотивировали свое поведение и какую бы оценку ни давала им западная и эмигрантская пресса. Власовцы во время войны с Германией были все-таки предателями, а не благородными борцами против сталинизма, и их трагическая судьба не меняет их статуса предателей. Советские дезертиры в Афганистане суть все-таки *дезертиры*, а не *оппозиционеры*. Я уж не говорю о советских агентах, проникающих на Запад порою под видом людей, «избирающих свободу». Даже отдельные случаи забастовок в ответ на плохое продовольственное снабжение или на ухудшение условий работы еще не являются сами по себе действиями, направленными против существующего социального строя.

В оппозицию люди попадают не обязательно потому, что они лучше всех прочих граждан страны, вовсе не потому, что они суть очень хорошие люди, высоконравственные, добрые,

умные, понимающие, талантливые и наделенные прочими добродетелями. Они могут этими добродетелями обладать. Но этими добродетелями обладают не только они. Многие граждане с такими же и даже более сильными добродетелями в оппозицию не идут. Обладание добродетелями вообще не есть специфическое отличие оппозиционера. А когда речь идет об оппозиции как о социально значимом явлении, то это вообще не есть причина попадания людей в оппозицию. При этом важны не субъективные качества людей, а то, почему люди выталкиваются в оппозицию независимо от их добродетелей, зачастую – вопреки их желаниям.

В социальную оппозицию в коммунистическом обществе люди выталкиваются в силу самих социальных отношений, образующих фундамент этого общества. В самых общих словах суть дела тут заключается в следующем. Некоторая категория граждан этого общества, благодаря объективным условиям самой коммунистической системы, получает возможность развить свои способности, самосознание и жизненные претензии до сравнительно высокого уровня. Но, вследствие тех же самых условий, на этих граждан накладываются обществом такие ограничения, которые развивают в них чувство неудовлетворенности тем, как общество оценивает и вознаграждает их реальную роль и их реальный вклад в сумму общественных ценностей. Отношение этих людей к своему положению в обществе осуществляется в их отношении к другим гражданам общества, которым принадлежит доминирующая и решающая роль в данной системе социальных отношений. Всякий конфликт между какой-то категорией людей и обществом есть всегда конфликт между людьми в этом обществе. Стремясь реализовать свои способности и быть вознагражденными адекватно своей социальной ценности в полном соответствии с официально признаваемыми критериями, представители рассматриваемой категории граждан общества с необходимостью вступают в конфликтные отношения с прочей массой граждан, так или иначе идентифицирующей себя с самой коммунистической системой. Эта масса людей имеет власть, достаточную для того, чтобы считать себя основой, оплотом и олицетворением системы. Представители потенциальной социальной оппозиции субъективно могут мотивировать свое поведение как угодно. Как правило, они и стараются выступать в форме борцов за лучшее служение интересам своей

страны, народа и даже партии. Внутри социальных объединений, в которых они работают и проявляют себя, им противостоят те, кто имеет реальную власть, и большинство пассивной части членов коллективов. Деятельность потенциальных социальных оппозиционеров представляется их противникам угрозой их личному благополучию и спокойствию, угрозой сложившейся рутине жизни. Она и на самом деле является таковой. Тут с обеих сторон движущими мотивами поведения являются очевидные и общепонятные личные интересы – в какие бы возвышенные формы ни рядилась борьба между людьми, в основе ее всегда лежит нечто очень земное и прозаическое. Но, с одной стороны, тут – сравнительно немногочисленные возмутители спокойствия, имеющие слабую поддержку в массе коллег, а с другой стороны – консервативное руководство и большинство, имеющее почти неограниченную власть над ближними. Это всесильное большинство интерпретирует деятельность потенциальной оппозиции как деятельность, направленную против самих основ социального строя страны. Всесильное большинство навязывает слабому меньшинству, о котором идет речь, роль актуальной оппозиции самому социальному строю общества.

В социальную оппозицию выталкивается та часть членов общества, в отношении которых общепризнанные коммунистические принципы использования способностей людей и вознаграждения за труд и способности оказываются объективно несправедливыми. Дело тут не в том, что эти люди живут плохо. Они живут не хуже многих других, а то и лучше. Люди могут жить плохо, но, в соответствии с закономерностями данного общества, их низкий жизненный уровень может быть адекватен тому, чего стоят сами эти люди и продукты их деятельности. Низкий жизненный уровень этих людей может быть как раз проявлением социальной справедливости данного общества. Степень эксплуатации их может быть сравнительно низкой, порою – близкой к нулю. Общеизвестны случаи, когда значительные массы людей живут за счет благотворительности общества, не производя вообще ничего. Несправедливость в отношении таких людей выражается не в высокой степени их эксплуатации, а в невозможности или нежелании быть эксплуатируемыми вообще. Жизненный уровень других людей может быть сравнительно высоким, но не адекватным способностям этих людей и продуктам их деятельно-

сти. Степень эксплуатации таких людей может быть сравнительно высокой. В коммунистической Москве, например, степень эксплуатации высококвалифицированных рабочих и мастеров значительно выше, чем степень эксплуатации подсобных рабочих и огромного числа людей, не получающих никакой профессиональной подготовки и выполняющих самые примитивные трудовые операции (сторожа, уборщицы, грузчики и т. п.). В социальную оппозицию выталкиваются представители таких категорий граждан коммунистического общества, степень эксплуатации которых оказывается здесь наиболее высокой. Согласно объективным закономерностям этого общества, эти граждане не могут развить и использовать свои способности, силы и навыки в полную меру, а за свои способности и продукты своей деятельности они получают вознаграждение, которое ими самими и многими окружающими их лицами воспринимается как вопиюще несправедливое.

К этой категории максимально эксплуатируемых граждан общества относятся не рабочие, не крестьяне, не мелкие служащие, не партийные и государственные чиновники, а главным образом наиболее творческие и производительные члены общества. Вот простой пример, иллюстрирующий сказанное. Два сотрудника одного и того же научного учреждения имеют одинаковые должности и звания. Один из них принадлежит к массе средних сотрудников такого рода, а другой является гораздо более способным и продуктивным. Вознаграждаются же они более или менее одинаково. Более того, первый, как правило, является лучше приспособленным к условиям своего общества и ухитряется урвать от общества больше благ, чем второй. Хотя второй и пользуется уважением коллектива, хотя он и вознаграждается как-то за свои способности и усердие, однако, как правило, он так или иначе оказывается в худшем положении, чем первый. Сам социальный механизм с необходимостью порождает это следствие. Естественно, состояние хронического недовольства становится обычным состоянием второго сотрудника и той части его окружения, которая по тем или иным причинам оказывается солидарной с ним. Коллектив при этом раскалывается на части, одна из которых вынуждается на роль потенциальной оппозиции. Аналогичная ситуация возникает в огромном числе учреждений регулярно.

К той же категории потенциальных оппозиционеров относится также огромное число молодых людей, начинающих свою трудовую и творческую жизнь. Они, естественно, отдают обществу все свои свежие силы и способности, получая за это самое мизерное вознаграждение. Они в начале своего жизненного пути находятся в самом низу социальной иерархии, получая вознаграждение соответственно их положению, а не соответственно своим потенциальным способностям и реальной отдаче сил обществу.

Эта категория членов коммунистического общества является относительно немногочисленной, если их подсчитывать с точки зрения ситуации в социальных группах, в которых они работают. Но в масштабах страны в абсолютном выражении она представляет весьма значительный слой. Этот слой увеличивается численно с каждым годом. Роль его в жизни общества становится все более значительной. До известного предела представители этого слоя имеют какое-то сочувствие и даже поддержку в своих коллективах, а также защиту со стороны высших властей от своих коллег в своих коллективах. Кроме того, представители этого слоя выполняют в своих коллективах и в обществе в целом еще одну в высшей степени важную социальную функцию: в них сосредоточивается и через них проявляется все то недовольство, которое накапливается в обществе по самым различным каналам. И они эту функцию уже десятки лет выполняют в Москве во всех более или менее значительных социальных объединениях и сферах жизни общества.

Представители этих слоев общества не превращаются автоматически в оппозиционеров. Это лишь потенциальная база для оппозиции, но еще не оппозиция в строгом смысле слова. Нужно время и сложный исторический процесс, чтобы эти люди осознали свое фактическое положение в обществе, осознали его несправедливость, начали вырабатывать формы сознания и поведения, ведущие к конфликту с обществом. В Москве этот процесс уже давно начался.

Хочу обратить внимание на некоторые особенности этой оппозиции. Она не является оппозицией национальной. С этой точки зрения, она аналогична антисталинизму и либеральному движению, которые также не были национальными. Думаю, что Запад нанес значительный ущерб советской оппозиции, поощрив и в какой-то мере даже спровоцировав в ней явления

национализма. По крайней мере, в условиях коммунистической Москвы национализм любого вида – открытый или замаскированный, исходящий из среды больших или малых народов, – возникает как камуфляж и извращенная форма для чего-то другого или в конечном счете вырождается в это. Национализм, принося некоторый мизерный и кажущийся успех на первых порах, оказывается в конечном счете губительным для серьезной и преемственной оппозиции коммунистическому строю как таковому. Он отвлекает внимание и силы от значительных и глубоких социальных проблем, придавая любой оппозиции поверхностный, мелочный и преходящий характер.

Утверждая это, я вовсе не хочу свести все формы протеста в советском обществе лишь к какой-то одной. Любой протест имеет здесь право на существование, и никакие теоретические рассуждения на этот счет не способны породить его или, наоборот, предотвратить. Я утверждаю лишь одно: серьезная, преемственная и в перспективе эффективная оппозиция в Москве возможна лишь как оппозиция социальная, т. е. как порождаемая специфическими условиями коммунистического строя и направленная против каких-то его специфических проявлений. Всякая иная форма оппозиции (в том числе – и национальная) может сохранить здесь статус оппозиции на длительный срок и внести свой вклад в дело социальной борьбы лишь на основе оппозиции социальной, как ее ответвление или конкретизация. Но не наоборот. От оппозиции социальной переход к любой другой открыт. От оппозиции же, рядящейся в национальные одежды, переход к более глубокой, социальной оппозиции исключен.

Социальная оппозиция есть здоровое, а не болезненное явление общественной жизни Москвы. Она есть норма, а не отклонение от нормы. Она не есть признак слабости общества. Наоборот, ее отсутствие есть признак незрелости общественных отношений страны. Эта оппозиция необходима для самосохранения и прогресса общества. Отсутствие ее обрекает общество на застой и загнивание. Представители социальной оппозиции изображают борьбу за свои личные интересы как борьбу за интересы всего общества. Если взять их деятельность изолированно от общей ситуации в обществе, то это кажется само собой разумеющимся для всех: они делают свое дело лучше других, они своим примером призы-

вают общество к прогрессу во всех отношениях. Так почему же остальные члены общества не следуют их примеру и не открывают им зеленую улицу? Во-первых, потому что не могут. А во-вторых, есть объективные закономерности сложного социального организма, которые превращают консерватизм руководства и основной массы населения в совершенно необходимое условие самосохранения общества. Поэтому здесь, как и во всяком другом обществе, прогресс осуществляется как социальная борьба различных групп людей. Кто прав, а кто виноват, кто за прогресс, а кто против – это решается не путем логического доказательства, а путем длительной борьбы, полной жертв, успехов, поражений, потерь, ведущих к прогрессу, и достижений, ведущих к деградации.

Представители социальной оппозиции принимают коммунистический строй в Московии как историческую данность, просто как факт. Для них этот строй – не случайный умысел злодеев или гениев, а продукт серьезной истории. Этот строй не есть уклонение от неких норм истории. Он есть вполне естественное социальное образование, имеющее право на существование не меньше других общественных типов и доказывающее это свое право способностью выживать в трудных условиях и защищать себя от могучих внешних врагов. Он есть не политический режим, подобный гитлеровскому режиму в Германии, а определенная система организации масс людей в самом фундаменте общества. Его нельзя сбросить и заменить другим, как это делается с политическими режимами. Если отвлечься от возможности разгрома страны в результате мировой войны, коммунистический строй в Московии появился всерьез и надолго. Он еще только в самом начале своего пути. Это отношение социальной оппозиции к своему обществу очень важно понять добросовестно, не приписывая этим людям того, чего в их идеологии нет. Эти люди – не защитники коммунизма. Но в круг их проблем вообще не входит проблема оценки коммунизма как хорошего или как плохого общественного строя, а тем более не входит идея его разрушения и замены другим. Не потому, что они очень любят свой коммунизм, – они его как раз не любят. А просто потому, что это есть среда существования, в которой они приучены жить и добиваться каких-то успехов, из которой у них нет надежды выбраться. У них на этот счет просто нет выбора (за редким исключением).

Отношение социальной оппозиции к своему коммунистическому строю определяется тем фундаментальным обстоятельством, что они образуют не самые низшие слои общества, не самую плохо живущую часть населения. Они, повторяю, относятся к самой образованной, способной, творческой и активной части населения, занимающей далеко не самое низкое положение в социальной иерархии и имеющей законные основания претендовать на большее. Коммунизм в принципе их устраивает, но такой коммунизм, в котором будут удовлетворяться их жизненные претензии. Существенно здесь не то, что коммунизм их устраивает, — они не коммунисты. Существенны здесь их претензии, превращающие их в глазах власти имущих и привилегированных слоев населения во врагов коммунизма. А претензии эти таковы, что их невозможно удовлетворить без длительной борьбы. Ведь блага западной демократии тоже были завоеваны лишь в результате многовековой борьбы, в которой крови было пролито не меньше, чем в трагической советской истории. Их претензии, на первый взгляд, очень просты: социальная справедливость, благодаря которой они будут играть в обществе роль, достойную их способностей, и будут вознаграждаться за это всеми общественными средствами вознаграждения соответственно их реальной роли. Но удовлетворение этих претензий в условиях коммунистического общества будет целой эпохой ожесточенной борьбы. И те блага западной демократии (демократические свободы и права человека), которые на Западе считаются чуть ли не врожденными качествами и потребностями людей, будут фигурировать в этой борьбе не как абстрактная самоцель, а как средства борьбы, как побочные продукты ее успехов и следствия. И они будут выглядеть в реальности совсем иначе, чем сейчас на Западе. Не лучше, не хуже, а просто иначе.

Фактическое состояние общества не есть результат только закономерностей его социального строя. Оно также есть результат борьбы различных слоев населения за свои интересы. Социальная оппозиция в Московии борется за свои интересы, но пока еще главным образом в виде множества разрозненных и эпизодических стычек отдельных ее представителей с их окружением. Уже сейчас происходит формирование своего рода неофициального подобщества, особой среды со своим образом жизни, со своими связями, со своими вкусами и взглядами, со своими критериями оценки явлений культуры и

событий, со своим отношением к официальной идеологии, к властям, к Западу и т. д. Оно влияет на общую психологическую и нравственную ситуацию в стране. Для многих деятелей советской культуры завоевание уважения в этой среде бывает порою важнее, чем официальное признание. Такая оппозиционная общность людей в Московии становится традиционной. Кстати сказать, диссидентское движение имело в ней гораздо более сильную поддержку, чем это известно на Западе.

Коротко об отношении социальной оппозиции к Западу. Бесспорно, Запад сыграл существенную роль в пробуждении и развитии оппозиционного движения в Советском Союзе. Но Запад, естественно, руководствовался при этом своими представлениями о советском обществе, своими критериями оценки общественных явлений и своими интересами. Запад поощрял и стимулировал в советской оппозиции то, что отвечало его понятиям, вкусам, целям, а отнюдь не то, что способствовало потребностям и возможностям внутренней эволюции советского общества. По этой простой причине социальная оппозиция вообще не могла стать предметом внимания и поддержки на Западе, – она не была и не является ни антисоветской, ни антикоммунистической. Запад навязал многим тысячам советских людей такое понимание советского социального строя, истории страны и целей социальной борьбы, какие совершенно не адекватны условиям жизни и интересам советских людей. Это привело к дезориентации сознания оппозиции и сочувствующих ей кругов населения, к измельчению социальной борьбы вообще. Вот почему освобождение от всего того, что Запад стремится навязать советской оппозиции, не считаясь с внутренними закономерностями коммунистического общества и потребностями его граждан, не имеющих целью покинуть свое общество или разрушить его, является теперь условием превращения потенциальной социальной оппозиции в актуальную и явную. В среде социальной оппозиции есть достаточно людей, которые понимают свое общество, свои собственные потребности и свои возможности лучше, чем это им навязывают западные учителя. Не советская оппозиция для Запада, а Запад для нее, – таков должен быть ее принцип в случае, если Запад проявит к ней должное внимание. Трезво рассуждая, на такое внимание вряд ли сейчас можно рассчитывать. Но нет худа без добра. Некоторый

«спокойный» период скрытого вызревания оппозиции так или иначе неизбежен.

Запад для представителей социальной оппозиции нужен вовсе не как место, куда они могли бы убежать от мрачной советской действительности, где они могли бы жить с комфортом и наслаждаться благами западной демократии, откуда они могли бы добывать джинсы и жевательную резинку, откуда к ним потекли бы эротические картинки и детективные романы. В Советском Союзе есть много людей, которым Запад нужен именно в таком смысле. Но они либо не имеют никакого отношения к реальной оппозиции, либо используют оппозицию как средство. Для настоящей оппозиции Запад нужен совсем по-другому. Запад им нужен прежде всего самим фактом своего существования, ибо Запад есть их собственная цивилизация. Живя фактически в Московии, они, тем не менее, принадлежат к западной цивилизации. Более того, они вообще не отделяют Московию от Запада, несмотря на различия в социальном строе и во всем образе жизни. Для них западная культура есть их собственная культура, а они суть ее часть. Современная культура вообще едина.

Но для социальной оппозиции Запад не есть тот образец социального устройства, к которому следует стремиться. Не надо в этом усматривать какой-то грех, страх или слабость. Это естественно. У этих людей свои проблемы, рожденные реальными условиями их жизни в своем обществе, свои враги, свои друзья, свои идеалы. Надо различать позицию посторонних наблюдателей процесса жизни и позицию тех, кто всецело вовлечен в этот процесс жизни. Запад смотрит на жизнь в Советском Союзе со стороны. А этим людям надо жить в своей стране от рождения до смерти, работать, учиться, развлекаться, добиваться успеха, устраивать быт, растить детей, заботиться об их будущем. И это – не исключительные одиночки, а довольно обширный слой, для которого оппозиционное положение не есть ни профессия, ни призвание, ни средство прославиться или нажить капиталы, ни шанс переселиться на комфортабельный Запад, а вынужденный образ жизни в своей стране и в условиях исторически данного социального строя.

Само собой разумеется, что Западу гораздо труднее иметь дело с такой оппозицией, чем с диссидентской. Здесь нельзя рассчитывать на немедленную реакцию, оцениваемую крите-

рями газетных штампов и сенсаций. Но если бы Запад инвестировал свое внимание, средства и усилия именно в эту советскую оппозицию, то со временем эти затраты оправдались бы с лихвой. С точки зрения интересов большой истории, долговременным и верным союзником Запада является на самом деле не явный и кричащий антисоветизм и антикоммунизм, а именно та фундаментальная и непреходящая оппозиция коммунистическому строю и советизму в рамках самого этого строя и советизма, о которой я говорил выше. Дело не в том, кто субъективно жаждет ослабить и даже уничтожить коммунизм, а в том, кто объективно действует в этом направлении, субъективно не испытывая к тому особого желания. Поддерживая эпизодические и исторически преходящие явления оппозиции в Советском Союзе, Запад откалывает от советского общества маленькие кусочки. Поддержав же социальную оппозицию, Запад способствовал бы созданию в советском обществе постоянной и преемственной ситуации социальной борьбы, подрывающей в исторической перспективе самые основы коммунизма.

Социальная борьба в коммунистическом обществе происходит и будет еще долго происходить в будущем в самых глубинах общества, главным образом – на уровне первичных деловых коллективов, прежде чем она выйдет на поверхность и приобретет форму борьбы политической. Тут сказывается своего рода историческая целесообразность: на этом уровне социальная оппозиция остается почти неуязвимой для карательных органов страны, что особенно важно для нее в самом начале ее исторического существования.

Социальная оппозиция не есть просто одна из форм оппозиции наряду с другими. Она есть самая глубокая основа для прочих форм социальной борьбы внутри специфически коммунистических социальных отношений. Какие бы меры ни предпринимали господствующие слои коммунистического общества против оппозиции, будущая история этого общества не будет казарменно-гармоничной. Коммунизм так или иначе породит все мыслимые формы социальной борьбы, начиная с пассивного сопротивления масс населения реформаторской деятельности вождей и кончая безумным и бесперспективным индивидуальным бунтарством. Социальной оппозиции предстоит сыграть в этом особую роль: лишь она способна внести

в эту борьбу историческую осмысленность и целенаправленность. Я убежден в том, что ей принадлежит будущее.

Мюнхен, январь 1985 г.

ОТ РЕДАКЦИИ: При всей спорности некоторых положений этой статьи, проблемы, поднятые в ней, настолько важны и актуальны, что заслуживают, на наш взгляд, самого вдумчивого и заинтересованного обсуждения.

Журнал «БЪДЕЩЕ»

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

ПРЕМИИ «СОЛИДАРНОСТИ» В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ЗА 1984 ГОД

В феврале 1985 года Комитет независимой культуры, рассмотрев многочисленные кандидатуры, выдвинутые творческими кругами, присудил премии «Солидарности» в области культуры за 1984 год. Лауреаты премий:

1. Стефан Братковский (Варшава) – за цикл магнитофонных программ «Звуковая газета».

2. Адам Буяк (Краков) – за фоторепортаж с похорон о. Ежи Попелушко.

3. Эразм Тёльэк (Варшава) – за фоторепортажи на социальные темы.

4. Эва Далковская и Збигнев Запасевич (Варшава) – за спектакль «Пан Когито ищет совета» по стихам Збигнева Херберта в театре «Повшехный» в Варшаве.

5. Тадеуш Качинский (Варшава) – за подготовку литературно-музыкальных программ в рамках филармонии имени Ромуальда Траугутта.

6. Ежи Калина (Варшава) – за художественное оформление погребения о. Ежи Попелушко.

7. Кишиштоф Краузе (Варшава) – за документальный фильм «Есть».

8. «Вслух» (Краков) – звуковая газета, создаваемая коллективом под руководством Лешека Электоровича.

9. Ежи Радзивиллович (Краков) – за роль Раскольников в «Преступлении и наказании» Достоевского (режиссер Анджей Вайда) в Старом театре в Кракове.

10. Ярослав Марек Рымкевич (Варшава) – за роман «Польские разговоры летом 1983 года».

11. Веслав Саневский (Варшава) – за художественный фильм «Надзор».

12. Ванда Шаад (Варшава) – за магнитофонную программу «Дезертиры».

13. Малгожата Шейнерт и Томаш Залевский (Варшава) – за книгу репортажей «Щецин: Декабрь – Август – Декабрь».

14. Анджей Титков (Варшава) – за документальный фильм «Пророжий».

15. Веслав Водык (Гданьск) – за вокально-электронную музыку на тексты современных поэтов.

16. «Коллектив 4Р»: Яцек Федорович с сотрудниками (Варшава) – за историю в картинках «Солидарность. 500 первых дней». («Тыгодник Мазовше» № 121 от 14 марта 1985).

Здислав М. Р у р а ж

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Дальнейший ход событий в мире зависит, прежде всего, от внутренней и внешней политики СССР, или, вернее, советской России.

Многие, в том числе поляки, подают советской России некоторые советы. Большинство их сводится к тому, чтобы советская Россия вступила на путь демократии, освободила нерусские нации СССР и вообще стала какой-то страной с особыми чертами: ни европейской, ни азиатской, ни восточной, ни западной, но миролюбиво сосуществующей со всеми остальными странами.

Действительность не поддается советам такого рода. Нравится это кому или не нравится, а советская Россия оказалась в очень сложном положении, простого выхода из которого не видно. Потому и советы ей не так просты.

Сегодняшний мир, формально говоря, разделен на «капиталистический Запад» и «социалистический Восток», на «бедный Юг» и «богатый Север», на «иудео-христианскую» цивилизацию и все другие типы цивилизаций. Это всё правда, но не вся правда. Даже не первоочередная правда. Мир разделен еще и на расы. Опыт Второй мировой войны, казалось, снял этот вопрос с повестки дня. Но вряд ли это так.

Говорить о расах далеко не всегда означает склоняться к расизму или нацизму. Но нельзя не говорить об этом, хотя вопрос и стал щекотливым.

Как известно, до Второй мировой войны «белые» царили во всем мире, за исключением Японии. Все остальные не имели почти никакого веса. После войны картина коренным образом изменилась. Правда, «белые» все еще занимают ведущее место во многих сферах жизни, но их влияние в мире резко понизилось и продолжает понижаться. В зависимости от методов исчисления, «настоящие белые» – это Западная и Вос-

точная Европа, большая часть Северной Америки, СССР, Австралии, Новой Зеландии, Израиля, меньшинство в ЮАР и частично латиноамериканские страны (главным образом, Аргентина и Чили). Все остальные либо прямо не принадлежат к этой группе, либо могут быть к ней отнесены с большими сомнениями. Это значит, что примерно каждый четвертый в мире человек – «белый». Если даже «белых» и больше, то многие из них сами себя таковыми не признают, считая себя теми или иными «цветными» и даже преследуя при этом какие-то цели.

Исторически получилось, что Россия, как ни одна другая страна, включила в себя не только много разных народов, но особенно много азиатов и, с территориальной точки зрения, сама стала величайшей страной Азии, сохраняя свое первое место по населению и территории в Европе. Это обстоятельство отличает Россию от всех остальных «белых» стран. Восточная и Западная Европа отделены от Азии Россией. В Северной Америке, за исключением внутреннего расового вопроса в США, не имеется ничего подобного, хотя нарастающие проблемы Латинской Америки вызывают в последнее время большую тревогу в стране.

Островные Австралия и Новая Зеландия решили расовый вопрос гораздо проще, практически не впуская «не-белых». В ЮАР проблема отношений между расами стоит очень серьезно; серьезные проблемы существуют также в Израиле.

Но больше всех этот вопрос тяготеет над советской Россией. Уйти из Азии она не может. Все подсказывает, что где-то в будущем Азия начнет двигаться по направлению к Европе – ясно, что через Россию. Правду говоря, советское руководство поступило глупо, вводя войска в Афганистан: это, возможно, является началом войны советской России с Азией, чего ни она и никто другой пока не понимает.

Но и это не всё. У России существуют трудности и с ее присутствием в Азии: она не может освоить и заселить Сибирь, снабдить водой Среднюю Азию, а одновременно нарастают проблемы с ее азиатским населением.

Надо ясно сказать, что, если Россия уйдет из Азии, Азия придет в Европу – скорее всего, это будет Китай.

Советская Россия, как любая другая Россия, боится этого. Я, поляк, не радуюсь тому, что она боится, – и даже не из каких-то симпатий, а потому, что в безнадежном положе-

нии она пойдет на войну, в результате которой проиграют все.

Но как все это будет развиваться – зависит от самой России, в настоящее время от советской России.

Все «белые» взяли от Азии много – и хорошего, и плохого. Россия, по известным причинам, взяла больше всего (включая Сталина и Берию). Из этого еще не следует делать вывод, что если Россия запуталась в своих бедах, то пускай запутывается до конца.

К сожалению, советская Россия всё сделала, чтобы из своего чрезвычайного и опасного положения извлечь ошибочные выводы – особенно после Второй мировой войны. Вместо того, чтобы укреплять свои позиции в Азии, она поступила ровно наоборот: помогла построить коммунистический Китай, самую серьезную угрозу для себя; из-за нескольких островков испортила отношения с Японией; теперь увязла в Афганистане, а кроме того, приветствовала антизападные позиции Ирана и некоторых арабских стран.

Но хуже всего то, что свои ограниченные средства она пустила не на развитие своей Азии, а на гонку вооружений и другие международные авантюры. В результате, она испортила свои отношения с Западом, не говоря о Восточной Европе, и тем лишилась капиталов, техники, специалистов и даже рабочих (до революции многие поляки ехали в Сибирь работать на железной дороге, привлеченные высокими зарплатами).

Что касается Запада, а также и Японии, то они коренным образом заинтересованы и в том, чтобы сохранялось присутствие России в Азии, и в том, чтобы они участвовали в развитии русской Азии, где, в конце концов, лежит будущее России, а может быть, и большинства «белых». Но чтобы Россия могла воспользоваться этой заинтересованностью, ей следовало бы решительно изменить свою политику, внутреннюю и внешнюю. Это еще не значит, что она сразу станет демократией или «Западом», но она без труда могла бы с ними сблизиться.

Как известно, у Запада к России нет никаких территориальных претензий. Япония желает лишь возвращения островов – это не слишком острый вопрос.

Восточной Европе тоже не следует иметь никаких претензий – решен должен быть лишь вопрос о балтийских странах, притом мирным путем.

В такой обстановке советская Россия ничем не рисковала бы, сразу приняв предложения Запада или даже односторонне сделав шаги, которые убедили бы Запад в ее доброй воле.

С этого все могло бы начаться. Нет смысла обсуждать, «принимать» Россию в Европу или нет: «Европы» как таковой не будет без России или против России. Кроме того, Европа движется под уклон, и затормозить этот процесс могут лишь какие-то новые перспективы. НеокOLONиализм, по разным причинам, уже не вернется. Но открытие Россией «пути на Восток», в Сибирь, может вдохнуть энтузиазм в «дряхлую Европу», а России – принести пользу.

Во всем этом, вероятно, не было бы необходимости, если бы в России не победила большевистская революция. Не погибли бы десятки миллионов людей, и освоение Сибири выглядело бы совсем иначе. Иностранные капиталы шли бы волной в Россию и ее Азию. Нормальные межчеловеческие отношения привлекли бы туда миллионы трудолюбивых людей из Европы, как ранее привлекли их в Америку.

Но этого не произошло, и теперь ни советская, ни любая другая Россия уже не нагонит потерянного времени иным способом, чем как это предложено выше.

России не следует стыдиться сказать, что она боится Азии. Это можно понять. Более того, ей надо помочь: это лежит в интересах всех европейцев. Несмотря на все возможные доводы против, Россия принадлежит к христианской цивилизации, или попросту к «белой» части человечества. Если она временно сошла с пути этой цивилизации, надо помочь ей вернуться.

Но зависит все это от самой России. К сожалению, пока она идет по пути самоубийства (которое, к тому же, может сопровождаться всеобщим убийством). Она не только испортила свои отношения с Западом, но и толкнула его на военное сотрудничество с Китаем и другими азиатскими странами, которые в будущем могут столкнуться с Россией или уже сталкиваются.

Возвращаясь к вопросу о «расизме», признать его как существующее обстоятельство, вероятно, было бы менее стыдно для России, чем верить в «научный социализм». Опасаться ли, что такое признание вызовет враждебные чувства в некоторых азиатских странах? Возможно, и вызовет, но СССР там и так вызывает те же самые чувства, даже со стороны

«социалистических» стран. Напряженность в советско-китайских отношениях, даже временно смягченная, имеет не идеологическую, а расовую основу, и это надо откровенно сказать.

В заключение хотелось бы сказать еще одну вещь.

Русский народ, даже без украинцев и белорусов, – самый большой народ Европы и второй по величине после США «белый» народ. А вместе с украинцами и белорусами это самый большой «белый» народ. По территории Россия является самой большой страной мира.

Если бы, по каким-то причинам, такой народ пал – возникло бы «безвоздушное пространство», ощутимое для всех – прежде всего, для «белых». Когда куда меньшая Польша пала в конце XVIII века, она создала такой же «вакуум» в Европе. Этим воспользовались три другие страны, и дело кончилось двумя мировыми войнами. В большем масштабе это может повториться в случае падения России.

А не может ли так получиться, что Россия в любом случае выдержит соревнование со всеми? Нет, не выдержит – ни вне страны, ни внутри. И отнюдь не будет для нее унижением, если, исходя из соотношения сил, она отвергнет нынешнюю политику и идеологию и начнет незамедлительно искать иной выход. Она не нашла этого выхода, став первой в мире военной силой. Этим ничего не решилось и не решится (если отбросить возможность уничтожения человечества). Теперь единственной целью должна бы стать «погоня за потерянным временем». И надо, чтобы Россия откровенно сказала, что ее волнует, интересует, тревожит, а не продолжала темнить и запутывать.

Откровенно говоря, завтрашний мир будет не миром соревнования идеологий или религий, но миром соревнования рас. Это вовсе не значит, что оно приведет к какому-то расизму нацистского типа, но нет сомнения, что все расы будут стремиться сохранить то, что имеют, а нередко и попытаются получить то, что другие по тем или иным причинам упустят. Мир – в недалеком будущем шесть миллиардов человек – даже при соблюдении всех «правил цивилизованного поведения» будет миром не для слабых и глупых, пожалуй, даже больше, чем в прошлом. «Белые» больше всех ответственны за будущее мира, и пора им отказаться от всех своих дурных взаимных противоречий, иногда просто выдуманных.

Откровенно говоря, России здесь принадлежит самое важное слово. Ее величие может быть продемонстрировано именно путем осуществления вышеназванных предложений. Множество таких, как я, присоединится к этому – на нашу общую пользу.

Но если Россия пренебрежет этой возможностью – мы проиграем все. Как те 22 цивилизации, которые уже проиграли в ходе истории. Только теперь проигрыш будет много хуже – вместе с этой цивилизацией мы можем проиграть всё.

Здислав М. РУРАЖ – родился в 1930 году в крестьянской семье в дер. Пёнки. В ранней юности, вскоре после войны, вступил в партию и, получив высшее экономическое образование, вступил на путь партийно-дипломатической карьеры. Был членом польской группы Нейтральной наблюдательной комиссии в Корею (1953-1954), затем экономистом в ЦК ПОРП и МИДе, откуда перешел на руководящие посты в министерство внешней торговли. В 1962 году вернулся в систему МИДа, откуда лишь на короткое время, в самом начале правления Герека возвратился на должность экономического советника в ЦК. В дальнейшем совмещал работу в МИДе с должностью профессора экономики. С февраля 1981 года был послом ПНР в Японии, где в декабре того же года, после объявления военного положения, обратился к американским властям с просьбой о политическом убежище. Судом ПНР заочно приговорен к смертной казни. Живет в США.

Запад – Восток

Ричард П а й п с

ПАРТИЯ, РАЗЪЕДАЕМАЯ КОРРУПЦИЕЙ

По замыслу Ленина, большевистская партия должна была стать высокоидейным и дисциплинированным отрядом революционеров. Ее члены, целиком посвятившие себя общему делу, должны были заплатить за привилегию власти самоотречением, пример которого показывал сам Ленин, человек в частной жизни весьма скромный. Рабочих – если не в теории, то на практике – не следовало допускать к руководящим постам, ибо Ленин еще в начале своей революционной карьеры пришел к выводу, что настоящие рабочие, в отличие от идеализированных пролетариев социалистической доктрины, являются не преданными революционерами, а пособниками капитализма. Тем не менее, партия должна была поддерживать тесную, непрерывающуюся связь с «пролетариатом», так как без его поддержки революция невозможна. Партия должна была проникнуть во все уголки российской жизни и осуществлять руководство сверху в полном соответствии с марксистской наукой, чутко реагируя при этом на сигналы снизу. Ее функции лучше всего пояснить словами Муссолини, который, подобно Ленину, прошел путь от социализма к тоталитаризму и построил свою партию по большевистской модели. Фашистская партия, говорил Муссолини, должна быть «капиллярной организацией» страны, проникающей в каждую клетку социального организма, как кровеносные сосуды пронизывают живую ткань.

К несчастью для Ленина, склероз очень рано поразил эту «кровеносную систему». Еще при его жизни большевистская партия начала выделяться в касту с притязаниями на особые привилегии и терять связь с народом. Этот процесс ускорился с восхождением к власти Сталина, выделившего из партийной

массы элиту, которая и стала номенклатурой. Хотя при жизни Сталина элита не реагировала на сигналы снизу и даже не притворялась, что живет одной жизнью с народом, все же она была прислуживающим классом, рьяно выполняющим команды, поступающие сверху. Несмотря на все привилегии, у нее не было никаких прав, и жила она в постоянном страхе. Номенклатура была исполнителем чужой воли и не имела никаких собственных притязаний.

Все это в корне переменялось после смерти Сталина. За последние тридцать лет номенклатура сумела освободиться от подчинения и фактически не признает никакой власти над собой. Она никому больше не служит и никого не боится. Она стала хозяином в доме, куда вошла как покорная служанка. Ныне номенклатура сама выбирает своих номинальных руководителей, недвусмысленно давая этим людям понять, кто дал им высокие посты и чьи интересы они должны защищать. Взлет советской номенклатуры, которая была прислугой, а стала самодовольной и ограниченной элитой, напоминает явление, имевшее место в России XVIII века, когда дворянство, бывшее ранее обслуживающим классом, превратилось в элиту, наделенную всеми мыслимыми привилегиями и не имеющую никаких обязанностей. Тогда, как и сегодня, этот паразитический класс покровительствовал слабым правителям и поощрял консервативную политику. Одним из последствий этого процесса является тот факт, что каждый генеральный (или первый) секретарь ЦК партии, избранный после Сталина, был слабее своего предшественника. Это создает большие трудности для политической системы, построенной на принципе командования и требующей твердого руководства.

Послесталинская компартия отклоняется от ленинского идеала по двум принципиально важным показателям: она отчуждена от народа, которым правит, и насквозь пропитана коррупцией.

На протяжении многих лет партия один за другим блокировала каналы связи с народом. Правда, она поощряет граждан страны изливать свои жалобы в печати и предоставляет некоторые другие узаконенные способы выражения недовольства, но это всё предохранительные клапаны, позволяющие номенклатуре возлагать вину за то, что не нравится населению, на абстрактную «бюрократию», она же при этом остается безупречной. Подлинное же общественное мнение

либо молчит, либо выходит наружу через не контролируемые властями диссидентские каналы. Единственным имеющимся в распоряжении партии инструментом для выяснения взглядов и настроений населения являются органы госбезопасности, чьи соглашения и доносчики проникают повсюду.

КГБ, безусловно, является самой информированной организацией в СССР, и его сотрудники имеют вполне реалистичное представление о ситуации. Аналогичным образом обстояло дело и с их дореволюционными коллегами – служащими Департамента полиции и охранки. Эти органы безопасности собрали очень точную информацию о положении в стране и на основании накопленных данных в конце 1916 года предупредили начальство о возможности близкой революции. Тогда их никто не послушал. Вполне возможно, что и сегодня отчетам КГБ не уделяется достаточного внимания. Заявления высокопоставленных чиновников службы безопасности, вплоть до их бывшего шефа Андропова, показывают, что они в высшей степени обеспокоены настроениями, царящими в советском обществе, где обнаруживаются широко распространившиеся чувства апатии и цинизма (особенно среди молодежи) в сочетании с пассивностью и эгоизмом. Не будучи в состоянии объяснить эти явления в категориях марксизма-ленинизма, КГБ возлагает вину за них, как и за многие иные неприятные события, на иностранные разведки. Так, первый заместитель председателя КГБ (незадолго до своего самоубийства в связи со скандальным делом о коррупции, в котором была замешана дочь Брежнева) писал, что Запад поддерживает не менее 400 центров и организаций – в том числе сионистских, – якобы нацеленных на подрыв советского общества. Информация, имеющаяся в их распоряжении, побуждает чиновников КГБ требовать от партии усиления идеологической работы, которой придается колоссальное значение. В важной политической речи весной 1983 года Андропов говорил о повышении идеологического уровня народа как первой из задач, стоящих перед партией. Эти увещевания, однако, не находят живого отклика, ибо номенклатура в большинстве своем предпочитает верить, что все обстоит наилучшим образом.

Номенклатура действительно и знать не хочет, что думают ее подданные. Об этом свидетельствует судьба социологических исследований в Советском Союзе. Не налагающие никаких обязательств опросы общественного мнения пред-

ставляют идеальное решение для режима, отказывающего народу в элементарных способах выражения своих взглядов и все же неспособного править, поскольку он не знает, что тревожит людей. Исходя из этого и получив поддержку Черненко, Академия наук СССР в 1960-х годах создала Институт конкретных социологических исследований для систематического проведения опросов общественного мнения. Эта организация сразу же подверглась нападкам со стороны партийных консерваторов во главе с ныне покойным Сусловым. Консерваторы, должно быть, испугались, что эмпирические обследования поставят под сомнение марксизм-ленинизм, который всегда утверждал, что не нуждается в подтверждении фактами и в прочих проявлениях «буржуазного объективизма». Через несколько лет из института изгнали лучших специалистов и свели его роль к анализу – на основании засекреченных исследований – эффективности внутренней пропаганды.

Еще больший вред, чем отсутствие двусторонних каналов связи с народом, наносит правящим партиям коммунистического блока коррупция партийного аппарата. Если первый фактор лишает их знаний, необходимых для эффективного управления, то второй подрывает моральный авторитет, необходимый для мобилизации населения.

Размах и формы коррупции, поражающей общество, повсеместно зависят от национальных традиций, определяющих отношение общества к власти как к источнику почестей или личного обогащения. В большинстве стран мира преобладает вторая традиция и общественные деятели рассчитывают на вознаграждение за услуги, оказываемые гражданам. Они получают чисто символическое жалование, и львиную долю их дохода составляют такие поступления. К этой категории относится и российская традиция. С самого раннего периода истории русские правительства, не будучи в состоянии адекватно платить служащим, позволяли им добывать средства к существованию за счет «кормлений». Аккуратно внося в казну налоги и прочие поборы, причитающиеся с его вотчины, царский чиновник мог оставлять себе все, что удастся выжать дополнительно. В царской России провинциальные чиновники требовали от населения мзду за оказание повседневных услуг и предоставление всякого рода привилегий. Эта практика настолько привилась, что Москва XVII века учредила официальные нормы добычи, полагавшейся воеводе при

выходе на пенсию, и конфисковала все излишки. Даже во времена Российской империи, после того, как государственная служба была модернизирована, а чиновники стали получать регулярное, хотя и далеко недостаточное жалование, взяточничество процветало повсеместно. Зарвавшихся чиновников, особенно если они обогащались за счет царской казны, наказывали, понижая в должности или выпроваживая раньше срока на пенсию, но почти никогда не отдавали под суд. В дореволюционной России чиновника, находящегося на государственной службе, нельзя было судить без согласия начальника, который почти никогда на это не соглашался, так как чиновники были настолько тесно связаны с императорской властью, что их осуждение могло очернить образ самого императора.

Национальные традиции, конечно, имеют большое значение, но не менее существенное влияние на развитие коррупции оказывает обобщественная доля политической власти и национального богатства. Коррупцию можно определить как злоупотребление доверием – за деньги или иное личное вознаграждение – людьми, которым поручено охранять нечто, принадлежащее другим, будь это власть или собственность. Никто, разумеется, не может злоупотребить собственным доверием (предать себя можно лишь в переносном смысле), откуда следует, что в воображаемом обществе без государственной власти, в котором вся собственность принадлежала бы частным лицам, коррупция была бы невозможна. Напротив, если государственная власть формально ничем не ограничена и располагает всем богатством страны, возможности коррупции теоретически беспредельны. В большинстве стран устанавливается некое равновесие между общественным и частным секторами, так что коррупция удерживается в допустимых пределах. Демократический контроль над администрацией создает предпосылки к тому, что взяточничество и иные формы коррупции могут быть вскрыты и наказаны. Как правило, однако, расширение общественного сектора управления или владения национальным богатством создает климат, благоприятный для коррупции.

Коммунистические режимы представляют именно тот тип государственной власти, которая владеет всем национальным богатством и проникает во все сферы жизни. Отсутствие

контроля извне приводит к тому, что коррупция разъедает такие режимы сверху донизу.

Коррупция в коммунистических странах принимает самые разнообразные формы. Одна из них – доступ высокопоставленных партийных чиновников к специальным распределителям. Строго говоря, такие привилегии нельзя считать коррупцией, так как они предоставляются при попустительстве правительства и не связаны со злоупотреблением доверием. Тем не менее, они немало способствуют моральному разложению правящей элиты. Право приобретать по искусственно заниженным ценам товары и услуги, недоступные остальным по любой цене, изолирует партийную верхушку от простых людей. Это придает элите высокомерие и своенравие, совершенно несовместимые с заверениями режима в верности идее равенства. Пользование такими правами равносильно проведению политики апартеида, которая не становится менее гнусной от того, что у жертв ее белый, а не черный цвет кожи.

Разоблачения бывших советских чиновников и юристов показывают, что в СССР человек, занимающий любой пост в партийном, государственном или экономическом аппарате, может вымогать деньги и услуги у людей, зависящих от его доброй воли, и для многих это становится главным стимулом добиваться той или иной должности. В силу этого обстоятельства каждый пост имеет свою цену, пропорциональную возможности обогатиться. В азиатских республиках Советского Союза существует регулярная система торговли должностями, принимающая форму закрытых аукционов.

Как и в царской России, чиновники, управляющие советскими провинциями, поднимаются над средним жизненным уровнем, соответствующим их жалованью, вымогая дань у подчиненных, которые, в свою очередь, получают мзду от рабочих, крестьян и прочих простых граждан. Кажется, практически любой официальный пост открывает определенные возможности для взяточничества. Поскольку опыт позволяет заранее подсчитать доход от той или иной должности, цена ее приблизительно известна, и, как только открывается вакансия, начинаются торги. Илья Земцов, некогда работавший социологом в ЦК КП Азербайджана, выделяющегося по размаху коррупции среди других республик Советского Союза, в своей книге «Партия или мафия?» приводит перечень цен (в рублях) на должности, продававшиеся в 1969-72 годах.

Министр торговли	250 000
Первый секретарь райкома партии	200 000
Ректор вуза	до 200 000
Министр коммунального хозяйства	150 000
Министр соцобеспечения	120 000
Второй секретарь райкома партии	100 000
Директор завода или фабрики	10 000 – 100 000
Председатель совхоза	80 000
Председатель колхоза	50 000
Начальник милиции	50 000
Академик	50 000
Районный прокурор	30 000
Директор оперного или драматического театра	10 000 – 30 000

Право распределять эти теплые местечки принадлежит «хозяевам», ведающим соответствующими номенклатурными списками. Им положено делиться барышами с коллегами, в том числе с высокопоставленными чиновниками в Москве, которые действуют в соответствии с их рекомендациями.

Разнообразие форм дохода, приносимого должностью в коммунистических странах, ограничивается только возможностями воображения. Например, высокая цена, которую в некоторых республиках приходится платить за назначение на пост ректора, объясняется тем, что в подведомственный ему институт можно поступить только за большую взятку. По оценке Земцова, в 1972 году в Азербайджане прием в медицинский институт стоил 30 тысяч, в университет – от 20 до 25 тысяч, в институт иностранных языков – 10 тысяч рублей. Посты в промышленности, разумеется, открывают особо широкие возможности для мздоимства, так как материалы всегда в дефиците и чиновники часто отпускают их только за взятки. Если взятку не предложат, материал всегда можно пустить на черный рынок. Секретари райкомов и другие партийные чиновники последнее время практически владеют вверенными им территориями и ведут себя на них как сатрапы. Подобно царским воеводам и губернаторам, они наживают на этих постах колоссальные состояния. Мелкая сошка повышает свой жизненный уровень, требуя обязательных поставок

продовольствия из подвластных колхозов или бесплатных личных услуг, например, по ремонту дома или автомобиля, от промышленных предприятий.

Гейдар Алиев, ныне член Политбюро, в 1970-х годах провел по поручению КГБ решительную кампанию против продажных чиновников Азербайджана. Из его интервью «Литературной газете» следует, что важным мотивом коррупции, наряду с элементарной жадностью, является чувство неуверенности. Размышляя о чиновниках, пытающихся сколотить некоторый капитал – Алиев называет это накопительством, – он сказал:

«...Меня тоже интересует психология накопителей. Порой можно услышать их откровенные ответы. Бывший председатель Шаумяновского райисполкома в Баку Ахмедов, уличенный в скупке золотых монет, так и сказал на заседании Бюро ЦК Компартии: «На черный день». Они начинают бояться своего «черного дня», как только занимают место, им не принадлежащее. Чувство неуверенности, нестабильности, неизбежного провала преследует этих несчастных постоянно. А если заглянуть в их прошлое, то мы натолкнемся, как правило, на то, о чем уже говорили: за взятку получено место студента в вузе, куплен диплом, диссертация, «доходное место» и т. п.»

Потрясает признание высших кругов в том, что в Советском Союзе можно купить место в вузе, университетский диплом и официальный пост. И хотя Азербайджан и соседняя Грузия особенно сильно поражены коррупцией, они отнюдь не уникальны в этом отношении.

Система распространена повсеместно и крепко связана круговой порукой. Невозможно иметь дело с отдельным чиновником, не привлекая к этому его начальников и подчиненных. Время от времени предпринимаются атаки на коррупцию по типу кампании, проведенной Алиевым в Азербайджане. По такому случаю снимают или перемещают многих чиновников (их редко судят) и провозглашают, что добродетель восторжествовала*. Затем пыль оседает и все возвращается к норме. По вполне понятным причинам, советское правительство не распространяется о размахе коррупции в

* Подобно видным чиновникам императорской России, члены партии стоят над законом в том смысле, что их нельзя судить, пока они занимают свои посты. Судебный процесс может начаться только после исключения из партии.

стране. Но к нам попали официальные данные из Польши, и нет никаких оснований подозревать, что в этой коммунистической стране дела с коррупцией обстоят хуже, чем в Советском Союзе. Под нажимом «Солидарности» правительство ПНР в 1981 году провело массовые аресты высших партийных и государственных деятелей, обвиненных в присвоении государственной собственности. Список арестованных, начинавшийся с главного сановника страны, первого секретаря ЦК партии Эдварда Герека, включал 18 бывших министров, 7 заместителей премьер-министра, 56 заместителей министров и 3,5 тысяч прочих. Тот факт, что никто из обвиняемых не был судим, а многие из их обвинителей попали в тюрьмы, показывает, насколько прочно связи коррупции объединяют номенклатуру и насколько трудноизлечима болезнь.

Коррупция, распространившаяся, подобно раковой опухоли, после смерти Сталина и особенно при Брежневе, оказывает губительное влияние на мораль коммунистических обществ. Правительство, претендующее на наследие Спарты, не может поддерживать дух аскетизма в народе, пока правящая элита купается в восточной роскоши. Основатель Спарты Ликург понимал этот простой факт и запретил гражданам своей страны – под страхом сурового наказания – копить деньги. Продажность системы существенно затрудняет массовую мобилизацию, которая составляет одну из сильных сторон коммунистического режима. Хотя большинство граждан коммунистических стран научились воспринимать коррупцию как неотъемлемую часть жизни, а в Советском Союзе, говорят, даже восхищаются наиболее бесстрашными взяточниками, это явление делает их глухими ко всяким призывам к общественной совести. Алиев, безусловно являющийся специалистом по данному вопросу, совершенно верно оценил парализующее действие такого положения вещей на советское общество:

«Но в обстановке злоупотребления служебным положением, коррупции, очковтирательства, в обстановке неуважения к честному труду не могла не снизиться инициатива масс, не могла не воцариться моральная тревога, сменившаяся затем во многих слоях населения состоянием подавленности, равнодушия».

В Польше разоблачения коррупции в партии вызвали всеобщее возмущение. Как сообщалось в правительственной

печати, опрос общественного мнения, проведенный в середине 1981 года, показал, что в ответ на вопрос, каким из четырнадцати организаций они больше всего доверяют, поляки поставили на первое место Церковь, на второе – «Солидарность», затем еще одиннадцать организаций, так что партия заняла последнее, четырнадцатое место.

Наиболее трагичный аспект этого явления заключается, по-видимому, в том, что почти все граждане коммунистических обществ оказываются втянутыми в преступный мир взяточничества и хищения государственной собственности. Система, по существу, вынуждает людей совершать преступления и, следовательно, жить в постоянном страхе перед разоблачением и наказанием. Анализ семейных бюджетов в СССР показывает, что средняя семья не может свести концы с концами на заработную плату, которая рассчитана на приобретение товаров и услуг по официальным ценам, а дефицит зачастую заставляет обращаться к «параллельной» экономике, где цены гораздо выше. Простые рабочие, крестьяне и служащие не имеют иного выхода, кроме как повышать свои доходы за счет незаконных поступлений. В книге «Продажное общество» Константин Симис, эмигрант с большим опытом юридической работы в Советском Союзе, на примерах из личной практики показывает всепроникающий мир коррупции со всеми его тесно связанными между собой ответвлениями. Так, он рассказывает, что руководитель завода или колхоза не имеет никаких шансов выполнить производственное задание и, следовательно, остаться в своем кресле, без подкупа работников министерств, распределяющих необходимые материалы и оборудование. В свою очередь, такой руководитель должен урезать заработки рабочих или крестьян, чтобы собрать деньги для взяток. Далее автор показывает, что советский гражданин, обвиняемый в обычном – то есть не политическом – преступлении, должен «подмазать» юристов, чтобы получить надежду на некое подобие справедливого суда. В начале 1960-х годов чистка, проведенная в системе судебных органов Москвы, привела к аресту – по обвинению во взяточничестве – трехсот следователей, прокуроров и судей. Что можно сказать о режиме, который вынуждает граждан в повседневной жизни давать и брать взятки и совершать другие незаконные поступки? Что можно сказать о режиме, при котором беззаконие является не отклонением от нормы, а движу-

щей силой общества? Имеют ли люди, создавшие такую систему, реальные шансы на мировую гегемонию?

Коммунистическая коррупция — прогрессирующая болезнь. По выражению К. Симиса, при Брежневе Советский Союз превратился в «страну продажных правителей, правящих продажным народом». Он полагает, что коррупция настолько глубоко въелась в советскую систему, что ее невозможно вытравить хотя бы по той простой причине, что серьезная чистка привела бы к развалу всего правящего аппарата, как это фактически и произошло в Польше, где армии пришлось отнять власть у дискредитированных партийных функционеров. Чтобы выкорчевать корни будущей коррупции, следовало бы дать больше узаконенных выходов частной инициативе и предпринимательству, а это невозможно сделать без коренной перестройки всей системы.

Парадоксально, что, пытаясь подавить личную заинтересованность и заставить каждого работать только на благо всех, коммунисты сумели лишь разрушить последние остатки общественной совести и развязать яростную погоню за личной выгодой. По-видимому, именно это имел в виду Гегель, когда говорил о Всемирном Духе, насмехающемся над суетой человеческих желаний и теми, кто тщится направлять его поступь.

ОТ РЕДАКЦИИ: К сожалению, даже в такой, казалось бы, далекой от его обычных исторических изысканий статье, как эта, автор не избежал легкого соблазна провести параллель между дореволюционной Россией и советским обществом. Очень характерно в этом плане его утверждение, будто «подобно видным чиновникам императорской России, члены партии стоят над законом в том смысле, что их нельзя судить, пока они занимают свои посты».

К сожалению, это явная передержка: любому первокурснику, изучающему в учебном заведении русскую историю, известно, что судебная реформа 1864 года уравнивала всех граждан Российской империи в их ответственности перед законом. Вспомним хотя бы знаменитую резолюцию Николая Второго на ходатайстве о снисхождении к убийцам Распутина: «В России никому не дано убивать без суда». Даже член царствующего Дома Великий князь Дмитрий Павлович в связи с этим

был выслан из пределов страны, а двух других участников преступления, светлейшего князя Юсупова и депутата Государственной думы Пуришкевича, спасла от судебного преследования лишь Февральская революция.

Его Превосходительству Монсеньёру
Генералу Ордена Иезуитов

Монсеньёр!

Я, русский церковный писатель в изгнании, Анатолий Левитин-Краснов, всегда с глубоким уважением относился к возглавляемому Вами Ордену, среди членов которого у меня много друзей.

Я, однако, никак не мог согласиться с недостойным заигрываниями некоторых членов Ордена с Московской Патриархией и стоящим за её спиной КГБ. Из этого не следует, что я против какого-либо общения с Патриархией. В частности, я всегда с симпатией (и, кажется, эта симпатия была взаимной) относился к покойному Митрополиту Никодиму.

Однако обязанностью христианина является прежде всего заступаться за гонимых христиан.

В связи с этим, имею честь довести до Вашего сведения мои обращения к Папе Римскому, Кардиналу Казаролли и к Вселенскому Патриарху с призывом к защите моего племянника отца Глеба Якунина и моих учеников: Владимира Пореша и Александра Огородникова, томящихся в советских застенках.

Надеюсь, что Ваш Орден также примет участие в этом святом деле.

В ожидании чего остаюсь Вашим, Монсеньёр, покорным слугой

Ан. Левитин (Краснов).

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Давид Т о л м а з и н

СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: ДЕГРАДАЦИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ СССР

Проблемы взаимодействия советской экономики со средой обычно остаются в тени других, более насущных проблем, таких, как усиление военного потенциала на фоне общей технологической отсталости СССР, подрывная деятельность и промышленный шпионаж в странах Запада, хронические неудачи сельского хозяйства и т. п. Лишь иногда на страницах западной печати выплескиваются сведения о локальных экологических катастрофах, таких, например, как прорыв дамбы, отгораживавшей пруд сточных вод поташных копей вблизи Дрогобыча (Львовская область). В результате этого волна плотной ропы устремилась вдоль русла реки Днестр, уничтожая всё живое на своем пути и прекратив подачу воды во многих городах, включая Одессу – город с миллионным населением.

Об аналогичной катастрофе 1961 г. в Киеве, когда в одном из его районов (Куреневка) произошел оползень, покрывший толстым слоем глины густонаселенную часть низины города (Подол) ранним утром и вызвавший многочисленные жертвы, на Запад проникли только слухи. Никогда, видимо, не станут достоверно известными размеры и ущерб крупномасштабного заражения в 1958 году вблизи г. Кыштыма (на юге Урала) и других локальных катастроф, вероятно, связанных с людскими и конструктивными ошибками.

Систематические загрязнения и общая деградация среды в СССР вообще ускользают от внимания западной общественности. За годы советской власти исчезли лесные массивы огромных районов на Украине и в России, почва в прошлом плодородных районов истощена, открытые разработки угля и руды (Курская область, Урал, Кузбасс и др.) обезобразили когда-то прекрасные ландшафты, воздух всех промышленных

районов (Криворожье, Донбасс, Запорожье, Магнитогорск, Кузбасс и др.) загрязнен газами, кислотами и пылью выше всяких допустимых норм, многие мелкие реки Украины и Северного Кавказа и др. районов превратились в сточные канавы, несущие разноцветную зловонную жижу, а другие попросту усохли или засолились, большие площади плодородных земель затоплены водохранилищами и прудами сточных вод, а иные земли безнадежно засолены, в прошлом необычайно продуктивные устьевые районы южных рек более не обеспечивают размножение и выживание наиболее деликатесных рыб, крупные и мелкие озера загрязнены, внутренние моря – Каспийское и Азовское – усыхают катастрофически быстро. Лишь ценой многомиллионных затрат удалось спасти бесценные пляжи на Кавказе и предотвратить оползни береговых террас на Черном море – процесс, разрушающий Одессу.

Локальные и крупномасштабные экологические катастрофы преследуют советскую экономику буквально на всех этапах ее развития. Что это – стечение трудно предсказуемых реакций природных комплексов, неизбежное следствие научно-технического прогресса или какая-то серия фатальных просчетов советских руководителей? На каждый из этих вопросов можно ответить утвердительно. Однако корни причин неумолимой деградации огромной страны непосредственно связаны с социально-политической структурой советского общества.

Западному обывателю просто не хватает эмоциональной энергии волноваться о природе под властью Советов. Здесь, на Западе, и своих экологических проблем предостаточно. Проблемы охраны природы стали неотъемлемым компонентом предвыборных кампаний президентов и членов парламента. Местные, национальные и международные группы и организации справедливо обеспокоены различными локальными и глобальными катастрофами, начиная с загрязнения малых озер и кончая планетарным «оранжерейным эффектом» и отступлением полярных ледяных «шапок». В последнее время в западной прессе всё скрупулезнее описывается страшная картина «ядерной зимы» и гибели всего живого после возможной войны с применением водородного оружия.

В то же время средства массовой информации СССР неустанно твердят, что в социалистическом отечестве экономика развивается в полной гармонии с природой. И если из-

редка промелькнут сообщения об экологических катастрофах в СССР, то они быстро тонут в трубных звуках советской пропаганды, в потоках книг и фотоальбомов, рисующих прелести девственной и тщательно оберегаемой природы страны победившего социализма.

На деле все обстоит совсем иначе, не так, как советские лидеры хотели бы представить внешнему миру. Мне, как бывшему участнику нескольких проектов использования водных ресурсов Украины и члену водных комиссий, известна обратная сторона медали. Цель этой статьи показать, что советская политическая система не имеет социально-экономических механизмов, способных предотвратить ущерб природе в результате неизбежного роста индустриальной мощи страны.

Пропаганда и реальность

Долгое время на Западе бытовало мнение, что нахождение всех средств производства в руках советского государства способно само по себе предотвратить деградацию природы в массовом масштабе. Это мнение широко поддерживалось советскими идеологами, утверждавшими, что современное рациональное использование и эксплуатация природных ресурсов могут быть достигнуты только в рамках социалистической (или коммунистической) модели общества. Поскольку все аспекты политической и экономической деятельности, включая природопользование, планируются советским руководством централизованно, неблагоприятные экологические последствия могут быть сведены к минимуму благодаря тщательно продуманному балансу между использованием и охраной природных ресурсов. Даже специальный научный термин был недавно введен – *равновесное природопользование*, чтобы описать полную гармонию социально-экономической структуры «развитого» социалистического общества и природы. И, с внешней стороны, усилия советского правительства исторически, казалось бы, подтверждают его утверждение о мудром, бережном обращении со средой обитания.

Гордостью советских идеологов является всестороннее законодательство, постоянно улучшаемое и дополняемое, в котором методы использования и охраны природы строго регламентированы, а обязанности всех отраслей экономики и

отдельных граждан по отношению к природе четко сформулированы. Разработаны и широко разрекламированы многолетние (20-30 лет) схемы многостороннего (комплексного) использования и охраны почвы, воды, воздуха, лесов и других природных ресурсов и отдельных природных объектов. В этих схемах охране и воспроизводству возобновимых ресурсов, включая полезные виды фауны и флоры, уделяется значительное внимание. Партия всячески поощряет широкое участие народных масс в экологическом движении с помощью сети общественных организаций типа «Общество охраны природы», «Зеленый патруль», «Юные натуралисты» и т. д. И хотя эти организации не имеют абсолютно никакого права голоса в принятии решений по использованию и охране природы, а лишь, в лучшем случае, преследуют образовательные цели, миллионы людей формально являются их членами и платят членские взносы.

Сравнивая социалистический и капиталистический пути взаимоотношений с природой, советские идеологи утверждают, что реальная угроза самому существованию человечества из-за негативных последствий в среде обитания в результате технологического прогресса исходит не от индустриализации современного общества как таковой, но вызвано классовыми противоречиями западного общества. Естественный вывод из этого утверждения – только социалистическая (коммунистическая) модель общества может предотвратить гибель человеческой расы.

Реальная история отношений советской экономики со средой, при более пристальном рассмотрении, ясно показывает, что коммунистическая (т. е. тоталитарная) модель общества оказывается ущербной, если не губительной, для природных ресурсов в целом, но наиболее четко это проявилось на примере управления водными ресурсами страны.

Когда «железный занавес» слегка приподнялся в конце 50-х, первые факты о деградации среды стали известны западным обозревателям. Очевидно, по недомыслию, советское руководство допустило публичное обсуждение проблем охраны природы, и в 1960-х годах советская пресса была буквально наводнена статьями о массовом загрязнении и о попрании элементарных норм использования природных объектов. С великим удивлением советские люди и весь мир узнали, что Байкал, самое большое озеро чистой воды на земле, должно

стать приемником отравленных стоков целлюлозных комбинатов. Другое чудо природы, озеро Севан, быстро теряет свою воду, спускаемую на турбины гидроэлектростанций. Исключительно продуктивная дельта Волги должна была погибнуть по вине гидростроителей. Такая же судьба была уготована Азовским и Черноморским устьевым районам (о размерах ущерба водным и рыбным ресурсам бассейна Черного моря я еще скажу ниже, так как с этой проблемой я знаком лучше, чем с другими).

Масштабы нарушения экологического равновесия и уровень загрязнений оказались так велики, что проблемы сохранения природы уже не могли рассматриваться как чисто внутреннее дело СССР. Угроза нарушения водного и газового баланса атмосферы и международных вод могла повлиять на климат всего Северного полушария. Западные обозреватели стали проявлять недюжинный интерес к этой необычной экологической дискуссии в СССР.

Волна критики в адрес руководителей советской экономики неожиданно упала в начале 70-х годов. Поначалу могло показаться, что такая резкая смена в общественном мнении связана с новыми тенденциями в природоохранной активности. И действительно, советские лидеры, видимо, проявили озабоченность делами в природе. Была введена сеть государственных водных, санитарных и рыбных инспекций по всей стране. Новые, более жесткие предельно допустимые концентрации (ПДК) были установлены для сточных вод и отработанных газов. Была введена система персональных штрафов для руководителей предприятий, нарушающих нормы ПДК. Госплан разработал новые методы оценки и одобрения проектов, связанных со средой. Возникли новые академические и отраслевые институты и лаборатории для разработки и внедрения научных методов охраны и использования природных ресурсов. Проблема охраны среды приобрела новый идеологический статус, став «пятой сферой» народного хозяйства в дополнение к четырем, сформулированным еще К. Марксом (промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт). Примерно 33% валового дохода стало поступать в эту «пятую сферу» в виде массовых капиталовложений.

И всё же все эти меры уже не могли остановить неумолимой деградации окружающей среды. Загрязнение природы и

нарушение ландшафтов развивались намного быстрее, чем промышленная очистка и восстановление природных циклов, а неблагоприятные изменения в инфраструктуре (динамика качества водных артерий, воздушного бассейна, почвы и лесов) – так быстро, что разнообразные спасительные меры оказывались запоздалыми и малоэффективными. «В стране правят не законы, а люди» (выражение Джавахарлала Неру), люди же, т. е. руководители советских предприятий, всегда готовы нарушить законы об охране среды во имя того, чтобы любой ценой выполнить предписанные сверху плановые задания. Это приводит к полной дискоординации отдельных отраслей хозяйства, использующих среду, к ресурсным конфликтам, что еще более губительно действует на природные ресурсы страны, используемые для многих целей.

Полное прекращение публичных дебатов в СССР о взаимоотношениях экономики с природой никак не было связано со всплеском «экологической активности» правительства СССР в 70-х годах. Когда чистота коммунистических идеалов подвергается тени сомнения, советские лидеры немедленно используют привычный им инструмент насилия – подавление всякого критического или просто свободного мышления. Печально знаменитая советская цензура издала в 1970 году секретный циркуляр под симптоматичным, почти ироническим названием СОС (сохранение окружающей среды), запрещавший всякие публикации об отрицательных антропогенных последствиях на территории СССР и поощрявший публикации всяких сведений и слухов о подобных явлениях на Западе. Начиная с 1970 года, население СССР и общественность за рубежом остались в полном неведении о прогрессирующей деградации природы в СССР.

Покрывало «секретной картины» состояния окружающей среды в СССР было частично приподнято для Запада после опубликования книги Б. Комарова (B. Komarov. The destruction of nature in the Soviet Union. White Plains, N. Y. Sharpe, 1980, 150 pp. Русское изд.: «Посев», Франкфурт, 1979). В книге тщательно подобраны факты о вопиющем, варварском использовании ресурсов вод и суши для достижения сиюминутных (иногда сомнительных) целей, об ужасающем загрязнении воздуха, воды и почвы во многих индустриальных районах, о беззастенчивом уничтожении животного мира и растительного покрова. Книга также показала, что ожесточенные

дебаты среди специалистов никогда не умолкали, но достоинством публики становились только предложения и планы использования среды обитания, которые выдавались за решения «коллективного гения партии».

Мне, как бывшему члену Всесоюзной комиссии по охране природных вод СССР при АН СССР, также известна та самая изнанка парадного фасада природопользования, о которой писал Комаров. Многие районы Украины, Поволжья, Северного Кавказа и Казахстана приведены на грань водного голода, когда цивилизованное общество нормально развиваться не может. Богатейшие плодородные в прошлом земли заболачиваются, а иные гибнут от выхода к поверхности соленых вод древних морей. Из-за загрязнения поверхностных и подземных водных источников нарушены системы водоснабжения, наблюдались эпидемии холеры в устьевых районах Каспия и Черного моря (1970 год), наблюдаются массовые заморы рыб и нерыбных объектов промысла.

Как часто председатель нашей комиссии, член-корреспондент АН СССР Б. Ласкорин, на очередном собрании произносил ставшую привычной фразу: «Присутствующих просят отложить ручки и не делать записей во время следующего доклада». И минуты спустя усталая дама из Всесоюзного института санитарии и гигиены рассказывала притихшей в ужасе аудитории о связи концентраций ДДТ и других вредных веществ в грудном молоке матерей Северного Кавказа и Украины с составом остатков удобрений полей, и кривые на ее графиках угрожающе ползли вверх. В другой раз элегантный ученый из Киева говорил о радиоактивном заражении рек и водохранилищ Украины. Были доклады о локальных отравлениях вод озер, рек, подземных источников и т. д. Никто и не упоминал об опубликованных ПДК, они были многократно превышены. А наши ручки не могли даже записать сказанное. К сожалению, память моя не удержала всех имен докладчиков, а программы встреч только вывешивались на доске объявлений.

Полное неведение жителей СССР о состоянии среды, в которой они живут, усугублялось массовой пропагандой экономико-экологической гармонии при социализме. Для чего понадобилась эта комбинация пропаганды и секретности, которая, кстати, наносит огромный ущерб ввиду утайки ин-

формации даже от участников производственного процесса страны?

Ясный и недвусмысленный ответ на этот вопрос дал один видный киевский экономист в одной из «закрытых лекций» для административного аппарата АН УССР в 1974 году. Он пояснил, что сейчас экологическая проблема – один из многих фронтов идеологической борьбы с Западом за души людей. Социалистический образ жизни надо сделать максимально привлекательным, и поэтому сведения о пагубных последствиях в природе СССР не должны стать достоянием гласности. Экологические группы на Западе приобретают все большее влияние в борьбе с крупными корпорациями за чистоту среды. Проблемы охраны природы становятся неотъемлемой частью политических кампаний. Необходимо, сказал киевский оратор, дать оппозиционным группам дополнительный козырь в их борьбе с крупным капиталом: коммунистическая модель общества, в которой нет частнособственнических интересов, способна обеспечить непрерывный технический прогресс и сохранить природу для грядущих поколений. И следует признать, что многие группы в Западной Европе, не без прямой поддержки Москвы, пускают этот козырь в ход.

И все же деградация природы в СССР достигла таких пропорций, что утаить свои экологические недуги кремлевские лидеры уже не могут. В особенности это заметно в области использования водных ресурсов. Проблема снабжения водой городов, сельского хозяйства и промышленности стала настолько острой, что потребовалась коренная перестройка всей гидрографической сети огромной страны. Эта проблема не могла быть решена методами «кувалды и лопаты», массовой мобилизацией людей с помощью повальных арестов, «принудительно-добровольной» отсылкой комсомольцев, солдат, отслуживших в армии, и т. п. методами. Потребовались научно-обоснованные методы тонкой регулировки всех звеньев экономического механизма страны, предсказания поведения сложных природных систем с помощью моделирования явлений и использования эффективных компьютеров, разработка методов управления и маневрирования быстро истощающимися энергетическими ресурсами и ресурсами рабочей силы. Ушло время чисто волевых решений безграмотной и безжалостной партийной верхушки, коль скоро она хочет сохранить свою власть и влияние. Все чаще и чаще к

принятию ключевых решений привлекаются ученые и инженеры, что неизбежно связано с некоторой свободой дискуссий и даже с необходимостью привлекать западный опыт. И вновь слегка приоткрылось глухо задраенное окно в сферу проблем использования водных ресурсов.

Внимательные западные обозреватели с интересом следили за лихорадочными усилиями советского руководства по подъему хронически больного сельского хозяйства. Ни химизация обрабатываемых площадей, ни освоение целинных земель, ни осушение заболоченных почв нечерноземной полосы, ни даже интенсивная мелиорация южных районов не могли сделать урожаи настолько устойчивыми, чтобы освободить советских лидеров от унижительных покупок зерна на Западе. Пресная вода в теплых районах, теперь уже безнадежно загрязненная и все истощающаяся, должна была стать ключом к сельскохозяйственному успеху.

И тогда советское руководство в 1978 году приняло решение перебросить воды северных рек: Северной Двины, Печоры и Оби – на южный склон страны и таким образом создать изобилие воды в районах теплого климата, запустить огромные земельные массивы в сельскохозяйственное производство с помощью орошения и пополнить усыхающие Каспийское и Азовское моря водой.

Ввиду огромных затрат и крупномасштабной перестройки значительных природных комплексов, на обоснование этой программы были отведены огромные средства и привлечены многие ученые разных специальностей.

И опять на страницах печати (в основном, в сугубо научных журналах) появились осторожные оппозиционные мнения об опасных последствиях затопления северных земель водохранилищами, о заболачивании огромных лесных массивов из-за ослабления дренажа с площадей водосбора, об изменениях климата Севера, о неизбежной гибели уникальных памятников страны. До последнего времени вся эта дискуссия была известна на Западе в общих чертах. Лишь недавно («Грани» № 133, 1984) на Запад проникли исключительно ценные материалы, аргументированно доказывающие, что переброска речного стока с севера на юг может привести к поистине катастрофическим последствиям в среде, экономике и культуре Севера и вряд ли окажется существенно полезной Югу. Но об этом стоит поговорить отдельно ниже.

Сейчас же важно подчеркнуть следующее: как бы ни всеобъемлющ казался проект переброски речных вод на юг, он не может решить проблемы водного голода Украины и Северного Кавказа – двух традиционно наиболее развитых индустриально-аграрных районов, где проживает 28% населения СССР. Лишь малая доля северной воды может достичь этих районов в отдаленном будущем. Использовать воды реки Невы, Ладожского озера и Северной Двины для питания бассейна Днепра крайне нерентабельно. Поэтому необходимо еще более жесткое регулирование воды, полное прекращение стока рек Днепра, Днестра и Дона путем глухого перекрытия эстуариев этих рек и Азовского моря. Единственным «внешним» источником истощающихся водных ресурсов Украины остается река Дунай. Проект переброски вод Дуная на север уже осуществляется, но и он не лишен серьезных проблем, обсуждение которых завело бы нас очень далеко.

Концепция разрушения природы

Упомянутая выше диспропорция между динамикой промышленного роста и «отсталостью» природных инфраструктур не является первопричиной деградации водных объектов. Советские идеологи ссылаются на географическую неравномерность в распределении пресной воды как на главную причину водных проблем. Украина, Молдавия и Северный Кавказ располагают только 10-11% водных ресурсов страны и подвержены засухам, что считается главными сдерживающими факторами в экономическом развитии этих районов. Однако и до Октябрьского переворота водные проблемы были теми же – тем не менее, Украина и Северный Кавказ были обильной житницей России и всей Западной Европы. До Первой мировой войны Россия была главным экспортером хлеба – 33% всего мирового экспорта. Первоисточники нынешних проблем возникли с приходом власти большевиков.

Советское руководство всегда рассматривало любые меры по защите среды как ненужную нагрузку на экономику. В первые десятилетия советской эпохи национальная экономика лежала в руинах, и ни о каком сколько-нибудь рациональном использовании природных ресурсов никто и не помышлял. Экономического успеха надо было достичь любой

ценой, любыми жертвами, и среди политических лозунгов тех лет одним из главных был: «Обуздать стихию». Очень быстро крупномасштабные преобразования ландшафтов (сведение лесных массивов, загрязнение почвы отвалами рудников и шахт, истощение почвы, затопление долин рек водохранилищами, загрязнение почвы и воздуха) стали очевидным побочным эффектом программ индустриализации. Тогда партия провозглашала, что перестройка природных комплексов демонстрирует мощь первого в мире социалистического государства перед силами «дикой» природы, которая трансформируется во славу «светлого будущего».

Политический аспект в освоении природы не случайно стал доминирующим в экономическом планировании. Это позволило подвести «концептуальную» базу для сосредоточения на узком фронте работ сотен тысяч, а потом и миллионов политических заключенных, которые обречены были погибнуть на тяжелых работах по преобразованию природы. Разве не Сталин и тогдашний шеф ОГПУ Ягода были инициаторами чисто политического решения построить в начале 1930-х годов, в пору жесточайшего голода и разрухи, Беломорско-Балтийский канал? Его огромные 15 плотин, 49 дамб, 19 шлюзов и других сооружений построены голыми руками в вечной мерзлоте из бетона, тщательно замешанного на крови и костях более чем 200 000 крестьянских парней (так называемых кулаков) с Северного Кавказа, Украины, Поволжья и других мест. Теперь этот абсолютно бессмысленный и вредный для природы 227-километровый водный путь лежит под толстым слоем льда и снега около 7-8 месяцев в году.

Две другие подобные «гигантские стройки коммунизма»: канал Москва – Волга и Волго-Донской канал имени Ленина – бессмысленно расточают водные ресурсы, исключительно дороги в эксплуатации и играют минимальную роль в общем товаро-пассажирском обороте страны (на реках перевозится только 3,5% всех грузов). Некоторое оправдание каналу Москва – Волга теперь находят в том, что он служит источником воды для многомиллионного метрополиса вокруг Москвы. Однако специалисты считают, что такого же эффекта можно было достичь менее ущербной для природы системой трубопроводов. Параллельно Волго-Донскому каналу уже строится другой, на этот раз оросительный канал, который будет перебрасывать воду из Волги в Дон, чтобы

как-то восполнить потери от первого («Известия», 22 июня 1984).

Вплоть до 1950 года во взаимоотношениях со средой партия руководствовалась лозунгом, сформулированным любителем-селекционером И. В. Мичуриным: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Этот поистине изуверский по отношению к природе призыв еще не так давно алевший аршинными буквами на фасадах домов и вдоль дорог, служил руководством к действию и нанес непоправимый урон природным системам.

Водные ресурсы пострадали более других в результате последовательного проведения обширной программы гидро-энергетического строительства. Эта программа исходила из двух принятых в СССР концепций природопользования.

Одна из них трактует ряд природных ресурсов и благ (солнечное излучение, внутреннее тепло земли, осадки, энергию ветра и воды, воды океанов и морей) как неисчерпаемые. На фоне малоиспользуемых ресурсов солнечного тепла, ветра и движений в морях – только гидравлическую энергию рек можно использовать экономически продуктивно. Но для этого сам ресурс, точнее морфология дренирующей сети, меняется настолько, что потери вод и других природных ресурсов, связанных с водой, становятся неизбежными. Инициаторы гидро-энергетической программы в 1930-40-х годах не только не имели никакого опыта в тех грандиозных преобразованиях, которые они начали, но даже не сделали (да и не могли сделать в условиях навалы метода «Даешь гидроэнергию») сколько-нибудь надежного водного баланса преобразуемых территорий. Концепция неистощимости водных ресурсов крупных рек выглядела очень привлекательной для сталинских руководителей и на долгое время стала непререкаемой догмой.

Другая концепция – концепция ведущей отрасли хозяйства – остается в силе и поныне. Считается, что каждый возобновимый или невозобновимый ресурс удастся эксплуатировать комплексно, если имеется «ведущий потребитель» этого ресурса, который учитывает нужды других потребителей. Например, министерство сельского хозяйства СССР является «хозяином» земель, растительности (кроме леса) и животного мира страны, лесные богатства «закреплены» за государственным комитетом СССР по лесному хозяйству, а министерству

рыбного хозяйства СССР поручено осуществлять полный контроль над охраной и воспроизводством запасов рыбы и охрану континентального шельфа морей.

Водным ресурсам страны «не повезло»: у них было два хозяина. Начиная с 20-х годов ведущим водопользователем стала гидроэнергетика. В основе управления водными ресурсами СССР лежал принцип, призывающий к максимально возможному удержанию пресной воды в пределах суши. Основным «инструментом» этой политики стали водохранилища на реках.

Долгое время казалось, что эти огромные озера будут способствовать длительному всестороннему прогрессу. Прежде всего, они должны были обеспечить дешевую и чистую энергию с помощью гигантских гидроэлектростанций (ГЭС). Кроме того, они несомненно улучшали условия судоходства на реках, обеспечивая устойчивые глубины. Они же, планировалось, послужат надежным резервуаром для ирригации сельскохозяйственных угодий, водоснабжения городов и промышленных предприятий. Некоторые водохранилища, допускалось, могут переработать стоки от близлежащих населенных пунктов и индустрии. И, наконец, искусственные моря, по замыслу их создателей, могут быть использованы в качестве бассейнов контролируемого рыбоводства и мест отдыха трудящихся.

С политической точки зрения, гидротехнические сооружения (водохранилища, ГЭС, плотины и каналы) идеально соответствовали целям сталинских руководителей. Эти объекты, во-первых, позволяли сконцентрировать и легко контролировать огромные массы заключенных для решения четко обозначенных целей; во-вторых, этот подневольный труд использовался для создания чего-то грандиозного, символизирующего могущество советской власти в трансформации энергии «впустую» текущей воды в электрическую.

Фактически полновластным «хозяином рек» стал институт «Гидропроект» имени Жука, долгое время формально (!) подчиненный ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ. Кто же еще, как не тайная полиция СССР, мог поставлять рабскую силу для грандиозных строек, где ручной труд преобладал! Следуя гидроэнергетической политике, «Гидропроект» перекрыл большие и малые реки сотнями плотин и водохранилищ. Суммарная площадь зеркала водохранилищ достигла 122 000 км² в 1970-х

годах и стала соизмерной с площадью естественных озер (490 000 км²). Реки, впадающие во внутренние моря: Днепр, Днестр, Дон, Кубань, Волга и их притоки – оказались полностью зарегулированными.

Ни одна страна в мире не решилась провести столь существенную перестройку своей дренажной сети. Вспухшие ленты рек на географических картах красноречиво свидетельствуют о глубоком, необратимом тромбозе водных артерий страны.

Травмы, нанесенные рекам, пагубно отразились на всей системе водных ресурсов страны и привели к тяжким экономическим последствиям. Реки, разделенные дамбами на участки, уже не могли существовать как единые экосистемы. Резко ослабели потоки наносов, растворенных газов, питательных веществ и миграции рыб. Берега вновь созданных морей быстро отступали под ударами волн, и ложа рек и водохранилищ стали заливаться. Медленные движения вод способствовали цветению и заморам, и многие водохранилища в летнее время начали испускать зловоние гниющих водорослей. Условия размножения и нагула речных рыб резко ухудшились, и многие реки стали терять свои генетические фонды.

Потери пресной воды резко возросли, в основном из-за испарения и ухудшившейся дренажной способности водосбора. Изменились (часто к худшему) локальные климатические условия. О губительном влиянии сокращения стока на устьевые области и южные моря в целом лучше рассказать отдельно чуть позже.

Экономические последствия речного гидростроительства оказались весьма плачевными. Одновременно с заполнением главных водохранилищ структура производительных сил должна была перестроиться. Огромные пресные моря на реках создали иллюзию изобилия воды. Многочисленные предприятия с высокой степенью водопотребления возникли в засушливых районах. Водный фактор практически перестали учитывать при размещении производительных сил, воду стали растаскивать каналами на огромные расстояния. Часть воды возвращалась в реки и подземные бассейны в виде сильно загрязненных стоков, что существенно снизило качество вод медленно текущих рек.

Состояние водных ресурсов еще более ухудшилось в результате малозаметных и непредусмотренных планами

изменений в использовании воды на локальных уровнях. Многие небольшие города и деревни издавна успешно пользовались местными подземными источниками чистой воды, и небольшие отъемы воды для коммунальных нужд не нарушали водного баланса глубинных горизонтов. С развитием промышленности потребовалось создание централизованного водоснабжения районных центров. Более того, местные власти способствовали развитию предприятий, которые могли бы иметь достаточно средств для создания бытовых водопроводов. Повсеместно возникал порочный круг: включение предприятия в местный источник воды очень быстро истощало и загрязняло сам источник. Все это явилось следствием плохой геологической разведки и картирования водоносных грунтов; отсутствия какой-либо защиты в лице общественного мнения; путаницы и неразберихи в выдаче разрешений на использование подземных водоемов; чисто волевых решений местных безграмотных партийных боссов. В результате, многие города Украины, а позднее Крыма и Северного Кавказа должны были срочно перейти с подземного на поверхностное водное питание. Это означало еще большее регулирование мелких рек или использование вод оросительных каналов и существующих водохранилищ, а также более дорогие очистительные сооружения с возросшими энергетическими затратами.

Конфликты между водопотребителями и водоиспользователями особенно обострились в 60-х годах, когда водный баланс в бассейнах южных рек был уже весьма напряженным, а качество воды резко ухудшилось.

В 1960-х годах сельское хозяйство стало первостепенной проблемой партийного руководства. Рост урожайности полей не мыслился без быстрого развития поливного земледелия, особенно в засушливых южных районах страны, и министерство мелиорации и водного хозяйства СССР и аналогичные министерства союзных республик были сделаны ведущими водопользователями.

Введение в строй крупных ирригационных каналов на Украине, Поволжье, Северном Кавказе и Средней Азии еще больше истощило водные источники. Некоторым районам (Херсонские степи, Донбасс, Северо-Западное Причерноморье, отдельные районы Казахстана и др.) стал угрожать настоящий водный голод. Очень мало воды осталось в южных

реках для выработки гидравлической энергии, т. е. для того, во имя чего вся гидроэнергетическая программа и осуществлена. ГЭС, построенные в нижних течениях рек, перестали быть рентабельными, а Цимлянская ГЭС на Дону дважды закрывалась на все лето в засушливые 1972 и 1974 годы – выработка гидроэнергии и судоходство по Дону и Волго-Донскому каналу им. В. И. Ленина прекращались, чтобы хоть как-то обеспечить промышленность, население, пашни и пастбища водой.

Сооружение ГЭС и судовых ходов осуществлялось в расчете на экстраординарные ситуации, т. е. фундаментально, на века, поэтому они быстро стареют «морально». Габариты каналов не удовлетворяют требованиям современного судоходства, турбины становятся неэффективными на фоне быстрого развития техники и телемеханики, а любая модернизация оказывается невероятно дорогой. ГЭС на равнинных реках и особенно в устьевых районах совершенно себя не оправдали, а если учесть ежегодные потери воды на испарение и фильтрацию и гибель плодороднейших земель в результате затопления, то всю гидроэнергетическую программу следует признать губительной.

Деградация устьевых районов южных морей

Гидроэнергетическое строительство на крупных реках южного склона Европейской территории Союза (ЕТС) было, в основном, завершено к 1963 году. Шесть водохранилищ на Днепре (общий объем $43,7 \text{ км}^3$), 12 водохранилищ на Волге и ее притоках (с общим объемом $98,6 \text{ км}^3$), озера на Дону ($23,9 \text{ км}^3$), Кубани ($5,6 \text{ км}^3$) и Днестре ($4,1 \text{ км}^3$), образовали огромный резерв «мертвой» воды на суше. Это не замедлило отрицательно сказаться на низовьях рек, эстуариях и морях – Черном, Азовском и Каспийском (Аральское море усыхает со скоростью $0,7 - 0,9 \text{ м}$ в год и к 2000 году превратится в гниущее болото соленой воды).

Два с половиной десятилетия назад устьевые районы морей и шельфы Черного и Каспийского морей поддерживали очень продуктивную фауну. Удивительно гармонично работал природный механизм систем «реки – море» в течение многих веков. Весной, во время сильного паводка, реки выносили в эстуарии и прибрежную зону питательные вещества с водо-

сборных площадей, способствуя развитию растительного и животного планктона. Залитые на короткое весеннее время водой низины служили прекрасным местом нереста и нагула многих рыб. Пищевая цепь (питательные вещества – микробы – планктон – бентос – рыбы) функционировала таким образом, что за короткую весну минеральные и органические соединения усваивались как автохронными (местными), так и мигрирующими организмами. Шельфовая зона очищалась от избытков органического вещества и мертвого планктона с помощью моллюсков (мидии, устрицы и т. п.) и водорослей, образующих обширные колонии на дне. Северо-западный шельф Черного моря был также желанным местом откорма средиземноморских мигрантов, таких, как скумбрия, луфарь, хамса и т. д. Азовское море и Северный Каспий обладали уникальной биологической продуктивностью (на гектар), намного превышающей прославленные банки Атлантики и Северного моря.

Природная гармония Черного, Азовского и Каспийского морей была безвозвратно нарушена речным строительством и ирригацией. Приток свежей воды и питательных веществ в море уменьшился, паводок либо исчез вообще, либо растянулся во времени, уровень загрязнения прибрежной зоны и эстуариев отходами промышленности, удобрениями и органическими стоками резко возрос. В результате, рыбопродуктивность морей катастрофически упала.

Улов рыбы в в 1970-х годах в Азовском море сократился более чем в три раза по сравнению с 1930-ми годами, но печальнее всего было то, что качественный состав улова стал крайне неблагоприятным. Ранее ценные породы рыб (осетровые, судак, лещ, тарань, сельдь) составляли 70-80% запасов, теперь – только 7-8%. Основу современного азовского промысла (85%) составляют малоценные хамса, тюлька и бычок. На жаргоне рыбаков, Азовское море из «осетрового» превратилось в «хамсово-бычковое».

В Каспийском море урон был еще более сокрушительным. Улов осетровых упал с 1973 по 1978 г. с 662,7 тыс. т до 59,1 тыс. т, а улов сельди – с 329,5 тыс. т до 1600 тонн, главным образом в годы заполнения водохранилищ. Полагали, что резкое уменьшение биологической продуктивности Северного Каспия неразрывно связано с заметным сокращением площади моря. По мнению специалистов, при уровне моря минус

30-31 м (в Балтийской системе отчета) промышленное рыболовство придет к концу. К 1977 г. уровень оказался на отметке -29,0 – самой низкой за более чем 400 лет. Однако начиная с 1978 года уровень моря стал подниматься и в 1982 г. достиг отметки -28,0 м; тем не менее стадо каспийских рыб продолжало сокращаться. Только мальково-выростные хозяйства предотвращают полное исчезновение осетровых. Причину почти полной гибели проходных и полупроходных рыб видят в неблагоприятных для рыбного хозяйства изменениях режима стока и химического состава вод.

На фоне описанных катастроф полное исчезновение коммерческого промысла в Днепровском и Днестровском эстуариях уже не казалось столь драматическим. А ведь эти районы тоже когда-то славились своими рыбными богатствами.

На этом рыбные катастрофы в Черном море не кончились. Оказалось, что средиземноморские мигранты, которые частично питаются солоноватоводным планктоном, не смогли выжить в Черном море после завершения программы гидростроительства. Первой ушла в небытие гордость одесситов – черноморская скумбрия. Ее запас, примерно 50-100 тыс. т., исчез к 1967 г. и никогда с тех пор не восстанавливался. В то время специалисты склонны были считать это печальное событие результатом быстрого размножения хищников – пелагиды и луфаря. Высказывалось мнение, что место скумбрии в уловах займет другая ценная рыба – крупная ставрида, запас которой оценивался в 200 тыс. тонн. Однако и эта рыба быстро исчезла, а вслед за ней исчезли и пелагида, и луфарь... Многочисленные черноморские траулеры могли теперь ловить только такие малоценные породы рыб, как анчоус (хамса) и мелкая ставрида, и лишь временами шпрот.

Уже в 1960-х годах стало ясно, что в Черном, Азовском и Каспийском морях произошли крупномасштабные экологические катастрофы, не имеющие себе равных ни в одном бассейне Мирового Океана. Но пока ученые и ответственные лица размышляли о некоторых локальных и всеобъемлющих мероприятиях по сохранению рыбоактивности морей, другая экологическая катастрофа разразилась в наиболее продуктивных районах Северо-Западного шельфа, на этот раз связанная с донными организмами. В 1973-75 гг., в летнее время, придонные слои моря на большой акватории вблизи устьев рек Дуная, Днепра и Днестра лишились полностью или частично раство-

ренного кислорода. Это явление, известное в науке как гипоксия (или аноксия, если кислород исчезает полностью), повторялось в летнее время и в последние годы, хотя публикации на эту тему почти прекратились.

Явления гипоксии (аноксии) превращают богатые мидиевые и устричные банки в мертвые пустыни. Гниющие водоросли и остатки организмов отравляют воду надолго, а донные рыбы (бычки, глоссы и т. п.) устремляются к берегу, где они быстро гибнут в зоне прибоя, загрязняя пляжи. Воды Азовского моря тоже стали испытывать острый дефицит кислорода в придонных слоях, что еще более ухудшило условия обитания в этом мелком (средняя глубина – 10 м) бассейне.

Ежегодные потери рыбной промышленности в Черном и Азовском морях в пересчете на стоимость готовой продукции оцениваются в 1,5 млрд. рублей, в Каспии (по неполным данным) – около 0,8 миллиарда. Примерно 300-400 тысяч человек были заняты в прошлом промыслом, переработкой и продажей морских продуктов. Часть из них была срочно переброшена в предприятия океанского промысла, другие вынуждены были переквалифицироваться. Мелкие предприятия были закрыты или переоборудованы.

Экологический эффект от гидроэнергетических и ирригационных программ оказался многосторонним. Соленая вода стала проникать в виде клинов далеко вверх по течению главных рек, угрожая питьевым водозаборам Одессы, Херсона и Николаева. Ранее прибрежные воды, обогащенные тонкими взвесями, ослабляли разрушительный эффект волн на изумительно красивые косы, отделяющие лиманы и береговые мелководные лагуны от Черного моря. Теперь этот барьер перестал сдерживать натиск волн, и во многих местах пляжи были смыты. В ряде районов оползни береговых террас начали разрушать старинную часть города Одессы. Только дорогостоящая система дренажных труб и берегоукрепительные сооружения (молы и дамбы) смогли предотвратить гибель великолепных улиц и прибрежных парков Одессы.

Ослабление стока рек и высокий уровень загрязнений стали угрозой здоровью людей в прибрежных районах. В августе и сентябре 1970 года эпидемия холеры распространилась на северных берегах Черного и Азовского морей и в дельте Волги. Статистические данные не стали достоянием

гласности, но некоторая достоверная информация просочилась из местных госпиталей.

Около 530 человек в Одессе были заражены, и 13 из них умерли. Число погибших в Херсоне, Николаеве и Ростове-на-Дону неизвестно, но в каждом из этих районов около 200-300 человек заболели холерой. По слухам, население района Астрахани пострадало сильнее других. Панически настроенное население перестало потреблять фрукты и овощи, в которых видели источник заразы. Зато резко возросло потребление водки, которая, как считалось, является универсальным дезинфицирующим средством.

Эпидемия была остановлена в течение 2-3-х месяцев с помощью принудительной вакцинации, жесточайших ограничений в пассажирских перевозках и карантинных мер с привлечением войск южных гарнизонов. Причины этих эпидемий достоверно неизвестны. Активные бациллы холеры были обнаружены в морской воде, в мелководьях лагун, в тканях рыб и планктоне в прибрежной зоне моря и устьях рек, т. е. там, где проточность вод снизилась, а загрязнение возросло.

Чтобы сохранить эту статью в разумных пределах, я воздержусь от описания экологического эффекта в результате сооружения новых портов на Черном море (Ильичевск, Григорьевский, Днестровский), хотя эти сооружения серьезно повредили рыбным запасам и нарушили динамику вдалеббереговых наносов.

Дефицит воды нарастает из года в год. Сейчас с площади зеркала водохранилищ только в РСФСР испаряется количество воды, в два с лишним раза превышающее потребность в воде всех городов и поселков республики. Локальные меры по созданию замкнутых циклов на предприятиях, более эффективных ирригационных систем, рационализация воды на поливах, улучшение систем водоснабжения и водоотведения, образование сети водных и санитарных инспекций по контролю за качеством воды – все это только отдаляет неизбежную полную деградацию водных ресурсов. Даже при сниженных темпах роста экономики и лучшего использования водных объектов, текущий расход воды во всех звеньях советской экономики наиболее продуктивных районов (Украина, Поволжье, Северный Кавказ, Казахстан) превысит в 1990-х годах естественное пополнение пресных источников на 50-75 км³ в год.

На юге Украины и Северного Кавказа воднохозяйственный баланс стал очень напряженным. Здесь уже в самом ближайшем будущем все ресурсы поверхностных вод будут использованы без остатка. Продовольственная программа СССР предусматривает завершение строительства каналов Волга-Дон, Ростов-Краснодар и Дунай-Днепр до 1990 года. Эти межбассейновые переброски связаны с полным перекрытием устьев Днестровского и Днепровского лиманов путем низконапорных дамб. Позднее и Азовское море будет также изолировано дамбой в Керченском проливе, чтобы сохранить остатки пресной и солоноватоводной фауны и использовать воду из Дона и Кубани. Работы по переброске от 16 до 24 км³ в год дунайской воды в Днестр и Днепр уже начаты.

После завершения этой программы уровень Черного моря упадет на 8-10 см, что изменит характер водообмена со Средиземным морем через систему турецких проливов и будет иметь далеко идущие последствия. Черное море начнет осолоняться, изменится термическая и солевая структура вод, химизм и биология моря. Даже главные последствия этих изменений геологического масштаба пока трудно предсказать.

Советские политические лидеры ясно понимают серьезность проблемы водных ресурсов. Дальнейшее экономическое развитие и, главное, рост сельскохозяйственного производства зависят от способности советских руководителей распорядиться быстро истощающимися количественно и качественно запасами пресных вод и привлечь новые источники воды в экономически развитые районы Юга. Упомянутая выше межбассейновая переброска речного стока с северного склона на южный представляется едва ли не единственной спасительной мерой, которая может поднять урожайность полей путем орошения, оживить выработку гидравлической энергии на каскаде волжских ГЭС и стабилизировать уровень воды в Каспийском и Азовском морях.

Принесет ли жертва Севера пользу Югу?

Имея за плечами большой и весьма печальный опыт перебросок стока, советские лидеры отнеслись к новому беспрецедентному проекту перекройки природы со вполне понятной осторожностью. В решениях XXV и XXVI съездов партии и в

специальном решении ЦК КПСС и СМ СССР (1978) предусматривается только проведение всесторонних научных исследований и проектных проработок по проблеме переброски стока северных рек в Волгу и сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан. Однако водные проблемы становятся настолько серьезными, что Продовольственная программа СССР (1982) на период до 1990 года уже устанавливает срок (1990 год) осуществления строительства объектов первого этапа переброски европейских северных рек в бассейн Волги.

Более 150 научных и проектно-изыскательных учреждений были привлечены к этой программе. Предполагалось, что объединение крупных научных и инженерных кадров страны позволит не только разработать наименее ущербную для природы схему переброски, но и сравнить экономические выгоды самой переброски с альтернативными решениями снижения дефицита воды, а также определить негативные изменения в среде и пути их минимизации.

Основные варианты проекта были широко освещены в научной и периодической печати. Европейскую переброску предполагается провести в два этапа. Первая очередь переброски предусматривает сравнительно скромную перекачку ($5,8 \text{ км}^3/\text{год}$) вод рек Онеги и Северной Двины с помощью 9 низконапорных плотин через озеро Кубенское в Волгу. Эта часть программы не имеет самостоятельного значения из-за ничтожно малого объема перекачки по сравнению со средним многолетним стоком Волги ($250 \text{ км}^3/\text{год}$).

Второй этап переброски предусматривает подачу 40 км^3 в год из рек Печоры, Сухоны, Онеги и Северной Двины. Для этого предполагается построить 23 плотины высотой до 32 м и две дамбы на Белом море длиной 70 км.

Сибирская программа переброски стока, получившая кодовое название СИБАРАЛ, предусматривает создание 2500-километрового канала, соединяющего реки Обь и Иртыш с бассейном Аральского моря. На первой стадии $27,2 \text{ км}^3/\text{год}$ будет транспортироваться вдоль Тургайского понижения, что потребует экскавации около 6 миллиардов куб. км земли и укладки 15 миллионов куб. км бетона. На последующих стадиях объем переброски планируется довести до $60 \text{ км}^3/\text{год}$ (средний сток Оби и Иртыша $320 \text{ км}^3/\text{год}$). Несколько мощных насосных станций, каждая по 50 мегаватт мощности, будут установлены вдоль магистрального канала, чтобы поднять

воду на высоту 110 м и таким образом преодолеть Тургайский перевал.

Авторы проектов достаточно четко определили свои цели. В частности, европейская переброска позволит увеличить площадь орошаемых земель с 6,4 млн. га до 9,4 млн. га, выработать дополнительно примерно 160-180 млн. квт/ч электроэнергии на каскаде волжских ГЭС на каждый кубический км перебрасываемой воды, но, главное, стабилизировать уровень Каспийского моря, что позволит сохранить или увеличить запасы рыб и нормально эксплуатировать Каспийские порты.

СИБАРАЛ обещает быть еще более перспективным свершением. По проекту, около 58 млн. га ныне малоиспользуемых земель могут быть вовлечены в сферу земледелия. Разборка воды каналами и трубопроводами позволит продуктивно использовать запасы угля, алюминия, руды, газа и других полезных ископаемых. В перспективе, магистральный канал станет крупной судоходной рекой, пополняющей усыхающее Аральское море.

На технико-экономическое обоснование (ТЭО) главного канала СИБАРАЛ Госплан дал проектировщикам два года («Советская Россия», 28 августа 1984) с тем, чтобы строительство началось уже в 1986 г. и завершилось за 12 лет.

Несмотря на то, что никто категорически не возражал против проектов северной переброски, многие призывали к осторожности из-за возможных отрицательных явлений для природы. Один из критиков программы, академик И. П. Герасимов, указывал на необходимость тщательного прогноза изменений экосистем в зоне переброски, качества воды и ледовитости северных морей *до принятия решения* о блокировании рек и прокладки трасс каналов.

Все эти и другие критические высказывания, аргументы и контраргументы были известны западным обозревателям. Удивление вызывали смехотворно малые суммы ожидаемых капитальных затрат. 16 февраля 1984 года в интервью с видным знатоком советских межбассейновых перебросок, профессором Ф. Миклиным из Университета Западного Мичигана, один из руководителей проекта, член-корреспондент АН СССР Г. В. Воропаев, указал, что европейская переброска (без затрат на распределение воды на юге) обойдется в 2,6 млрд. рублей, а капиталовложения в магистральный канал СИБАРАЛ составят 13,8 млрд. рублей. Еще 18 млрд. потребу-

ется на ирригационные системы и распределительные каналы на пути СИБАРАЛа.

Ожидалось, что ТЭО европейской переброски позволит уточнить суммы затрат по стадиям проекта. Предполагалось также, что ТЭО даст экологическую и экономическую оценку не только межбассейновых перебросок, но и альтернативных вариантов ликвидации дефицита в бассейне Каспийского и Аральского морей. И некоторые альтернативные решения выглядели очень привлекательно. Агролесомелиорация, включающая увеличение лесистости, борьбу с эрозией, рационарование воды при поливах, реконструкцию оросительных систем, может дать экономию воды, близкую по величине к переброске. Создание замкнутых циклов и использование морских вод на промышленных предприятиях позволило бы освободить до 10-12% пресной воды, потребляемой для питьевых и сельскохозяйственных нужд. Наконец, одамбование мелководий водохранилищ и сужение русел рек позволит резко уменьшить испарение, увеличить проточность рек и повысить выработку гидравлической энергии, а также вернуть плодороднейшие, залитые водой земли в сферу земледелия. Это последнее мероприятие могло бы увеличить сток в дельты рек без дополнительных межбассейновых перебросок. Водность аральских рек можно повысить путем сработки части вековых запасов воды в ледниках Тянь-Шаня.

Когда ТЭО европейской переброски, состоящее из 140 томов и краткой (400 стр.) записки, было в 1983 г. завершено, специалистам стало ясно, что природе Русского Севера будет нанесен непоправимый урон. Попавшие чудом на Запад и опубликованные в «Гранях» «Материалы к проблеме переброски части стока северных рек на юг» представляют собой потрясающей силы решительный протест против новой перекройки природы.

Авторы этого документа: ученые, инженеры, писатели и художники – адресовали свой труд Центральному Комитету КПСС. Их вывод: реализация северной переброски угрожает превращением Европейского Севера, этого богатейшего природными ресурсами района, в заболоченную пустыню, а выгоды для Юга страны, по меньшей мере, весьма сомнительны.

Представленное на суд специалистов ТЭО оказалось обоснованием только технических возможностей осуществления

проекта переброски стока, и *никакие* альтернативные решения проблемы водного дефицита на Юге страны вообще рассмотрены не были. Здесь имеет смысл описать только главные опасности экологического и экономического порядка в результате осуществления проекта.

По проекту, 270 тыс. га наиболее обжитых и продуктивных в сельскохозяйственном отношении земель Европейского Севера будут затоплены. Подъем грунтовых вод вызовет подтопления, местами на десятки километров от трасс переброски, что приведет к гибели огромных лесных массивов. Замедление и без того медленного движения в реках и обилие органики на дне приведет к евтрофикации водоемов, распространению эпидемий и эпизоотий. Уменьшение стока в устьях рек Северной Двины и Печоры и создание водохранилища на месте Онежской губы резко снизит выживаемость стад проходных и полупроходных рыб в Белом, Баренцовом и Карском морях. В осенне-зимний период возрастет частота и продолжительность приливных вторжений соленых морских вод, что потребует переноса питьевых водозаборов г. Архангельска (около 500 тыс. жителей).

Экономический ущерб реализации переброски окажется весьма значительным. Хозяйство Коми АССР, базирующееся на производстве древесины, оленеводстве и сельском хозяйстве в бассейне рек, будет фактически свернуто. Вологодская область, где сельскохозяйственных земель в три раза больше, пострадает еще сильнее. Сотни тысяч людей будут переселены помимо их воли с затопляемых или подтопляемых территорий. Опасности полного или частичного затопления подвергнутся города Вологда, Белозерск, Кириллов, Каргополь, Великий Устюг, Кемь и другие.

По оценкам ТЭО, строительство только гидротехнических сооружений обойдется в более чем 10 млрд. руб., но по оценкам авторов «Материалов» – общая стоимость приблизится к 18 млрд. руб. А если добавить стоимость ирригационных сооружений и разводящих систем, то только капитальные затраты составят 22 млрд. рублей (!).

Реализация программы переброски будет иметь трагические последствия для выдающихся памятников русской старины, зодчества и археологии. Большинство из них расположено именно по берегам рек и озер, по ним в древности развивалась система расселения. Погибнет знаменитый архитектурно-при-

родный комплекс Соловецких островов, материал которых пойдет на строительство дамбы. Угроза гибели нависла над грандиозными памятниками деревянной архитектуры Кижей, над Кирилло-Белозерским монастырем, богатейшей в Европе галерей петроглифов, над фресками великого Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Более 1000 богатейших памятников архитектуры, историко-культурных и археологических объектов будут уничтожены либо затоплением, либо подтоплением. В ТЭО эта сторона проблемы даже не упоминается.

Авторы «Материалов», базируясь на фактах и расчетах, доказали, что проект переброски не выполнит тех задач, которые на него возлагались. Воды северных рек уже сейчас сильно загрязнены сбросами целлюлозно-бумажных комбинатов. Очистить дно будущих водохранилищ от растительности экономически бессмысленно. Около 0,8 млрд. куб. м торфяных залежей, что по теплотворной способности равно 100 млн. тонн сырой нефти стоимостью около 18 млрд. долларов, будет затоплено. Этот органический материал будет источником вторичного загрязнения, это потребует очистки перебрасываемых вод. Если учесть гибель 40 млн. куб. м лесосводки, энергетические расходы на создание инфраструктуры и эксплуатацию, то окажется, что при переброске воды для целей ирригации эксплуатационные расходы станут близкими к расходам на закупку зерна на Западе. Переброска воды в Волгу не предотвратит гибели рыбных запасов Каспийского моря, даже если уровень моря будет стабилизирован. Дело в том, что ущерб рыбным запасам Каспийского и Азовского морей вызван не столько падением уровня (в Азовском море уровень не падает, а в Каспийском море он стал подниматься в последние годы), сколько изменением режима весеннего паводка и загрязнениями, поступающими в дельту Волги, когда происходит спуск накопителей в верховьях реки. Увеличение площади орошаемых земель, сопровождаемое поступлением в реки больших доз удобрений и ядохимикатов, могут губительно подействовать на фауну всей системы «реки-море».

Здесь перечислены лишь главные возражения авторов «Материалов». Их вывод нелишне повторить дословно: осуществление проекта приведет «к разрушению экологических систем крупных подразделений биосферы нашего Севера и Юга, к падению эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство, уменьшению ресурсного потенциала, что

может поставить под удар выполнение Продовольственной программы СССР».

Примечательно, что одновременно с «Материалами» в Политбюро ЦК КПСС поступили два письма, одно из которых подписано одиннадцатью крупнейшими учеными-академиками, другое – восемью выдающимися художниками и скульпторами. Обе группы заявили решительный протест против осуществления проекта переброски в том виде, каким он представлен в ТЭО. Они указывают, что «едва ли мы имеем право идти на неоправданный риск, который может повернуться крупными ошибками и просчетами». Обе группы требуют не утверждать проект без проведения более детальных научно-исследовательских работ, чтобы предотвратить гибель природных ресурсов и памятников истории и культуры России.

Оба письма представляют собой отчаянную, но, по-видимому, безнадежную попытку русских патриотов голыми руками остановить Дамоклов меч, занесенный над природой огромной России. Работы первой очереди европейской переброски уже идут полным ходом. В качестве уступки критикам руководители стройки заверили всех, что они учтут главные замечания, так сказать, «на ходу».

Старшее поколение советских людей, наверное, помнит оптимистические заверения сталинских припевал 30-х годов, что вскоре красавцы-лайнеры будут горделиво плыть по рекам России от Москвы до северных и южных морей. Вместо лайнеров в 1950-70-х годах по рекам поплыли неисчислимые беды, реки превратились в стоячие пруды загнивающих вод. Исчезает фауна морей, Югу страны угрожает водный голод. Всех бед не перечесать. Советским руководителям стало не до лайнеров. Чтобы напоить страну водой, потребовалась грандиозная перестройка всей дренажной сети, последствия которой, как выяснилось, губительны для природы. И все равно, как и прежде, мы слышим хвастливые заявления, что «к концу столетия первые корабли поплывут вдоль голубой дороги СИБАРАЛ из Оби в Аму-Дарью» (Г. В. Воропаев).

Обсуждение: возможно ли сосуществование природы и советской системы?

Предыдущее описание изощренного прогрессирующего уничтожения природы в СССР может подвести читателя к мысли, что руководители советской экономики вполне сознательно пользуются в своей практике бытующими в народе поговорками: «Страна большая – не обеднеет» или «После нас – хоть потоп». Это неверно. Каждый советский руководитель, как бы он ни любил природу и понимал губительность своей деятельности, является рабом советской политической системы и, если хочет остаться на своем месте, вынужден следовать принятому на данный политический момент курсу в использовании природных ресурсов. В этом последнем разделе я попытаюсь показать, что ущербная для природы модель советского хозяйствования обусловлена идеологическими догмами советской системы и никакие организационные единицы СССР, включая ЦК КПСС, не в состоянии что-либо изменить в лучшую сторону.

На всех этапах взаимоотношений советской экономики со средой выявляется вполне определенный тренд в использовании наиболее важных для экономического развития возобновимых ресурсов системы «почва – подземные источники – реки – эстуарии – моря». Это массовая мобилизация мощных людских ресурсов и технологических средств для превращения сложных природных комплексов в полностью технически управляемые объекты индустриального типа, предельно минимизирующие участие людей в их управлении. Исключая ограниченные локальные меры, планы экономического развития СССР не содержат реабилитационных программ, которые позволили бы улучшить качество и количество вод крупных речных бассейнов и морей. Это потребовало бы изменения организационных структур, дифференцированного подхода к отдельным ландшафтным формам, координированной работе локальных экономических узлов и ослаблению централизованного контроля за всей системой в целом. И хотя многие понимают, что это единственный путь сохранить природные циклы дренирующей сети и сделать ее более экономически эффективной, все существующие перспективные программы связаны с еще более глубоким преобразованием речных систем. В недалеком будущем вся система черноморских

рек и эстуариев (Днестровский, Днепровский и Азовское море) превратится в бассейны с искусственно поддерживаемым гидрологическим и биологическим режимами и дозированной подпиткой из реки-донора Дуная.

Крупномасштабная переброска стока рек с северного склона страны на южный превратит бассейн Волги и создаваемый СИБАРАЛ в подобие технически контролируемых водораспределительных систем. В более отдаленной перспективе планируется создание Единой водохозяйственной системы Советского Союза (ЕВХСС) – стратегическая цель преобразования речных систем государства. Предполагается, что ЕВХСС будет выполнять административные функции, экономические и социальные функции, обеспечивая маневрирование водными ресурсами между отдельными регионами в зависимости от атмосферных условий года (сезона), выработку гидравлической энергии и водный транспорт. Однако, как мы знаем, даже первая очередь северной переброски приведет к катастрофическим последствиям на севере, а в дальнейшем, возможно, к глобальным нарушениям гидрологического цикла. Поэтому ЕВХСС очень напоминают бредовую идею Сталина сделать Москву портом пяти морей. И до сих пор страна не может оправиться от реализации этой идеи.

Современная экология (а советские ученые внесли немалый вклад в эту науку) показывает, что процессы в биосфере, гидросфере и атмосфере настолько интимно связаны, что, по сути, все три динамические оболочки составляют одну многокомпонентную систему. Попытка изолировать из этой системы один природный ресурс и управлять им технически неизбежно приводит к нарушениям всех звеньев и природных циклов окружающей среды. Вот почему в СССР система экономика–водные ресурсы работает как автоколебательный механизм с положительной обратной связью, в котором начальное «неверное» возмущение усиливается при прохождении через систему, пока на каком-то витке один из компонентов (экономика либо среда) разрушится.

На каждом этапе развития эти губительные сигналы посылаются внеэкономической политической машиной, которая движима надуманными догматами «научного коммунизма» и все более противоречит социально-экономической динамике современного общества, но тем не менее пытается управлять взаимоотношениями экономики и среды.

Использование рабского труда миллионов политзаключенных в сталинскую эпоху для грандиозного по масштабам тех лет гидротехнического строительства и для физического уничтожения самих заключенных было тем первым «неверным сигналом», который нанес неизлечимые травмы природным комплексам СССР, и привел ко многим неудачам в национальной экономике. Отвлекаясь от моральной стороны этого злодеяния, породившего, кстати, «загрязнения» социальной сферы в виде тотального страха и прекращения всякой, даже конструктивной, критики, покажем, что гидротехническая программа, которая продолжалась по инерции и в послесталинскую эпоху, была с самого начала обречена на провал по (А) экологическим и (В) экономическим причинам.

А. Слишком поздно советские плановики осознали, что, нарушив морфологические характеристики естественных контейнеров (русел и бассейнов рек) и накопив огромные запасы мертвой воды на суше, они тем самым ухудшили качество воды (ослабление течения, евтрофирование, испарение, просачивание, загрязнения и т. д.). Это в первую очередь относится к водохранилищам в среднем и нижнем течении равнинных рек (Днепр, Дон, Волга с притоками, Кубань и др.). Водохранилища у истоков рек, до их слияния с притоками и в горных ущельях не затапливают большие территории и оказывают минимальное влияние на дренажную способность водосбора. Удельные затраты земли (на 1 кВт мощности) возрастают многократно для ГЭС в нижних течениях равнинных рек. Так, например, мощная Нурекская ГЭС на реке Вахш в Таджикистане (2700 Мв) затапливает только 0,05 км² площади на 1 кВт мощности, тогда как для Каховского водохранилища (312 Мв) эта цифра возрастает до 7,0 км², а для Цимлянской ГЭС на Дону (165 Мв) – 16,4 км². Именно затопление огромных массивов и неизбежное изменение физико-химических и биологических условий водосбора привело к истощению и деградации водных ресурсов. Гидроэнергетическое строительство успешно развивается во многих странах (Канада, США, страны Западной Европы) с учетом региональных особенностей и планов экономического развития и потому без катастрофических последствий для среды обитания.

В. Потенциальные гидроресурсы рек составляют лишь небольшую долю в общем энергетическом балансе страны. Другие энергетические источники (нефть, уголь, атомная

энергия, приливы и др.) развиваются опережающими темпами, и ГЭСы становятся обузой для всестороннего экономического развития. Обладая зачинатели гидроэнергетической программы элементарным прогнозом динамики использования энергоресурсов, они бы поняли полную бессмысленность и порочность своей затеи.

На следующем «витке» развития, когда стало ясно, что пресные воды должны в первую очередь обеспечить хронически больное сельское хозяйство Советского Союза, еще была возможность провести реабилитационные программы для предотвращения опасных трендов в автоколебательном механизме экономика–водные ресурсы. Кое-какие шаги, как указывалось, были сделаны в этом направлении (контроль за качеством воды с помощью водных и санитарных инспекций, введение оборотных циклов в процессах, чреватых особо опасными загрязнениями, улучшение методов очистки и т. п.). Однако, концепция (догма) неисчерпаемости текущих вод, которая еще и поныне остается в силе в планах развития экономики СССР, допускала безудержное использование на орошение и обводнение земель. Возвратная вода была уже безнадежно загрязнена смывами с полей и остатками удобрений и ядохимикатами. Поверхностные воды стали нести «двойную» нагрузку: производство гидроэнергии и самоочищение от загрязнений, что затруднялось ослаблением дренажа и испарением. Количество и качество вод стало резко ухудшаться, что пагубно отразилось на экологии речных и эстуарных районов и создало конфликты между водопотребителями.

Концепция неисчерпаемости текущей воды в корне неправильна. В индустриальных странах пресная вода переходит из категории компонента природного ландшафта в категорию природного сырья, даже минерала, требующего затрат общественного труда и энергии на его охрану и воспроизводство. Современная технология и быт потребляют воду определенного качества, т. е. вода поступает в технологические процессы после специального обогащения (обработки) подобно тому, как это делается для других видов сырья (руда, уголь, нефть, лес и т. п.). Воды некоторых водоемов «обогащены» естественным путем, то есть вода в них обладает качествами, требуемыми для большинства биологических, производственных и социальных нужд человечества. Едва ли можно найти естественный ресурс, применение которого было бы более

разнообразным, более многоцелевым, более всеобщим, чем вода. Незаменимость этого сырья диктует необходимость максимально уменьшить его расход там, где, в принципе, вода может быть заменена другим ресурсом.

В мире накоплен огромный опыт селективного использования воды. По советским и американским стандартам, Израиль находится в климатической зоне с катастрофическим водным режимом. Малое количество осадков, их сезонная неравномерность, единственное пресное Тивериадское озеро, расположенное 230 м ниже уровня моря, малые водотоки не создали в стране водного голода и позволяют выращивать удивительные урожаи фруктов и овощей. Благодаря мудрому управлению, основанному на многолетнем опыте, и инженерным сооружениям с применением компьютерной техники, Израиль рационально утилизирует почти 95% имеющихся водных ресурсов. Подземные воды тщательно предохраняются от загрязнения и просачивания в море, облака высеваются иодистым серебром для увеличения осадков во время вегетации, система каналов, туннелей и колодцев распределяет воду согласно нуждам, сеть древних русел в пустыне Негев переоборудована в бетонированные кондуиты для транспортировки дождевой воды с гор на поля. Современная технология позволяет тонко учесть именно то количество воды, которое необходимо для данного продукта. Методы орошения и удобрения, контроль влаги с помощью пластиковых покрытий, направленные изменения в генетике растений – все служит сохранению воды.

В 1960-х годах внутренняя и международная обстановка выглядела для СССР очень благоприятной для резкого ускорения сельскохозяйственного производства путем интенсивного использования земли, воды и других природных ресурсов. Значительные средства были отпущены на исследования в области природопользования. Разработанные в то время в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, Институте кибернетики АН УССР в Киеве, Ростовском университете и других научных центрах экономико-экологические модели могли помочь плановикам и руководителям экономики эффективно и безущербно для природы организовать эксплуатацию отдельных регионов с применением компьютеров и новой техники. Растоптанная в 1950-х годах генетика испытала ренессанс. В стране возникли селекционно-генети-

ческие станции, экспериментальные участки, появилась современная поливная техника, всемерно пропагандировался опыт использования удобрений и влаги на полях и т. д. Потепление международного климата в связи с детантом способствовало обмену опытом и, главное, могло позволить советскому правительству освободить часть средств, идущих в военные программы, для развития производства пищи.

Всему этому не суждено было сбыться. Тоталитарная власть всегда стремится к усилению своего могущества. Воспользовавшись передышкой в гонке количества вооружений, советское политическое руководство начало интенсивное совершенствование наступательного оружия. Ни средств, ни времени не нашлось на модернизацию сельского хозяйства на основе достижений науки. Советские лидеры стали лихорадочно метаться от одной экстенсивной программы к другой. После очевидной неудачи с целинными землями и химизацией сельского хозяйства, была начата обширная программа орошения на юге страны, которая притормозилась в середине 1970-х годов, когда основные силы были брошены на мелиорацию нечерноземной полосы в центре России. Обе программы не дали существенного подъема в урожайности из-за серьезных лимитирующих факторов (дефицит воды и плохой контроль за загрязнением на Юге и недостаток солнечного тепла в центре России). Ввиду все обостряющегося дефицита пищи в стране и быстрой деградации пресных источников, советские лидеры пришли к решению осуществить пресловутую переброску стока с севера на юг, видя в ней единственное решение всех проблем. Однако, как было показано выше, новое начинание может оказаться катастрофическим для всех природных комплексов Европейской России.

Западные аналитики не находят объяснений непостижимой неэффективности советского правительства при принятии и реализации решений о крупномасштабных преобразованиях в природе, ни одно из которых не оказалось безущербным для среды и экономики. Проводится следующая параллель между западным и советским опытом вмешательства в природу. Недостаточная эффективность и инерционность государственной машины (капиталистической или социалистической), слабая информационная структура, жадность и расточительность могут допустить локальные нарушения в среде в любом обществе. В Америке примером тому могут

служить кислотные дожди, перегрузка опасными отходами мест свалок, понижение уровня вод в огромном подземном резервуаре Огаллала, загрязнения р. Гудзон и других рек РСВ, опустошение в 1980-81 гг. резервуаров воды, питающих Нью-Йорк, т. п. Однако любые предложения, связанные с существенной переделкой среды, никогда даже не принимаются Конгрессом США без очень тщательного научного прогноза и детального обсуждения всеми заинтересованными сторонами.

Казалось бы, в СССР, где нет частнособственнических групп и корпораций, сложных легальных проблем, где имеются передовые методы геологической разведки, блестящие экологические модели, огромный опыт межбассейновых перебросок стока и т. д., решения в области управления средой могут быть более эффективными и всесторонними, чем на Западе. Эти решения, казалось бы, мало связаны с идеологией, и политические лидеры могут всецело доверять верным системе ученым и полагаться на их прогноз.

Явное противоречие между этой очевидной логикой и процессом принятия решений в СССР заставляет ученых-советологов искать объяснение в наличии враждующих групп в ЦК КПСС или Политбюро («аграрная коалиция» против «энергетического лобби»), в скороспелом отбрасывании любого направления, если оно не оправдало себя немедленно на практике, в сознательной пассивной обструкции введению нового и смещение усилий и фондов в более очевидные мероприятия и т. п. Некоторые готовы видеть некую «советскую предрасположенность» к крупномасштабным проектам, восходящую к традициям царского времени.

Объяснение «иррациональности» советского правительства в принятии ключевых решений не может быть понято без глубокого знания природы советской системы. Начнем с того, что в стране «развитого» социализма мы сталкиваемся с удивительным парадоксом: «Все резервы – в действие». Из номера в номер газеты «Правды» переходит эта рубрика, под которой печатаются материалы об обнаруженных и запущенных в производство ресурсах. Даже беглый взгляд на эти материалы убеждает, что в стране нет свободных людских, земельных, пищевых, энергетических, валютных и прочих ресурсов. Они безжалостно сжираются военной машиной, идут на поддержание террористических групп в странах Запада и военные авантюры СССР и их сателлитов. Единственные еще свободные

резервы – это природные ресурсы, и под тем же лозунгом они ускоренно вовлекаются в процесс производства.

Отсутствие свободных ресурсов не дает стране возможности «остановиться и оглянуться», т. е. лидеры не могут себе позволить наладить современные методы управления средой: реакции среды замедлены, и попросту нет ни времени, ни ресурсов на экспериментирование. Советские лидеры предпочитают действовать «нажатием большого пальца», тогда как современное переплетение природных и хозяйственных механизмов требует «филигранной работы всех пальчиков руки» (выражение профессора из Гарвардского Университета Т. Гаставсона). Остается уточнить, что все «пальчики» страшной политической руки умеют только держать серп и молот, которыми они и пытаются решить все свои внутренние проблемы. Причем эти инструменты кромсания и вколачивания управляются одной рукой, тогда как другая...

«Пальчики» другой руки душат всякую критическую или просто свободную мысль. Ни одна крупная программа социально-экономического развития немыслима без самого широкого обсуждения и обмена опытом в международном масштабе. А этого советские лидеры допустить не могут, иначе все бессмысленные решения прошлого и настоящего станут объектом уничтожающей критики. Вот почему гораздо проще и менее хлопотно решать все проблемы в келейном кругу легко манипулируемых ученых. По этой же причине в стране нет ни одного университета или института, где бы молодые люди обучались той науке, которая на Западе преподается в десятках колледжей под названием Environmental Science. И впрямь, разве можно дать молодым умам знания, основанные на неверных концепциях и негативном опыте. По той же причине в стране отсутствует внеэкономический орган типа Агентства по Охране Среды (Environmental Protection Agency – EPA), решения которого были бы обязательны для всех участников производственного процесса и который мог бы следить за действенным выполнением законов по охране среды. Мы, американцы, вправе гордиться своим EPA, которое, несмотря на имевшие место злоупотребления с суперфондами, все же активно защищает среду от чрезмерно жадных корпораций и прогнозирует антропогенные изменения климата и другие явления.

Почти полное отсутствие свободных ресурсов в СССР, поголовная занятость людей подчас непродуктивным и бессмысленным трудом, подавление всякой критики – вот те главные барьеры, которые препятствуют внедрению научных методов прогноза и планирования экономики и природоохранной деятельности. В обозримом будущем не видно тех сил и механизмов, которые бы изменили эту ситуацию к лучшему.

Оглянем еще раз водные ресурсы страны, чтобы подчеркнуть их роль в социалистической экономике. Ценой невероятных людских жертв, уничтожением природных ресурсов и морали, Советский Союз в сравнительно короткий срок превратился во вторую по мощи индустриальную державу, которая успешно конкурирует с Западом в производстве продуктов тяжелой индустрии и военных арсеналов, держащих мир в постоянном страхе. Не совсем ясно, какая доля этого «прогресса» связана непосредственно с водными ресурсами. Разнообразные виды сырья, производственный опыт, передовая наука – вот критические элементы современного индустриального роста. Водные ресурсы исполняют важные, но вспомогательные функции в производстве и сфере услуг, обеспечивая транспортные пути, охлаждение, растворную среду, разбавление стоков, рассеивание отходов и т. п. Однако, лишь в одной отрасли экономики вода рассматривается как ключевой компонент успеха. Это – сельское хозяйство. Как раз в производстве пищи Советский Союз более чем скромнен.

Несмотря на огромные расходы порядка 600 миллиардов рублей в сельское хозяйство и связанные с ним программы в период брежневского руководства, крупнейшая страна «зрелого» социализма не может избавиться от унижения делать огромные регулярные закупки в капиталистических странах. Хроническая нехватка главных продуктов питания (мяса, яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов) ощущается повсеместно. Это надо прожить всю жизнь там, чтобы понять всю меру унижения и отчаяния людей, простаивающих до 15-20% дневного времени в длиннющих очередях за всем необходимым. Многие районы Центральной России, Европейского Севера и Сибири не снабжаются централизованно ничем, кроме водки, сигарет, хлеба, рыбных консервов и порошкового молока. Продовольственная ситуация в СССР ухудшилась в последние годы в связи с новым усилением гонки вооружений и военных авантюр.

Советские колхозники и сельскохозяйственные рабочие на практике доказали, что действительные причины советских неудач в производстве продуктов питания лишь незначительно связаны с водными проблемами, описанными выше, и плохими погодными условиями (советские лидеры предпочитают называть эту причину главной при объяснении хронически плохого снабжения населения пищевыми продуктами). В частном владении находится только 3% пригодной к обработке земли, но на этой земле производится 30-50% общего производства молочных продуктов, 30-40% мяса и птицы, более чем 50% фруктов и овощей, и 60-75% картофеля в стране. Конечно, как производители, так и власти «объединяют» свои усилия в сокрытии размеров этой экономической активности, отсюда и большой размах в цифрах. Многие районы просто бы вымерли, если бы не эти клочки земли. Русские и украинские мужики сделали эту почву если не самой плодоносящей в мире, по крайней мере близкой по продуктивности к той, что обрабатывается в израильских киббуцах. И этот трудовой подвиг (именно здесь очень подходит это приевшееся советское словосочетание) достигнут без изощренной техники и оросительных систем. Не требуется большого размышления для понимания того, что постоянная неспособность советской экономики накормить своих же людей мало связана с нехваткой воды*.

Главная причина полупаралича сельского хозяйства СССР заключается в том, что 42 миллиона людей, занятых в сельском хозяйстве (27 миллионов постоянных и 15 миллионов принудительно посылаемых в колхозы и совхозы в сезоны сбора урожая из промышленных, проектных, учебных и академических учреждений), не заинтересованы работать эффективно. Если бы советское политическое руководство сумело разработать экономические механизмы и стимулы для материальной заинтересованности землепашцев в результатах своего труда, имеющих водных запасов вполне бы хватило для много более обильных урожаев, чем теперь. Но для этого

* Многие западные аналитики считают воду необходимым, но отнюдь не решающим фактором успеха сельскохозяйственного производства. Устойчивые урожаи могут быть достигнуты эффективным администрированием, современными агрономическими методами и передовой техникой.

советские лидеры должны хотя бы немного раздвинуть тиски главной марксистской догмы о преимуществе социалистического («общественного») способа производства над частнособственническим.

Недавно на Западе стало известно предложение группы видных советских экономистов, доказывающих несомненные выгоды от передачи ряда услуг и мелкого производства в частные руки, на основе опыта стран Восточной Европы (Венгрии, Чехословакии, Югославии). В меморандуме указывается, что и при существующей ситуации ряд услуг (ремонт бытовых приборов, перепродажа продуктов сельского хозяйства, использование предприятий общественного питания, эксплуатация приусадебных участков и т. д.) выполняются нелегально или полулегально частными лицами, что приводит к коррупции всей системы распределения и услуг. Но партийная верхушка осталась глухой к этим осторожным, разумным призывам.

Советское политическое руководство безжалостно сжимает пружины естественных механизмов среды до такой степени, что ответный отрицательный эффект становится неизбежным. Используя свою страшную силу принуждения, советские лидеры могут заставить свой народ жить в загрязненной и даже отравленной среде, затянув пояс потуже, ввиду постоянной нехватки пищи. Лидеры могут без сожаления задушить любую разумную и даже конструктивную критику и возгласы несогласия. Но они не могут лишить свою экономику воды... воды надлежащего качества.

Западная общественность и государственные деятели не осознают, что советская экономическая машина работает на износ, и что осталось, может быть, 10-15 лет для разрешения главной внутренней проблемы страны: коренной перестройки всей гидрофизической сети огромной страны – программы, которая отвлечет имеющиеся ресурсы и рабочую силу от военных программ. В противном случае советские лидеры будут вынуждены существенно снизить темпы экономического роста, что приведет советскую систему на край катастрофы. В течение этого периода советы должны либо ликвидировать зияющие провалы в технологии, либо задушить западную экономику путем террора и прекращения снабжения ресурсами Третьего мира, либо разрушить военным путем западные демократии.

ТОЛМАЗИН Давид – родился в 1933 году, в 1956-м окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности океанология, в 1965-м – аспирантуру в Государственном океанографическом институте (Москва) и тогда же защитил кандидатскую диссертацию в Морском гидрофизическом институте (Севастополь). Много лет работал в Одессе старшим научным сотрудником Института биологии южных морей АН УССР и несколько лет – Института экономики АН УССР. Опубликовал около 40 значительных работ (статей и монографий) по физической океанографии и по использованию водных ресурсов рек и эстуариев, участвовал в нескольких проектах удаления жидких отходов в бассейне Черного моря и регулирования водообмена Азовского моря и Днепровского и Днестровского лиманов с Черным морем. Был членом Всесоюзной комиссии по охране природных вод СССР (Азово-Черноморская секция). В 1978 г. эмигрировал в США. Читает курсы по океанографии и ведет исследовательскую работу в Коннектикутском университете. В США опубликовал несколько научных статей и книгу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «ДВАДЦАТЬ ДВА» (В каждом номере 224 страницы)

Оригинальная и переводная проза, поэзия, статьи. Актуальные проблемы мира и Ближнего Востока. Анализ политических ситуаций в России и на Западе.

С 38 номера начало публикации самого знаменитого детективно-политического романа десятилетия – «Маленькая Барабанщица», о сложнейшей операции израильской разведки против террористов. (Исключительное право перевода предоставлено автором Джоном Ле-Карре нашему журналу).

Подписная цена на год (6 номеров) 40 долларов (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56). Заказы с указанием начального номера подписки и чеки посылать по адресу: «22», Ramat-Gan, Israel, P. O. Box 7045.

Евгений Наклеушев

К ЕДИНОМУ ЗНАНИЮ

Набросок

метафилософии-метанауки-метарелигии

Эта книга откровенно парадоксальна. Ее задача – предложить систему всего вообще возможного знания, отдаленно подобную той, что построил некогда для известных и неизвестных химических элементов Менделеев. При этом автор сознает, что, в отличие от Менделеева, имеет дело с потенциально бесконечным материалом, и все же, вопреки предостережению премудрого Пруtkова Козьмы, подвизается объять необъятное. Разумеется, с точки зрения почтенного здравого смысла, это заведомо абсурдная книга.

Эта книга строит систему видения, в которой древние апории (парадоксы) движения Зенона Элейского предстают как «блестяще выполненное исследование по пограничным проблемам теории относительности». Где завязываются в узел и проливают свет друг на друга космология и историческая психология, социальная история и квантовая механика, биология и теория множеств, «непримиримые» философии и еще более «непримиримые» религии, Восточные и Западные, древние и новые системы мировоззрения. Все сие приводится к единству с помощью трехмерного понятийного пространства, и, однако, – еще один парадокс – изложение рассчитано в первую очередь на гуманитария.

296 стр., мягкая обложка. Цена \$ 12,50, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу:

Yevgeny Nakleushev,

626 Water st., apt. 6E, New York, NY, 10002, USA.

Истоки

Юрий Ф е л ь ш т и н с к и й

ЗАПИСКИ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ

Публикация правительственных документов всегда представляет собою известный интерес. Но, возможно, много больше о самих членах правительства рассказывают документы не официальные – дневники, письма, записки, наспех написанные тупым карандашом во время того или иного заседания и к печати никогда не предназначавшиеся. В предлагаемую публикацию включены некоторые записки, которыми обменивались между собой советские вожди на заседаниях 1924 года*. (Одна записка датирована 1926 годом.) Большинство записок представляют собой переписку Красина и Троцкого, иногда поражающую своим откровением, которое правильнее назвать цинизмом. Вот, к примеру, обмен мнениями между Троцким и Красиным по вопросу о специалистах:

Красин – Троцкому:

У меня есть, например, горный инженер Зыкс, бывший в 914 г. в экспедиции в Чукотском Крае; он просится на эту работу.

Можно бы туда же послать Эйдука и ряд других работников.

2 июня 1924 г.

Пленум ЦК.

Троцкий – Красину:

А Ваши кандидаты не в концентрац[ионном] лагере сидят?

Красин – Троцкому:

В концентр[ационных] лагерях сидит очень много людей, которых можно было бы приспособить к

* Публикуемые записки хранятся в Архиве Троцкого (отдел рукописей Хогтонской библиотеки, Гарвардский университет). Публикуются впервые.

хоз[яйственной] работе, если бы коммунисты были умнее и толковее в хозяйствен[ных] и произв[одствен-ных] делах.

Из моих кандидатов пока только Эйдук в центр[ационном] лагере. Он, между прочим, с пользой работает на постройке Семиреч[енской] дороги.

2-го июня 1924 г.

Пленум ЦК.

Не по всем запискам можно понять, о чем идет речь, особенно когда речь идет об интригах, смысл которых ясен только самим переписывающимся.

Факт, однако, тот, что:

1) Сама идея не Ст[омонякова], а Литвинова.

2) Никому, кроме меня и Крест[инского], он об этом не сообщал.

3) Сам Клейнов [?] документировал – своим письме, что идея шантажа подсовыв[ания] Стомон[якова] такой угрозой идет от Мальцана.

В основе же всей истории (вполне по Марксу) интересы группы Шлейзингера [название немецкого банка неразборчиво. – Ю. Ф.] и Мальцана, которые спят и видят вместо Стомон[якова] Старкова или Кр[естинского] видеть послом [в Германии. – Ю. Ф.] или *minimum* торгпредом Коппа.

18 июня 1924 г.

Я не думаю этого. *Bondholder*'ов группа далеко не влиятельная и разрыв с ними в Англии даже не произведет большого эффекта. Во много раз влиятельнее концессионеры.

12-го июля 1924 г.

П/Б.

Троцкий – Красину:

Свиньи подождут.

Красин – Троцкому:

НЕТ. Как раз свиньи-то и должны нас вывозить.

18-го июля 1924 г.

Переписка с помощью записок не всегда была краткой и велась часто между несколькими людьми. В этом случае записки пускались по кругу. Так было со «щекотливым» вопросом проверки «портфеля» Госбанка. Проверку эту предполагалось сделать в секретном порядке, так как утечка информации на Запад грозила обнаружить неплатежеспособность советской власти.

Троцкий:

Нельзя ли дать задание:

представить оценку вексельн[ого] портфеля Госбанка, разбив векселя на 3 группы (полновесн[ые] векселя, сомнительные, «бюджетные»).

Пятаков:

Конечно можно, но это очень деликатная штука – если просочится, будет скандал.

Троцкий:

Можно в секретном порядке.

Троцкий – Сокольникову:

Ваше заключение?

Сокольников:

Мы обязательно предполагаем это сделать перед началом нового хозяйств[енного] года, и принять спец[иальные] меры по санированию портфеля Госбанка. Но предпринимать такую операцию по заданию СТО – невыгодно.

Красин:

Я думаю тоже, что это лучше сделать не по поруч[ению] СТО, а в архикелейном порядке.

Троцкий:

Я не пойму: какое место занимают в этих операциях ассигнованные Вам на покупки 50 мил. руб. ин[остранной] вал[юты].

Красин:

Очевидно Госб[анк] считает эти 50 м[иллионов] инвалюты *израсходованными* (как внеплановую операцию).

Троцкий:

Т. е. это похоже на то, что у нас нет ни рублей, ни валюты.

2-го июля 1924 г.

СТО

Финансового вопроса коснулись и на ближайшем заседании Политбюро, 12 июля 1924 г. В тот день, очевидно, было решено начать на Западе кампанию по получению в советскую казну хранящихся в европейских банках вкладов царского правительства и русских посольств, замороженных после февральской революции 1917 г. Сложность заключалась в том, что европейские банки в принципе гарантировали своим вкладчикам тайну вкладов, будь то человек, организация или государство. Вот эту тайну и собиралось теперь приобрести советское правительство любым способом.

Троцкий – Красину:

А нельзя ли купить секрет насчет суммы царских вкладов?

Красин – Троцкому:

Конечно можно, дав за это некоторый процентик.

Но я думаю, что при очень энергичном нажиме можно и должно добиться обязательств банков etc. по суду. Объявлять свою задолжен[ность] по русским делам.

12-го июля 1924 г.

П/Б.

Втайне не только получались секреты о суммах царских вкладов. Втайне закупалось оборудование (нелегально), втайне поддерживались контакты с деловыми кругами, которые по той или иной причине не могли вступить в контакт с советским правительством открыто. Втайне же обсуждались эти вопросы на заседании Политбюро, да к тому же в неофициальном порядке, на уровне записок между заинтересованными лицами, в данном случае Троцким и Красиным. Последний писал:

Оборудование Метохима (Газов[ый] зав[од]) частью отправлено из Герм[ании], частью лежит там готовое к отправке. Из 3-х лиц, знавших об этом деле, Стомон[яков] лежит больной, Крест[инский] и Туров в Москве. Некому организовать отправку, выдачу лицензий и пр. Кроме того некому держать связь с немецкой

группой. Необходимо срочное назначение кого-либо вместо Турова.

12-го июля 1924 г.

П/Б.

Вот часто именно так, в записках, решались вопросы о кадрах – кто какую должность займет, в какой стране и в каком учреждении станет работать...

Троцкий – Красину:

Гольдберга Вы думаете здесь держать или в Берлине?

Красин – Троцкому:

Еще не решено. Возможна и заграничная работа, но едва ли только в Берлине, а в Европе вообще.

24-го июля 1924 г.

П/Б.

Красин – Троцкому:

Он был сегодня у меня и просил переговорить о будущей работе. Состоится разговор завтра. Я предполагаю ему предложить поехать сейчас-же в Берлин, членом Правл[ения] Коммерч[еской] части Торгпредства, а через 2-3 мес. будет назначен одним из зам-ов Стомонякова.

25-го июля 1924 г.

СТО.

Красин – Троцкому:

Я уезжаю через дней 8-9. Шпенцера в данную минуту взять в Париж не могу, ибо торговый персонал мы будем согласовывать только в Париже, где частично персонал уже имеется. Я имею на 90% надежду, что по приезде в Париж, мне удастся его включить в Парижское Торгпредство. Может ли он ждать эти 2-3 недели. Или он предпочтет **сейчас** взять место, скажем, в Госиздате с тем, что я беру на себя возможно скорее дать ему назначение в Париж.

12-го сентября 1924 г.

СТО.

Вопросы в записках обсуждались самые разные. Так, 29 октября 1924 г. на заседании Политбюро Красин предложил Троцкому рассмо-

треть вопрос о переносе столицы из Москвы обратно в Ленинград. Красин аргументировал это предложение тем, что переезд в Ленинград оживит промышленность города и спасет его от экономического краха. В то же время для остальных районов страны перенос столицы не имел бы, по мнению Красина, отрицательных последствий, и вся разница заключалась бы в лишних 600 километрах. Внешней же опасности, в свое время заставившей советское правительство перенести столицу из Ленинграда в Москву, теперь не существовало. Вот дословный текст записки Красина:

Не думаете ли Вы, что нам следовало бы переехать в Ленинград? Москва как центр от этого не пострадает, Туркестан, Кавказ, Сибирь и пр. проиграют мало: не все ли равно N км. или (N + 600), а Ленинград будет спасен.

Опасность же сейчас едва-ли имеется.

Красин вообще был обеспокоен слабостью советской экономики. Вот две его записки – о промышленности и о нерентабельности совхозов:

Я пессимист лишь в отношении способности нашего Пр[авительст]ва **своевременно** найти правильный путь, объективно эта возможность имеется.

21-го июля 1924 г.

СТО

А НКЗ [народный комиссариат земледелия] опытом доказал невозможность совхозов коммерческую и всякую иную.

25-го июля 1924 г.

СТО

Наконец, в записках обсуждались вопросы внешней политики и концессий.

Троцкий – Красину:

Знакомы ли Вы с кое-какими документами разведки по поводу признания нас Францией, по поводу политики С[оединенных] Штатов «плана Дауэса» в отношении СССР и пр. и пр.?

Красин – Троцкому:

Нет, я не совсем представляю о каких документах идет дело? М. б. Вы мне укажете источник?

12-го ноября 1924 г.

СТО

Красин – Троцкому:

Если бы мы могли **намекнуть** только Франции, что при искренней с нами дружбе, экономич[еской] помощи, помощи в урегулировании вопросов Прибалтики, Польши, Бессарабии и т. д. вплоть до «Технического сотрудничества», она **фактически** получила бы с Востока тот пакт о ненападении, которого она безуспешно добивается с 918 г. от Англии и С.А.С.Ш., – можно было бы добиться кое-каких результатов.

12-го ноября 1924 г.

СТО.

Красин – Троцкому:

Слух о «срыве к[онцесс]ии Аркосом» чистейшая чепуха. Можно ли называть срывом, если параллельно к предложению американцев у нас будет еще 2 или 3 **более** выгодных предложений. Свет не сошелся ведь клином на американцах, в которых так горячо уверовали тифлисские т[овари]щи. К чему такая спешка в таком серьезном деле?

13-го ноября 1924 г.

П/Б.

Переписка Троцкого с Красиным оборвалась в конце 1924 года. В 1925 году Красин, бывший ранее послом во Франции, получил назначение в Лондон на должность советского полпреда. На заседаниях Политбюро и СТО он более не присутствовал. 24 ноября 1926 года Красин умер. Этим годом датирована и его последняя записка к Троцкому, не слишком, впрочем, значительная по своему содержанию, касающаяся кадрового вопроса:

Л.Д.!

Обращался ли к Вам во время отпуска Лапиров-Скобло? Мы его думали назначить в Лондон, в техн[ический] отд[ел] Торгпредства, а он ставил это в зависимость от В[ашего] согласия. Я думаю он мог бы там работать и для НТО. Прожив год-другой в Лондоне научился бы многому.

26 год.

Сам Троцкий через два года с небольшим после смерти Красина был выслан из СССР. Записки ему было разрешено увезти с собой.

Два других автора записок – Пятаков и Сокольников – были в числе прочих коммунистических функционеров расстреляны своими собственными соратниками (Пятакова расстреляли в 1937 г., Сокольников – в 1939-м). Троцкого постигла несколько иная участь. В августе 1940 г. по приказу советского правительства он был убит агентом ГПУ в Мексике ударом альпийской кирки по голове.

ФЕЛЬШТИНСКИЙ Юрий Георгиевич – родился в Москве в 1956 году. В 1978 году эмигрировал в США. Изучал историю в Брандайском университете на кафедре Сравнительной истории. В настоящее время аспирант докторской программы Ратгерского университета. Специализируется по русской истории 1917-45 годов, новейшей истории дипломатии и проблемам социализма. Автор более семидесяти публикаций, среди них «Legal Foundations of the Immigration and Emigration Policy of the USSR (1917–1927)», *Soviet Studies*, vol. XXXIV (Великобритания, 1982); «СССР-Германия, 1939–1941. Документы и материалы по истории советско-германских отношений», в двух томах (США, 1983). Им же подготовлен к изданию сборник очерков Троцкого «Портреты» (США, 1984).

Искусство

Иосиф Дарский

«LA BATTAGLIA DI MILANO»

Чиновник особых поручений при директоре Императорских театров граф Алексей Алексеевич Бобринский, путешествуя по Италии, остановился в Милане и обратился к дирекции знаменитого Ла Скала с просьбой показать ему театр.

Джулио Гатти-Казацца, директор театра, с радостью согласился и, когда хозяин с гостем прогуливались вдоль сцены, неожиданно спросил графа: «Скажите, это правда, что в ваших театрах есть необыкновенные басы?»¹ Бобринский ответил утвердительно, сказав, что в оперных хорах имеются басы, берущие даже нижние «до» и «си», но лишь только один певец превосходит всех своими необыкновенными интерпретациями ролей, хотя и не обладает особо мощным голосом. Но почему господин директор интересуется этим? И тогда Гатти-Казацца рассказал, что вот уже третий сезон подряд он и главный дирижер Артуро Тосканини уговаривают композитора Арриго Бойто дать разрешение на возобновление его оперы «Мефистофель». Но Бойто — непреклонен. Он все еще переживает неудачную премьеру оперы, состоявшуюся более трех десятилетий назад. На все просьбы о ее возобновлении он отвечает: «Найдите мне необыкновенного исполнителя главной роли, и тогда мы будем говорить серьезно. Если же нет, то нет»². Однако ни один из басов, предложенных ему, не удовлетворял требованиям автора. Кто-то предложил

переписать роль Мефистофеля для баритона, но и эту идею Бойто отверг.

Оставалось лишь надеяться на чудо, и оно свершилось, когда Гатти заговорил со своим гостем о русских басах. Граф заверил директора, что хотя артист этот никогда прежде не пел в опере Бойто и вообще ни разу еще не выступал за границей, но тем не менее с ролью Мефистофеля вполне справится. Артист этот еще очень молод, и зовут его Федором Шаляпиным.

В Москву была послана телеграмма, в которой Шаляпина приглашали спеть в десяти спектаклях «Мефистофеля» и спрашивали его условия. Имя Шаляпина уже гремело по всей России, но за пределами страны он действительно был еще неизвестен, поэтому, решив, что это чей-то розыгрыш, певец в своей ответной телеграмме попросил повторить текст и, получив подтверждение, растерялся. «Двое суток провел в волнении, – вспоминает Шаляпин, – не спал и не ел, наконец, додумался до чего-то, посмотрел клавиш оперы Бойто и нашел, что его „Мефистофель“ по голосу мне. Но и это не внушило мне уверенности, и я послал телеграмму в Милан, назначая 15000 франков за десять спектаклей, в тайной надежде, что дирекция театра не согласится на это. Но – она согласилась!»³

И не только согласилась, но и уведомила Арриго Бойто, что исполнитель на главную роль в конце концов найден и ему послано приглашение. «Я слышал много хорошего об этом Шаляпине, – сказал Бойто, – и мне кажется, что этот „скифский варвар“ успешно справится со своей задачей»⁴. С благословения автора, 24 мая 1900 года генеральный директор Ла Скала направляет на подпись Шаляпину контракт, к которому было приложено письмо:

«Многоуважаемый синьор!

Имею удовольствие приложить две копии контракта, один подписанный нами, который Вы сохраните для себя, другой Вы возвратите нам в заказном письме, предварительно его подписав.

Содержание контракта тождественно с тем, которым мы пользуемся всегда, когда вопрос касается артистов, контрактируемых вне Италии. Я уверен, что Вам нечего будет возразить. Мы поставили четыре представления в месяц в случае какой-либо болезни, опоздания и т. д., но обычно в Ла Скала не бывает в течение недели более трех представлений одной и той же оперы. Дата Вашего прибытия в Милан фиксирована на 28 февраля, но... мы просим Вас приехать на два-три дня раньше, ввиду того, что мы должны поставить «Мефистофеля» как можно скорее. Завтра же отправляю Вам полный клиavier оперы, либретто и постановочный план «Мефистофеля» Бойто для того, чтобы Вы имели материал под рукой для изучения и могли бы детальнее ознакомиться с тем, как исполняется опера в Италии. В любом случае, касается ли это контракта или чего другого, о чем Вы хотели бы мне сказать, прошу Вас телеграфировать мне.

Я очень рад, что имею честь ВПЕРВЫЕ (выделено мною. – И. Д.) представить итальянской публике столь именитого артиста, каким являетесь Вы. Желаю Вам одержать здесь полный триумф и получить высшее удовлетворение. Шлю Вам наилучшие пожелания.

Генеральный директор
*Джулио Гатти-Казацца*⁵

Получив контракт, Шаляпин решил подписать его по прибытии в Милан – в то лето семья Шаляпиных все равно собиралась в Италию навестить своих родственников (первая жена Шаляпина Иола Ле-Прести, по сцене – Торнаги, была по происхождению итальянкой).

В первых числах июня Шаляпин появился в Скала и был встречен его директором и Арриго Бойто. Маэстро Тосканини в то время находился где-то с концертами, поэтому Бойто сам, сидя за фортепиано, хотя и «был скверным пианистом, но на удивление умным собеседником, как смог, растолковал Шаляпину основные черты образа. Шаляпин промычал под рояль несколько фраз и больше ничего»⁶.

Сняв для семьи дачу, Шаляпин почти на два месяца уехал в Париж, где выступил с исполнением романсов в различных частных салонах и в том числе в редакции газеты «Фигаро».

Согласившись выступить в «Мефистофеле», Шаляпин испытывал смешанные чувства: тут были и гордость, и страх, и радость, и неуверенность. Чувствами своими он поделился с другом, композитором Сергеем Васильевичем Рахманиновым, который принял близко к сердцу волнение Шаляпина. И друзья решили поселиться летом вместе в курортном местечке Варацце, неподалеку от Генуи, и начать совместную работу по изучению «Мефистофеля». В середине июля, после визита в Париж, Шаляпин приезжает к Рахманинову, с которым приступает к работе над оперой.

«Нашим начальным этапом при анализе оперы Бойто был ее детальный разбор до мелочей. Мы обсуждали роль со всех углов зрения: музыкального, драматического и постановочного», – читаем мы в одной из статей певца⁷.

К тому моменту уже почти восемь лет выступал он в роли Мефистофеля, но в другой опере – «Фауст» Шарля Гуно. Выступал успешно, но не был удовлетворен своим созданием, ибо чувствовал, что образ этот был далек от того, что создал Гёте. В этом плане опера Бойто была гораздо ближе к драматургическому оригиналу, чем опера Гуно, и перед Шаляпиным теперь открывались новые возможности: «Я давно мечтал о том, чтоб сыграть Мефистофеля голым. У этого отвлеченного образа должна быть какая-то особенная пластика, чёрт в костюме – не настоящий чёрт. Хотелось каких-то особенных линий. Но – как выйти на сцену голым, чтоб это не шокировало публику.

Я рассказал о моей затее приятелям художникам, они очень одобрили ее, и А. Я. Головин сделал мне несколько рисунков, хотя голого Мефистофеля он не дал мне. Кое-чем воспользовавшись у Головина, я решил играть хоть пролог оголенным от плеч до пояса. Но этого было мало в сравнении с тем, что рисовалось мне. Да и центром роли был не пролог, а шабаш на Брокене»⁸.

За лето Шаляпин выучил наизусть всю оперу, зная назубок, по своему обыкновению, не только собственную роль, но и все партии в опере. К февралю следующего года костюмы были готовы, до премьеры оставалось около месяца, и он отправился в Милан, где «предстал пред очи» генерального директора. Во время беседы в кабинете у Гатти одним из первых вопросов, заданных Шаляпину, был вопрос о костюмах. «Будучи еще молодым и склонным к легкомыслию, – писал он много лет спустя, – я важно заявил, что в некоторых сценах оперы я намереваюсь выступить вообще без костюма.

Гатти известен тем, что умеет не показывать свои чувства, но в тот момент тень ужаса промелькнула в его глазах. Он пристально посмотрел на меня и вновь повторил свой вопрос о костюмах. Я снова вполне серьезно ответил ему, что моделью моих костюмов в Прологе и в сцене Брокена послужил бессмертный костюм, который когда-то носил Адам, оставив его в райских кущах»⁹. Заложив руки в прорези жилета и ничего не сказав, Гатти вышел из кабинета.

Примерно так же излагает Шаляпин эту сцену и в своей автобиографии, но она широко известна, а приведенный выше рассказ был написан им специально для американского журнала и, насколько известно, никогда не публиковался по-русски, поэтому мне и хотелось ознакомить читателей с мало известной публикацией артиста.

После первой же репетиции Тосканини направил директору театра записку (поступок, какого никогда прежде он не совершал), в которой просил отменить вечернюю репетицию. «Что случилось, маэстро?» – спросил Гатти, когда дирижер с мрачным лицом появился у него в кабинете. «Ничего, за исключением того, что Шаляпин во время репетиции не пел, а только мямлил что-то непонятное. Я хотел бы поговорить с ним, прежде чем мы продолжим репетиции, но я боюсь испугать его

этим, более того, я сам нахожусь в замешательстве, ибо в конце концов боюсь услышать его голос»¹⁰.

На следующий день, с одобрения директора, когда Шаляпин снова запел вполголоса, Тосканини остановил его и попросил петь в полный голос, заявив, что, «во-первых, в Ла Скала существует такой обычай, во-вторых, исполняя роль впервые, совсем неплохо показать, что за голос у певца в горле, и, в-третьих, весьма желательно узнать лучше друг друга, поскольку мы работаем вместе впервые»¹¹.

Энрико Карузо, исполнявший в спектакле роль Фауста и сразу же подружившийся с русским певцом, заметил Шаляпину небрежно: «Не волнуйся. Он знает, что можно ожидать от всех нас, но твой голос – новый для него. Тосканини похож на тех собак, которые лают, но не кусают»¹².

Доводы и того и другого показались Шаляпину убедительными, и он запел во весь голос. В ходе репетиции Тосканини часто останавливал певцов, давая им указания и советы, но Шаляпину не сказал более ни слова, что немало озадачило певца.

Наутро в фойе театра состоялась очередная репетиция под рояль. Сцену из пролога Шаляпин запел сразу же полным голосом, «а когда кончил, Тосканини на минуту остановился и, с руками еще лежавшими на клавишах, наклонив голову немного вбок, произнес своим охрипшим голосом:

– Браво!

Это прозвучало неожиданно и точно выстрел. Сначала я даже не понял, что это относится ко мне, но так как пел один я, приходилось принять одобрение на свой счет. Очень обрадованный, я продолжал петь с большим подъемом, но Тосканини не сказал мне ни слова более», – так пишет Шаляпин¹³.

В воспоминаниях же Гатти-Казацца реакция маэстро на шаляпинское пение изложена чуть по-другому. Услышав, наконец, подлинный голос певца, дири-

жер обратился к нему со следующими словами: «Мой дорогой Шаляпин, у вас есть все необходимое, чтобы стать превосходным Мефистофелем. Мы будем работать вместе и создадим нечто необыкновенное»¹⁴.

На сценических репетициях Тосканини показывал Шаляпину, одетому пока в обычный гражданский костюм, как ему надлежало изображать Мефистофеля: «как сесть, как встать, как завинтить одну ногу вокруг другой штопором, складывая при этом по-наполеоновски руки на груди, вообще показывал мне все приемы тамбовских трагиков, знакомые мне по сценам русской провинции, – вспоминал Шаляпин, – когда я спрашивал его: почему он находит эту или иную позу необходимой? – он уверенно отвечал: – *Perché questa é una vera posa diabolica!* Потому что это настоящая дьявольская поза!

– Маэстро, – сказал я ему, – я запомнил все ваши указания, вы не беспокойтесь! Но позвольте мне на генеральной репетиции играть по-своему, как мне рисуется эта роль.

Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Хорошо! *Va bene!*»¹⁵

Работа над спектаклем продвигалась вперед. Возникавшие недоразумения, как, к примеру, описанные выше, устранялись «в рабочем порядке», а в то же самое время за пределами театра бушевали страсти. Назревал скандал, какого еще не бывало в истории оперного Милана.

Слух о том, что для премьеры возобновленной оперы Бойто был выписан певец из России, моментально разнесся по всему городу, вызвав бурю негодования. Особого накала достигло возмущение этим поступком дирекции Ла Скала в знаменитой галерее Виктора-Эммануила – своеобразной театральной бирже Милана.

Директора театра иначе как предателем не называли. По мнению всех, итальянскому искусству было нанесено смертельное оскорбление. До сих пор Италия – родина оперы – по праву считалась поставщиком опер-

ных талантов во все страны, в том числе и в Россию. «Согласитесь, что это большая дерзость ехать петь в страну певцов! Ведь не стал бы ни один пианист играть перед вашим Рубинштейном! А Италия – это Рубинштейн!» – так передавал возмущение итальянцев в своих очерках известный русский журналист Влас Дорошевич¹⁶.

Больше всех негодовали, конечно, басы, уже познавшие успех в этой роли на сценах Англии и Америки. *Signori cantanti*, «господа певцы», жаловались тому же Дорошевичу: «Выписывать русского певца в Италию! Да ведь это все равно что к вам стали бы ввозить пшеницу»¹⁷. (Ну, вот взяли да сглазили еще на самой заре века!)

Шляпину предсказывали неслыханный провал: «– Он будет освистан! – кричали итальянцы, чуть не грозя кулаками. – Он будет освистан!

– Да! Как же! – демонически хохотали другие. – Пятнадцать тысяч франков! Есть из чего заплатить клаке. Насаждает клакеров.

– Все равно он будет освистан!

– Надо освистать и дирекцию!

– И Бойто! Зачем позволил это!

Начало не предвещало ничего хорошего»¹⁸.

А клакеры действительно не дремали. «*Ladri in guanti gialli*», «негодяи в желтых перчатках», как их презрительно называли артисты, которые ненавидели клаку, но платили ей свою мзду, явились однажды утром на квартиру к Шляпину и заявили его супруге, что «берутся сделать синьору Скиаляпино успех» и поэтому просят выделить им несколько десятков билетов, а также заплатить 4 000 франков за то, что синьору будут аплодировать на первом спектакле. Самого Шляпина не было в то утро дома, и разговор велся только с его женой и тещей. Они хорошо знали, что шутки с клакой не кончаются добром. Смельчаки, отважившиеся когда-либо отвергнуть ее услуги, жестоко поплатились.

Узнав о предложении клаки, Шаляпин «велел гнать их в шею»¹⁹, и, когда представители «Мартинетти и К°» – шефа миланской клаки – пришли на другой день за ответом, им был передан ответ артиста «убираться ко всем чертям»²⁰.

Весть о том, что Шаляпин выгнал клакеров, лишь подлила масла в огонь. К тому же, одна из газет опубликовала письмо Шаляпина, в котором говорилось: «Ко мне в дом явился шеф какой-то клаки и предлагал купить аплодисменты. Я аплодисментов никогда не покупал, да это и не в наших нравах. Я привез публике свое художественное создание и хочу ее, только ее, свободного приговора: хорошо это или дурно. Мне говорят, что клака – это обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взгляд, это какой-то разбой»²¹. А политическая газета «Коррьере делла сера» вдобавок к шаляпинскому письму поместила статью, расхваливавшую «благородный ответ» русского артиста.

Статья эта произвела сенсацию. Его называли сумасшедшим, ибо никто еще не отваживался вступить в открытую борьбу с клакой; другие, наоборот, горячо поддерживали и хвалили его. Многие из тех, кто еще вчера не мог простить Шаляпину «пятнадцать тысяч франков», теперь восторженно говорили о нем.

По-видимому, эта статья и изменение общественного мнения в пользу Шаляпина побудили клаку сменить тактику, о чем свидетельствует письмо к нему, сохранившееся в архиве дочери певца Ирины:

«Милан, 11 марта 1901 г.

Достопочтимый господин Шаляпин!

Прочтя в одной из вчерашних газет резкую статью, направленную против миланской «клаки», где говорится, что Вашу супругу испугали какие-то типы, которых газета называет шантажистами, и, зная о том, что статья эта заключает в себе неправду, что могут подтвердить и Ваша глубокоуважаемая супруга и мать, к которыми мы имели беседу и которые приняли нас любезно, мы позволяем себе обра-

титься к Вам с этим письмом. Мы вели себя с Вашей супругой как джентльмены и сообщили ей сведения о театре, которые ее интересовали. Мы предложили ей самым вежливым образом и без каких-либо оскорблений наши услуги. Беседа наша касалась рекламы. (?? – И.Д.)

По этому вопросу мы просим Вас, будучи наслышаны о Вашей любезности, опровергнуть статью в газете, поскольку Вы сами знаете, что мы вели себя вежливо и благопристойно, отвечая на все вопросы, заданные нам господами. И мы никак не навязывались ни словами, ни угрозами, как о том пишет газета...

Мы, со своей стороны, будем способствовать, тем не менее, Вашему блестящему успеху без какого-либо вознаграждения, видя в Вас великого артиста, как нам то было сказано. Если после того, что Вы узнаете о нас, Вы сочтете возможным дать нам несколько билетов, то *мы заплатим* (выделено мною. – И. Д.) за них Вам в день выступления. Если бы Вы были так любезны и прислали нам короткий ответ на это письмо, мы были бы Вам весьма признательны.

Мартинетти и К^о

P. S. Доверяя Вашей любезности, мы просим Вас сохранить в тайне все происшедшее, поскольку мы вели себя как джентльмены и всегда готовы исполнить почтительнейшим образом Ваши приказания²².

Ни ответа, ни билетов клака от Шаляпина не получила. Все его внимание было поглощено подготовкой к премьере, даже письма его, написанные в тот период, коротки: «Усиленно репетируем Мефистофеля. Слава Богу, все идет хорошо. И я здесь пришелся, кажется, по душе. 2 или 3-го нашего марта пою первый спектакль», – сообщал он главному дирижеру Большого театра И. К. Альтани²³.

За день до премьеры, 14 марта, состоялась генеральная репетиция в присутствии автора оперы. А утром того же дня Шаляпин получил записку от Дорошевича, в которой тот, в частности, писал: «Все идет превосходно. Весь театр по сумасшедшим ценам распродан. Секретарь говорит о Вас не иначе, как:

– *E un grande artista!*

При этом таращит глаза и показывает рукой выше головы, что по-итальянски совсем уж очень хорошо.

Артисты, – я наводил справки, – говорят, что очень хорошо. Да что артисты! Хористы, – разве есть судьи строже? – хористы, и при том хористы басы (выделено Дорошевичем. – И. Д.), отзываются с восторгом»²⁴.

Когда во время генеральной репетиции Шаляпин появился на сцене в костюме и в гриме, все присутствовавшие были поражены. К нему подходили, щупали мышцы, а увидев, что и они заgrimированы, пришли в неописуемый восторг. Все это, конечно, очень тронуло и духовно подкрепило Шаляпина. Кончив петь в прологе, он подошел к Тосканини и спросил, согласен ли маэстро с тем, как Шаляпин играет: «Он впервые открыто и по-детски мило улыбнулся, хлопнул меня по плечу и прохрипел: – Non parliamo più. – Не будем говорить больше об этом»²⁵.

Почти целый год работы не пропал даром. Роль Мефистофеля была изучена и продумана Шаляпиным до мелочей. Это был тот случай, когда, по словам Гатти-Казацца, «затасканное ныне слово „Творение“ – единственное, что может в полной мере описать созданное Шаляпиным»²⁶. А Бойто, обращаясь к директору, признался: «Мой милый Гатти, разве я не был прав, когда настаивал на настоящем Мефистофеле? Только теперь я понимаю, что вплоть до нынешнего момента единственное, что у меня было – это никудышные дьяволы»²⁷.

И вот наступил день 16 марта 1901 года, день, ставший историческим в сценической жизни Шаляпина, хотя душу его с утра омрачали недобрые предчувствия: «В день спектакля я шел в театр с таким ощущением, как будто из меня что-то вынули и я отправляюсь на страшный суд, где меня неизбежно осудят. Вообще ничего хорошего не выйдет из этого спектакля, и я, наверное, торжественно провалюсь»²⁸.

Его успокаивали, убеждали, что все пойдет хорошо, что волноваться не стоит, что за последние два десятилетия такого артиста еще не видал миланский опер-

ный театр. И все же, как вспоминал впоследствии певец, он «дрожал, как на первом дебюте в Уфе».

На какой-то подставке его вывезли «в облака», и начался Пролог. От волнения Шаляпин не ощущал ничего вокруг, только: «...пел, ничего не чувствуя, просто пел наизусть то, что знал, давая столько голоса, сколько мог. У меня билось сердце, не хватало дыхания, меркло в глазах, и все вокруг меня шаталось, плыло», – так напишет он потом в своих воспоминаниях²⁹.

Когда отзвучала его ария «Ave, Signor!» – «Хвала, Господь», ему показалось, что в зале что-то треснуло, грохнуло и вместо хора, которому надлежало вступить вслед за его арией, из зала пополз на него непонятный грозный гул. Это зрители, восхищенные его пением, гримом, игрой, прервали своей овацией «Пролог» в самой его середине и неистово требовали артиста «на поклон».

Бледный и взволнованный, с развевающимися фалдами фрака, очутился около него директор, старавшийся перекричать гром аплодисментов: «Идите, что же вы? Идите! Благодарите! Кланяйтесь! Идите!»³⁰.

Трепещущие в аплодисментах руки, лица, меха, бриллианты – всё расплывалось перед глазами Шаляпина, когда он вышел к рампе. «Никогда еще я не наблюдал такого энтузиазма публики, – писал певец в своей автобиографии. – Дальше петь было легче, но после напряжения в «Прологе» я чувствовал себя обессиленным, нервы упали. Но все-таки весь спектакль прошел с большим успехом»³¹.

Влас Дорошевич находился в тот вечер по другую сторону занавеса. Его очерк «Шаляпин в Scala» появился впервые в газете «Россия» непосредственно под впечатлением шаляпинского триумфа. Вот несколько отрывков из этого обзора: «... на ясном темно-голубом небе, среди звезд, медленно выплыла мрачная, странная фигура.

Только в кошмаре видишь такие зловещие фигуры.

Огромная черная запятая на голубом небе. Что-то уродливое, с резкими очертаниями, шевелящееся.

Strano figlio del Caos. – «Блаженное детище Хаоса». Откровенно говоря, у меня замерло сердце в эту минуту.

Могуче, дерзко, красиво разнесся по залу великолепный голос: – Ave, Signor!

Уже эти первые ноты покорили публику. Музыкальный народ сразу увидел, с кем имеет дело. По залу пронесся ропот одобрения.

Публика с изумлением слушала русского певца, безукоризненно по-итальянски исполнявшего вещь, в которой фразировка – всё. Ни одно слово, полное иронии и сарказма, не пропадало... Он не только поет, играет, – он рисует, он лепит на сцене... Бойто был прав. ТАКОГО Мефистофеля не видела Италия. Он действительно произвел сенсацию (выделено Дорошевичем. – И. Д.)»³².

Восторгались не только зрители, к ним присоединилась и пресса. Так, миланская газета «Иль Троваторе» писала: «Новым для Ла Скала и для всей Италии был русский бас Шаляпин, исполнявший нелегкую роль Мефистофеля. Любопытство, которое возбуждал во всех этот артист, было велико, и неизвестно, чего было больше в этом интересе – ожидания или легкого недоверия... Шаляпин победил нас прежде всего своим гримом, потом очаровал нас своей блестящей и в то же время непринужденной игрой и, наконец, своим пением»³³.

Анджело Мазини – один из величайших теноров в истории оперного искусства, прославившийся и на российской сцене, – выразил свое восхищение в записке, переданной Шаляпину на следующий день: «Уважаемый синьор. Вчера вечером я был в Скала, с величайшим удовольствием имел счастье аплодировать Вам: браво, дважды браво. Тысячи приветствий от коллеги. А. Мазини»³⁴. Но этого Мазини показалось мало, и он направляет письмо в русскую газету «Новое время»:

«Пишу вам под свежим впечатлением спектакля с участием вашего Шаляпина. Он выступал в опере «Мефистофель». Публика театра Scala особенно взыскательна к молодым и неизвестным ей певцам. Но этот вечер был настоящим триумфом для русского артиста, вызвавшего громадный энтузиазм слушателей и бурные овации. Глубокое впечатление, произведенное Шаляпиным, вполне понятно. Это и прекрасный певец и превосходный актер, а вдобавок у него прямо дантовское произношение. Удивительное явление в артисте, для которого итальянский язык не родной. Слушая его, я испытывал двойное наслаждение оттого, что этот певец – русский певец, из той России, с которой я сроднился и которую люблю»³⁵.

Другой великий итальянец, актер Томмазо Сальвини направил певцу визитную карточку, на которой сделал приписку: «Тысяча и тысяча поздравлений по поводу великого успеха, одержанного в Скала в Милане, и Томмазо Сальвини был бы в высшей степени счастлив и почтен иметь знаменитого Шаляпина помощником и товарищем на вечере благотворительном итальянского общества»³⁶.

Сам Бойто на премьеру из-за волнения не пошел. Кроме того, он не мог простить миланской публике обиды своих молодых лет, когда опера начинающего двадцатилетнего композитора была безжалостно освистана в Ла Скала. Тридцать три года спустя она была торжественно реабилитирована, и адвокатом ее выступал никому до тех пор неизвестный певец из далекой России Федор Шаляпин.

От спектакля к спектаклю нарастал шаляпинский триумф. Имя его становится в один ряд с самыми знаменитыми оперными артистами того периода. Хвалебные рецензии не исчезают со страниц газет. Вот отрывок из статьи в «Газзета музикале ди Милано», появившейся после седьмого представления оперы: «О „Мефистофеле“ мы уже писали после премьеры, и к сказанному мо-

жем добавить только то, что данные после этого шесть представлений заставили нас еще больше восхищаться высокими достоинствами оперы и еще больше утвердили в нас замечательное впечатление от исполнителя главной роли господина Шаляпина, которому каждый вечер горячо аплодирует весь зал»³⁷.

Доволен успехом и сам Шаляпин, в чем можно убедиться, заглянув в его опубликованную переписку. «Слава Богу, сражение выиграно блестяще. Имею колоссальный успех, он идет даже *crescendo*», – сообщает он редактору журнала «Север» В. А. Тихонову³⁸. Другое письмо певца носит несколько иронический характер по отношению к самому себе. В нем Шаляпин блеснул еще одной стороной своего таланта – юмором, создав великолепный парафраз на известные слова Чацкого:

Я здесь в Милане – страус в клетке
(В Милане страусы так редки),
Милан собирается смотреть,
Как русский страус будет петь.
И я пою, и звуки тают,
Но в воздух чепчики отнюдь
Здесь, как в России, не бросают³⁹.

Триумф Шаляпина в Милане заставил оперный мир пересмотреть свое отношение к русским певцам. Если до Шаляпина их выступления носили случайный характер и никогда не становились событиями особого значения, то, начиная с 1901 года, многие солисты Императорской сцены начали получать приглашения выступить перед итальянской публикой.

Перед Шаляпиным после миланского успеха открылись двери всех европейских, а чуть позже и американских театров. Дирекция же Ла Скала в письме, посланном Шаляпину немедленно после завершения его гастролей, обращается к нему со следующей просьбой: «Как

я, так и директор просим, чтобы Вы прислали нам письмо, в котором бы обещали не принимать никакого предложения в Италии, за исключением Ла Скала»⁴⁰. В порядке отступления заметим, что успешное сотрудничество Шаляпина с этим самым знаменитым оперным театром продолжалось более трех десятилетий.

На протяжении всего нашего обзора мы неоднократно обращались к свидетельству самого Шаляпина и его современников. Благодаря сохранившимся воспоминаниям, теперь можно воссоздать картину тех триумфальных дней. Во время своего европейского дебюта Шаляпин не просто добился ошеломляющего успеха, ставшего переломным в его судьбе, он действительно одержал победу в «битве при Милане» («La Battaglia di Milano»). Придирчивый критик может попытаться упрекнуть русских историков в преувеличении его успеха – пусть в таком случае последнее слово останется за беспристрастным свидетелем событий тех дней. Слово Гатти-Казаца: «Сказать, что Шаляпин добился успеха во время премьеры, значит сказать слишком мало. Он *выиграл битву* (выделено мною. – И. Д.) такую значительную, что публика, вначале полная сомнения и даже предубеждения по отношению к нему, к концу спектакля вышвырнула в шею смельчаков, сделавших попытку освистать его»⁴¹. Пройдут годы, и Шаляпин покорит своим искусством и Париж, и Лондон, и Нью-Йорк, но никогда не забудется его сенсационный успех в Милане, который стал началом его мировой славы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Giulio Gatti-Gasazza. *Memories of the Opera*. New York, Charles Scribner's Sons, 1941, p. 113.

² Там же, p. 112.

³ Ф. И. Шаляпин. Страницы из моей жизни. Цит. по сб. «Федор Иванович Шаляпин», т. I, стр. 148. М., «Искусство», 1960.

- ⁴ Gatti-Casazza, p. 114.
- ⁵ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. I, стр. 643 – 644. М., «Искусство», 1976.
- ⁶ Gatti-Casazza, p. 115.
- ⁷ Feodor Chaliapin. Roles. – «The Ladies Home Journal», May 1925, p. 31.
- ⁸ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 148 – 149.
- ⁹ Feodor Chaliapin, p. 162.
- ¹⁰ Gatti-Casazza, p. 116 – 117.
- ¹¹ Там же, p. 117.
- ¹² Цит. по: Howard Taubman. The Maestro. New York, Simon & Schuster, 1951, p. 91.
- ¹³ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 150.
- ¹⁴ Gatti-Casazza, p. 118.
- ¹⁵ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 150 – 151.
- ¹⁶ В. М. Дорошевич. Избранные рассказы и очерки. М., «Московский рабочий», 1962, стр. 26.
- ¹⁷ В. Дорошевич. Шаляпин в Scala. Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 3, стр. 30. М., «Искусство», 1979.
- ¹⁸ Там же, стр. 31.
- ¹⁹ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 151.
- ²⁰ Там же.
- ²¹ В. М. Дорошевич, стр. 27.
- ²² Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1976, стр. 644.
- ²³ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, стр. 403. М., «Искусство», 1976.
- ²⁴ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 620.
- ²⁵ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 151.
- ²⁶ Gatti-Casazza, p. 118.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 154.
- ²⁹ Там же.
- ³⁰ Там же.
- ³¹ Там же.
- ³² Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 2, 1960, стр. 35.
- ³³ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1976, стр. 644.
- ³⁴ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 623.
- ³⁵ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 3, 1979, стр. 39.
- ³⁶ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1960, стр. 623.
- ³⁷ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1976, стр. 645.
- ³⁸ Там же, стр. 407.
- ³⁹ Цит. по: Л. Волков-Ланнит. Стихи Шаляпина. – Журн. «Наука и жизнь», 1980.
- ⁴⁰ Цит. по сб. «Ф. И. Шаляпин», т. 1, 1976, стр. 713.
- ⁴¹ Gatti-Casazza, p. 118.

Переводы с английского, иврита, французского, литовского, немецкого, идиша, ладино, польского и других языков, на которых говорят и пишут евреи.

Поэзия и проза, экран и сцена, проблемы философии и религии, литературная критика.

272 страницы большого формата, цветные вкладки.

НАРОД И ЗЕМЛЯ

ЖУРНАЛ
ЕВРЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Журнал НАРОД И ЗЕМЛЯ знакомит читателя с произведениями мировой литературы, затрагивающими тему судеб еврейского народа.

ЧИТАЙТЕ В № 3:

И. БРОДСКИЙ. "Исаак и Авраам"

Э. АЖАР. "Жизнь вся впереди" (перевод с французского)

Б. МАЛАМУД. "Милость Господа Бога" (с английского)

И. ОРЕН. "Комиссия по расследованию" (с иврита)

Э. ЛЮКСЕМБУРГ. "Итро — волчонок Сидки"

И. ГОМЕЛЬ. "Кость в горле" (о современной фантастике)

В. ЛАЗАРИС. "Сонет для статуи Свободы"

Б. МОЙШЕЗОН. "Загадки древних цивилизаций" (ч. 3-я)

Цена номера в розничной продаже — 10 долларов США.

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 20 долларов.

Наш представитель в Северной Америке Юз АЛЕШКОВСКИЙ:

394 High str. Middleton, Ct 06457.

Можно подписаться также по адресу:

TARBUT, P.O.B. 535, Giv'at Ze'ev 90917, Israel.

Литература и время

Василий А к с е н о в

ОТВЕЧАЯ НА ОТВЕТ

(Заметки новичка на американской художественной сцене)

Прошлым летом по дороге к Вермонтским идиллиям мы завернули в Амхерст, Массачузетс. Я был приглашен принять участие в проводившейся там конференции Группы Театральных Коммуникаций, Theater Communication Group. В Амхерсте, между тем, процветала его собственная идиллия: центр города представлял из себя большую лужайку, окаймленную каштанами и «белыми соснами», за стволами виднелись низкие домики с лавками в первых этажах, церковь и здания старого университетского кампуса, отель, в котором нас ждала комната, назывался Lord Jeoffrey и напоминал Stratford-on-Evon.

Мы прибыли под вечер, а конференция работала уже с утра. Я включил телевизор – как раз время новостей, любопытно, что они расскажут о событии. Дождись, расскажут, проворчала жена. Ты думаешь, театральная конференция для них событие? Она настроена скептически к американскому телевидению, несмотря на то – или благодаря тому, – что является ревностным зрителем «Далласа», «Династии», «Бумажных кукол»... Эти серии, между прочим, для многих эмигрантов стали как бы пособиями в овладении языком Шекспира.

Позволь, сказал я, не каждый день, ей-ей, в Массачузетсе проходит всеамериканская театральная конференция, на которую собираются более чем полтысячи

театральных деятелей из более чем двух сотен театров, не говоря уже о таких знаменитостях, как драматурги Артур Миллер, Джон Гуэр, Дерек Уолкотт, Януш Гловацкий, режиссеры Зельда Фичлендер, Питер Селлерс, Тадаши Сузуки, Оливиу Чулей...

Возгорелся «голубой экран». Первой новостью дня оказались «расовые столкновения» неподалеку от Амхерста. Выглядели эти «расовые столкновения», впрочем, как обычная русская драка «по пьянке», когда одна часть деревни задирает другую. Затем большой кусок новостей посвятили пожару в отельчике по соседству. Дым, языки огня, трехсотфунтовое мужское тело проламывает раму, плюхается спиной вниз в натянутый брезент. Впечатляющие кадры! На Руси пожар – это всегда праздник, мать-Америка тоже любовно относится к этим народным событиям. Основной новостью дня оказалась, однако, не пожар и не драка, а драматическая исповедь некоей миссис Пёркинс. Она призналась в том, что девятнадцать лет назад была сексуально потревожена директором местной школы. Интервью с ней продолжалось десять минут, суть дела несколько затуманивалась псевдоюридической терминологией, которую бойко употребляла жертва. Общественность напустила еще больше дыму. Директор же, печальный носатый мистер Гумберт, сказал, что он был бы рад способствовать установлению истины, однако никак не может припомнить той крошки.

О театральной конференции не было сказано ни слова ни в тот вечер, ни в последующие. Больше того, за все три дня исключительно интересных дискуссий на конференции не появился ни один репортер.

Актеры школы господина Сузуки говорили, что, оказавшись на сцене, они прежде всего стараются определить, откуда в данный момент на них смотрят глаза Бога. Люди американского театра стоя аплодировали японским урокам сценической пластики. Я подумал о том, что им, может быть, и удастся определить направ-

ление Божьего взгляда, но вряд ли они узнают, откуда на них смотрят глаза Америки. Талантливый и полный жизни театральный мир этой страны прочно выбит на задворки, обращен в бездоходного бедного родственника. Где эти лица, полные мысли, воображения, юмора? Вместо них страна изо дня в день видит на экранах хороших дурачков, наводящих только на одну мысль: есть ли предел бездарности и деревянности?

Кем-то (вот любопытно, кем же?) выработана незыблемая эстетика и пластика так называемого коммерческого телевидения. Постановщик недавней мини-серии «The Sun also rises» объясняет свое насилие над Хемингуэем тем, что ему пришлось убегать от «импрессионизма» книги. Импрессионистический подход, говорит он, не вытягивает и полутора минут на коммерческом телевидении. Бога ради, что же он хотел сказать своей работой без «импрессионистического подхода»? То, что, не будь Первой мировой войны, Джейк и Брет были бы счастливы? В результате такого приспособленчества мы остаемся в замешательстве, когда фильм перебивается рекламой парфюмерии Эсти Лодер, принимая ее за продолжение американской классики.

Фальшивый советский лозунг «искусство принадлежит народу» странным образом осуществляется в Америке, потому что именно народ (то есть массы, а не эстеты-одиночки) платит массовые деньги и потому выглядит как бы в роли заказчика. Предусматривается, однако, что народ «прост», и тут концепция «простоты» нередко скатывается до «простоватости». Запросы народа вырабатываются предложенным товаром. По сути дела, ответ на «запросы народа» – это ответ на ответ. Взаимовлияние масс и массовой культуры крутится по замкнутому кругу. Чье влияние первично, на этот вопрос уже почти невозможно ответить. Что было раньше – курица или яйцо?

В этой связи трудно уже говорить об американской авангардной традиции. В журнале «Rolling Stone» я про-

чел, что «голливудский гений» Стивен Спилберг долго не мог получить своего первого «жирного бюджета», так как его подозревали в авангардистских наклонностях. Пришлось бедняге доказывать, что таковых не имеется. Пол Мазурский поставил великолепный и не лишенный авангардистской романтики фильм «Буря» и провалился в кассе: «народ» не принял замысловатостей. Следующий фильм «Москва-на-Гудзоне» режиссер сделал уже по железным законам «мыла» и огреб кассу. Что остается делать режиссерам, если по результатам «бокс-офиса» нынче уже присуждаются академические награды? В Москве-не-на-Гудзоне мы называли эти дела не «мылом», а «соплями с сиропом».

Вот один из моих американских сюрпризов – зажим авангарда! Изделека, из царства социалистического реализма, нам казалось, что авангардная традиция в Америке по-прежнему процветает, что американская литературно-театрально-киношная сцена представляет из себя пульсирующий и светящийся космополитический «плэйграунд». Глядя изнутри, видишь со все нарастающим удивлением, что эта сцена при всем ее гигантском размахе носит черты деревенской лавки: поиски «вернячка», боязнь риска, паника при слове «эксперимент».

Провинциализм, разумеется, не всегда отрицательное качество, особенно если речь идет о национальной литературе. Фолкнер – в конце концов, провинциальный американский писатель даже в большей степени, чем Достоевский был провинциальным русским, однако только сейчас, живя здесь, я начинаю понимать, до какой степени американская литература является чисто американским, а не международным делом. Наше прежнее отношение к ней стояло на мифологии.

Среди космополитических мифов существует – или существовал – дивный миф «Знаменитого Американского Писателя» – ЗАП, FAW. В прошлые годы, в

Советском Союзе, мне приходилось с этим типом встречаться, и я предполагал, что знаю, как себя вести при этих встречах. У моей жены опыта в этом меньше, и в связи с этим мы иной раз попадаем впросак.

Как-то раз звонит нам в Вашингтон один ЗАП, называет моей жене свое имя и делает паузу в ожидании соответствующей реакции. Будьте любезны, по буквам, говорит жена. К ЗАПу уже тридцать лет не обращались с такой просьбой, – ошеломленный, он, запинаясь, спеллингует. Я прихожу домой, и жена мне говорит: тебе звонил американский писатель по имени «вот посмотри». В ее транслитерации получалось что-то вроде Тутанхамона. Тут он позвонил снова: Мистер...мм...Акселотл, это вам звонит такой-то... – и неуверенно добавил: – ...американский писатель. Как?! – вскричал я, стараясь восторженной интонацией исправить промашку жены. – Это вы?! Тот самый?! ЗАП вздохнул с усталым облегчением: да, это я, тот самый...

В начале литературной жизни моего поколения, которое столь счастливо совпало с развалом сталинского «железного занавеса», пятеро американских писателей захватили наше молодое воображение. Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд, Дос Пассос и Стейнбек – мы называли их «Великой Американской Пятеркой».

Встретиться пришлось только с одним из пяти. Осенью 1963 года Джон Стейнбек появился в Москве, живая легенда, в длинном и широком твидовом пальто, казалось, что в карманах там покоятся основательные запасы всякого добра, нужного ЗАПу в странствиях: табак, виски, мотки проволоки для скрепления сюжетов, крючки и леска для ловли метафор... Большое лицо в морщинах и алкогольных венозных паучках... Вот он, настоящий «кит» американской литературы XX века, космополит, бродяга, дон жуан, пьяница, словом «почти Хемингуэй». Даже московская милиция смутно

ассоциировала Стейнбека с «Папой», что, видимо, ему не очень-то нравилось.

Посол США Фой Колер пригласил меня (очевидно как представителя «новой волны») на обед в честь Стейнбека. Классик к моему приходу, должно быть, уже хлебнул и приветствовал молодого писателя сильнейшим хлопком по спине. Как пишется, Василий? Я пришел в восторг – вот она, рука ЗАПа!

Он был полностью в «образе» и за обедом нес много очаровательной чепухи, тревожа дипломатов и секретаря Союза писателей Алексея Суркова. Для чего человеку пуп? Друзья мои, если вам захочется ночью поестъ редиски, лучшей солонки не найти!

На прием в журнал «Юность» он пришел в другом настроении. Мрачно и сердито он задавал молодым писателям какие-то темные вопросы. Вы знаете, что лес уже горит? Слышите треск сучьев, волчата? Будете драться за свои шкуры или превратитесь в шелудивых собак?... Может быть он имел в виду незадолго до этого проведенную партией борьбу с молодым послесталинским искусством. Лучшим ответом на его вопросы стала бы знаменитая песня Владимира Высоцкого «Охота на волков», но она к тому времени еще не была написана. Мрак леса не очень-то соединялся с деревенским праздником нашей молодости – его не смог испортить даже Хрущев. Расскажите нам, пожалуйста, о ваших встречах с Эрнестом Хемингуэем, мистер Стейнбек! Он презрительно замолчал.

В разгаре хемингуэевского бума конца пятидесятых и начала шестидесятых «Папа» был идиолом российского студенчества и интеллигенции разных возрастов и направлений. Даже так называемые «международники», иными словами, гебешники, что шуровали на Кубе и в Латинской Америке, были под хемингуэевским влиянием.

Попав впервые в Париж, я нашел, что он окрашен для меня не только своим собственным тысячелетним очарованием, но и промельком тех мимолетных американцев конца двадцатых, пьяной свитой поклонников леди Ашли. В конце бульвара Монпарнас, где сквозь листву платана просвечивает статуя маршала Нея и доносятся звуки пианино из «Клозери де Лиля», я вспоминал фразы «Фиесты»; магия тех простых фраз.

Культ Хемингуэя возник в России оттого, что его лирический герой совпадал с идеализированным, то есть неверным, а может быть, как раз очень верным, в некотором астральном смысле, образом американца; он воплощал в себе то, чего так драматически не хватало русскому обществу: личную отвагу, риск, спонтанность. Набоков как-то пренебрежительно назвал Хемингуэя «современным Чайлд Гарольдом». Довольно точное определение, но тут надо вспомнить, что и Байрон в свое время поразил русское общество, возбудил дворянскую молодежь. Уникальные таланты Пушкина и Лермонтова начинались по разряду провинциального байронизма. Восстание гвардии в декабре 1825 было вызвано байроническим вдохновением.

Я стою в толпе на большом литературном приеме в центре Манхеттена. Есть что-то античное в этих стоячих американских «парти» – кажется, будто кто-то тут околачивается с парой кинжалов за складками тоги. Где же Цезарь? А вот и он, автор чего-то «самого захватывающего, самого фундаментального». Знакомых лиц мало, пара-другая из тех, что когда-то посещали Москву, однако чувствуется, что ты в центре литературного истеблишмента. Поражает число высоких женщин. Высокие красавицы, как молодые, так и старые: отбор, очевидно, идет давно.

Я вдруг подумал не без грусти, что меня сейчас не очень-то интересует современная американская литература. Вдруг я осознал, что произошло какое-то испаре-

ние ностальгии. Сигаретные дымки над головами высоких женщин, чуть пониже симпатичные седины и плечи моих американских коллег, окно, охватывающее полнеба, за окном подмигивание стоэтажных финансовых столпов... – грустный момент утечки одного из ранних очарований.

Что случилось? То ли сама эта человеческая группа вместе с воплощающим ее образом ЗАПа так изменилась с прежних «хемингуэевских» времен, то ли она просто оказалась не такой, какой представлялась издавека, то ли я сам изменился в брюзгливости среднего возраста, то ли наша человеческая группа, именуемая «современной русской литературой» так основательно изменилась после того, что пришлось хлебнуть... Рассеялась аура отдаленных пространств, открытого мира, рискованного предприятия, нынче для меня американская литература просто встала в ряд других западных литератур.

Аурой рискованного предприятия нынче окружена сопротивленческая литература Восточной Европы и Советского Союза. Может ли современный писатель найти для себя более головокружительное приключение, чем литературное изгнание?

Сказав об утечке особого интереса, я вовсе не расписываюсь в равнодушии. Напротив, я полон профессионального любопытства и на правах члена Американской авторской гильдии постоянно обзираю уже частично как бы и свое профессиональное поле.

Обрз ЗАПа, и в самом деле, престраннейшим образом изменился под увеличительным стеклом американского быта. В принципе ведь и везде писатель озабочен созданием и сохранением персонального обличья. В Советском Союзе поэт Островой, автор бессмертной строки «Я в России рожден, родила меня мать», ни при каких обстоятельствах не снимает тяжелых очков. «Народ знает меня в этих очках!» – заявляет он. ЗАП тоже

не меняет обличья, не запускает бороды или, наоборот, не бреется, если был бородат к моменту своей славы, держит в зубах погасшую сигару, даже если она ему осточертела, живет в отшельничестве, если за ним повелась репутация отшельника.

Общество обожает ЗАПа, он – любимец, такой немножко как бы капризуля; из множества мифов он один из самых обаятельных, он, кроме всего прочего, и сам является персонажем американской литературы. Процент «писателей» из общего числа персонажей – весьма внушителен. Начинающий писатель пишет роман о начинающем писателе. Приходит первый успех, и появляется книга о первом успехе. Разочаровавшись в приманках славы, писатель пишет о писательском разочаровании. Начинается период семейных неурядиц, измен, адюльтеров, и появляется роман о писательских разводах, изменах, адюльтерах...

Соблазн велик, знаю по себе. Каждое утро, садясь к столу у окна над крышами Вашингтона, хочу написать: «Мистер Акселотл, писатель в изгнании, сел к своему столу у окна над крышами Вашингтона». Увы, обуживаю свой нарциссизм: надо подумать, господа, и о молодых литераторах.

Первая проба профессионализма – написать не о себе. Начинающий писатель, однако, смотрит на своих старших собратий: все пишут о собственных геморроях, а почему мне нельзя? В результате, в «Атлантиках» и «Харперсах» появляются почти неотличимые друг от дружки рассказы, составленные по такой приблизительно схеме.

Сентябрьским вечером, сидя на крыльце своего дома, Шейла М. ждала гостей. Она была стройна (120 lb) и обладала пышной каштановой гривой, парой (!) голубых глаз и смугловатой кожей, залитой закатным солнцем (sic!). Спокойно и грустно она думала о своих

литературных успехах и о недостатках своей половой жизни.

Недавно она получила за первый сборник своих рассказов большой приз от «The National Endowment», но зато Брюс В., который только что ее покинул, спал с ней не чаще, чем два раза в год, то есть за те пять лет, что они провели вместе, он спал с ней десять раз. Иные спят по десять раз за раз и ежедневно, то есть 3650 раз в год или 17250 раз за пять лет. В чем причина нашей странной бессонницы?

В стареньком фольксвагене подъехали гости, университетская подруга Шейлы М. Джин С. (несомненно, вторая Шейла М.) и ее бойфренд Гордон Ш. (несомненно, третья Шейла М.). С первого взгляда было видно, что пара наслаждается избытком половой жизни, близким к выше упомянутой калькуляции.

Втроем они сделали салат из латука и немножечко покушали. Ночью Гордон Ш. пришел к Шейле М. и разбудил в ней женщину. Возможны варианты.

Утром они снова ели салат из латука и обсуждали свои литературные дела. Шейла рассказывала замысел своего романа об одинокой женщине-прозаике, Джин говорила о премии, которую ей обещали в «National Endowment» за новую книгу стихов, Гордон поведал о своих мощных усилиях в Голливуде.

Несколько перемещений в толпе манхеттенского приема – подальше от Брута, подальше и от Цезаря, – и я оказываюсь рядом со знакомым ЗАПом; книги его читал еще в переводах, а самого встречал на международных конференциях. В разговоре *он* жалуется *мне* на неприятности с цензурой. Вот именно с цензурой, сэр! Вы думаете, только в России существует цензура? Недавно в Миссури школьный совет округа Тьмутаракань постановил изъять мои книги из библиотеки. Их, видите ли, смущают некоторые четырехзначные слова и некоторые фривольности моих персонажей. Вот вам

новое наступление ханжества, как во времена Маккарти! В Советском Союзе мои книги все-таки переводятся и издаются, не так ли?

Я почесал в башке. Кажется, сэр, я знаю, как решить проблему со школьной библиотекой в Миссури. Нужно сделать обратный перевод с советских изданий на английский, и, ручаюсь, никаких неприятностей у вас больше не будет.

Он посмотрел на меня в некотором смущении. Прошу прощения, старина, в самом деле не очень-то уместно было говорить о цензуре именно с вами.

В одном университете после лекции меня спросили: знают ли в СССР ведущих американских писателей? Не без осторожности я задал встречный вопрос: каких именно писателей имеет в виду студент? Он назвал имена из списка бестселлеров. Пришлось развести руками. Эти имена почти неизвестны активной читающей публике в России. Я и сам их не знал, пока не приехал в эту страну, а, между тем, именно они волей-неволей направляют массовый литературный вкус, хотя, возможно, меньше всего думают об этом предмете.

Для читающей публики в России существует другая американская литература. Переводчики, надо отдать им должное, отбирают книги не по количеству проданных экземпляров, а по приметам так называемой «серьезности». Конечно, в тех случаях, когда не удастся обойти идеологический частокол, переводчики подвергают американских авторов порядочной стрижке с удалением не только излишней волосистости, но и кусочков плоти, но все-таки, благодаря высокому уровню переводческой школы, советские читатели смогли в течение последних двадцати пяти лет познакомиться с рядом блестящих имен.

Особенно-то четкой границы между «серьезной» и «коммерческой» литературами, как я понимаю, сейчас нет. Иной раз и «серьезные» попадают в золотые списки,

другой раз и постоянные обитатели этих списков демонстрируют твердую руку и серьезность проблем. И все-таки ориентировка на списки торговых рекордов вызывает к жизни не только несметное число безвкусицы, но и особый тип пишущего человека.

Однажды я познакомился с романистом, который на вопрос, какого рода книги он пишет, ответил просто: бестселлеры. К сожалению, плоховато продаются, добавил он.

В определенном смысле коммерческая литературная халтура имеет некоторое сходство с идеологической литературной халтурой. Как-то раз на телебеседе дамочка-писательница делилась секретами своего ремесла. Прежде чем начать новую вещь, говорила она, я тщательно изучаю спрос. Писатель, она поднимала приятный пальчик, должен знать литературный рынок. Легко воображаю эту дамочку в роли члена Союза писателей СССР. Таким же благообразным тоном: писатель должен изучать последние партийные документы, быть в курсе решений партии по литературным вопросам.

Кружным путем сообщество авторов бестселлеров напоминает советскую партийную номенклатуру: в нее трудно попасть, но из нее почти уже невозможно выпасть. Нынче в американской литературе книга часто становится бестселлером, потому что она написана автором бестселлеров. Читатели доверяют этим авторам, полагая, что вкладывают деньги в стоящее солидное дело. Авторы стараются поддерживать «торговую марку», выдавать на горá то, чего от них ждет рынок. Вырабатывается коммерческая инерция, под которую нередко подпадает и «серьезная литература». Тут не до экспериментов.

К внутриамериканской торговой инерции я отношу и равнодушие к иностранным книгам. Успех итальянца Умберто Эко уникален. Один книготорговец как-то объяснял мне: пролистывая новую книгу и находя в ней иностранные «трудные» имена, наш массовый читатель

автоматически откладывает ее в сторону. Забавно, не правда ли, для страны, где добрая половина населения состоит из Джонов Домбровичей и Джейн Дзапарелло. В России, между прочим, наоборот – при виде иностранных имен читатель заинтригован.

Любопытно, что литературная критика очень мало влияет на продажу, она как бы существует вне коммерческой сферы. Вряд ли найдете вы в солидных еженедельниках рецензии на самое «горяченькое», иной раз лишь что-нибудь сквозь зубы, глуховато-ироническое, однако авторы бестселлеров в положительных рецензиях, видно, просто не нуждаются: они уже в *списке*! Воспитание литературного вкуса происходит в замкнутом кругу лиц с хорошим литературным вкусом.

Приближаясь к завершению этих заметок, я раскланиваюсь в любезной позе, насколько могу. В какой-то степени я и сам уже часть этой литературы (и не только на правах «национального меньшинства»), литературы, в которой все еще, несмотря ни на что, крутится хвост йокнапатофского мула, взлетают в воздух испанские мосты, бренчит джаз бит-поколения и ковыляет раненый кентавр Новой Англии. Страдает ли литература от сожительства с долларом или что-то от этого выигрывает – вопрос еще открыт. Увы, человечество пока не придумало системы отношений, более естественной, чем деньги. То, что нам предложил Карл Маркс, на деле оказалось возобновлением отношений до-денежной поры. Это, впрочем, не может отобрать у писателя право на когти. Венецианский книжник-лев лицом своим располагает к чтению, к писанию – когтями!

В 1975-м, после двухмесячного визита в США, я написал свою первую книгу об Америке «Круглые сутки нон-стоп». В ней не было почти никакой критики, я не заметил – или не хотел замечать – никаких теней. Аме-

риканский туристский восторг был, очевидно, лишь частью моего советского гнева, ответом на тупую официальную антиамериканщину. Вся моя критика в те годы шла в адрес отечества и завершилась, как известно, потерей отечества.

Сейчас, после четырех лет американской жизни, я пишу свою вторую книгу об Америке. Теперь я вижу не только светлые окна, но и сырые углы своего нового дома. Надеюсь, хоть на этот раз не выгонят.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОВЕСТИ, НАПИСАННОЙ 20 ЛЕТ НАЗАД

В один из первых дней в Сан-Франциско я зашел в книжный магазин «Знание». Денег было не густо, покупать я ничего не собирался – впрочем, все-таки купил «Железку» и «Ожог» Аксенова, – я просто изучал содержимое полок. Занятие всегда захватывающее. И вот, вытаскивая книгу за книгой, я вдруг обнаружил «Обитаемый остров» Стругацких. Книга была в мягкой обложке, с теми же иллюстрациями, что и в детгизовском «Острове». Я хорошо знаю издания произведений Стругацких, но о такой книге не слышал. Это оказался репринт, копия советского издания, выпущенная в Штатах.

Это означало – по крайней мере, – что есть читатели, что советское издание распродано и рентабельно было выпустить репринт.

Теперь, прожив девять месяцев в Штатах, читая русские газеты, получая бюллетени и каталоги русских книжных магазинов, я не удивляюсь, находя почти в каждом каталоге, почти в каждом рекламном объявлении книги Стругацких. Это и советские издания, и репринты с советских изданий. В старых каталогах можно найти одну книгу, вышедшую на Западе, но так и не напечатанную в Союзе – «Гадкие лебеди». Но только в каталогах. Саму книгу купить невозможно – библиографическая редкость. (Например, молодой исследователь творчества Стругацких Скотт Сэмюэл – он недавно защитил докторскую диссертацию о Стругацких в Стенфорде – вынужден был в университетской библиотеке снять копию с этой книги. Дефицит.)

Думаю, не ошибусь, если скажу, что из писателей, живущих ныне в Союзе, Стругацкие – самые популяр-

ные у зарубежной русскоязычной публики. Мы ведь привезли эту любовь с собой.

И в Союзе, если ориентироваться на разные опросы – официальные и неофициальные, – да и на опросы западных русистов, бывавших в СССР, Стругацкие в первой пятерке наиболее читаемых писателей*. Не удивительно, что, начиная в Нью-Йорке выпуск альманаха «Букинист», его издатели напечатали повесть Стругацких «Хищные вещи века» в первом же номере.

«Хищные вещи века» – давнишняя повесть. Написанная в самом конце оттепели и вышедшая уже в начале нового периода, после воцарения Брежнева, эта повесть была изжевана цензурой. Что-то пропало, кое-что прибавилось (в том числе предисловие), и в 1965 г. издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу «Хищные вещи века», две повести под одной обложкой – «Хищные вещи века» и «Попытка к бегству».

Пожалуй, будет неточно сказать, что «Хищные вещи века» написаны как бы в одну эпоху, а появились в другую. На самом деле повесть и писалась, и опубликована была во время довольно длительного пограничного периода, отделяющего одну эпоху от другой. Начало этого пограничного периода, или, точнее, пожалуй, знак, который невозможно было не заметить, – «встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией» (середина декабря 1962). Затем – вторая, 7-8 марта 1963 года. Разного рода мразь, замаскировавшаяся было, вылезла вдруг из щелей и расползлась, оставляя смрадные следы и на газетных полосах, и в душах самой «творческой интеллигенции». Замечательно написал об этом Аксенов в «Ожоге». Эти декабрьские и мартовские дни определили судьбы мно-

* Забавный пример советской популярности: следователь, допрашивавший Бориса Стругацкого по делу М. Хейфеца, после допроса вытащил «Далекую Радугу» и попросил автограф.

гих написанных и не написанных еще книг, судьбы многих людей.

Если говорить о Стругацких, то именно эти дни превратили веселый и забавный роман – как бы космический вариант «Трех мушкетеров», – который они тогда писали, в иную, совсем не веселую книгу. Они называли эту книгу «Трудно быть богом». Благородный Атос (Румата) и простодушный великан Портос (барон Пампа) увидели вокруг себя отвратительный корчащийся мир, мир предательства и насилия.

Следующая мета, следующая веха этого периода – голосование в Комитете по Ленинским премиям (апрель 1964 г.), когда «Один день Ивана Денисовича», расхваленный самим Хрущевым, не получил премии. Солженицын в «Теленке» пишет: «...в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была «репетицией путча» против Никиты».

А дальше и самого Никиту схарчили, но это еще не был самый конец. Да и новые власти, в оппозицию старым, порывшись, показали свету кое-что при Хрущеве запрятанное, закрытое, запрещенное.

Я хорошо помню, как на Невском, буквально в соседних кинотеатрах, появилась «Застава Ильича» («Мне 20 лет») и «Председатель». Весной 1965 г. вышел том Бориса Пастернака – с предисловием Синявского, – появился том Цветаевой, потом «Бег времени» Ахматовой.

Для нас, ленинградцев, очень заметным и важным было еще одно событие.

В конце 1963 г. (29 сентября) в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья об одном молодом поэте и переводчике, она называлась «Окололитературный трутень». Я не очень представляю, что знали об этом поэте за пределами Ленинграда, полагаю, что если кто-то из москвичей знал о нем, то в иных городах слыхом не слыхивали. Так или иначе, ленинградцы знали тоже очень немного – небольшая папка его стихов ходила по рукам.

Но после статьи и потом, после того, как он был арестован (13 февраля 1964), его имя стало известно многим. Его звали Иосиф Бродский. Ему было тогда 23 года. Его стихи, все ту же подборку, перепечатывали и переписывали с невероятной быстротой. «Пилигримы», песню на его стихи, пели в компаниях (вообще мы тогда очень много пели).

18 февраля, в день первого слушания дела, на Фонтанке, у здания суда, собралась большая толпа.

Это было впервые на моей памяти. Впервые – для нас – судили поэта. Поэта, строки которого – даже у тех, кто полгода назад не слышал о нем, – были на устах.

Мнимая аполитичность Бродского – чья-то шутка или глупость. Бродский всегда очень ясно видел и понимал свое место – место поэта – во времени. Всегда он вглядывался во время. (Бóльшая политизированность разве существует?) Да и вообще, как это русский поэт может быть аполитичным?

Прощай,
позабудь
и не обессудь.
А письма сожги,
как мост.
Да будет мужественен
твой путь,
да будет он прям
и прост.
Да будет во мгле
для тебя гореть
звездная мишура,
да будет надежда
ладони греть
у твоего костра.
Да будут метели,
снега, дожди
и бешеный рев огня,

да будет удач у тебя впереди
больше, чем у меня.
Да будет горяч и прекрасен
бой,
гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех,
которым с тобой,
может быть,
по пути.

Разве эти стихи стоят особняком в литературе 60-х годов? Хорошие они, плохие, средние – это все не имеет значения сейчас. Мы читали эти стихи тогда, читали вместе с другими стихами, это было наше. В этих стихах наше общее тогдашнее представление о мире.

Я хочу сказать, что Бродский был, во всяком случае для нас, ленинградцев, одним из нас, одним из тех, кто обращается к нам (совсем не важно, что стихи не были напечатаны типографским способом). Он был наш:

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать,
На Васильевский остров
Я приду умирать...

И те, кто знаком был с Бродским до суда, и те, кто услышал о Бродском впервые после его ареста, вдруг поняли, что одного из нас, такого же, как мы, думающего и чувствующего, как мы, можно вдруг схватить на улице и, устроив безумное, чудовищно глупое представление суда, запрятать куда-нибудь*.

И в нашем сознании, и в представлении нашем о времени все это смешалось, слилось: и пленум, и заме-

* В марте 1964 г. Бродского, как тунеядца, приговорили к пяти годам принудительных работ и отправили возить навоз в Архангельскую область.

чательное издание пастернаковских стихов, и суд над Бродским, и «Мне 20 лет», и первые разговоры об обысках. (Я говорю о тех, чьи представления формировались в тот период, кому было тогда шестнадцать, семнадцать, восемнадцать.)

Я думаю, реальный несомненный конец оттепели наступил не в ноябре 1964-го. Концом, опять же знаком конца, стал процесс Синявского и Даниэля.

Вот этот-то странный период, переходный период, где все было перемешано, и есть время создания и появления «Хищных вещей века».

Что же такое – эта повесть? Она, конечно, дитя своего времени. Еще не умерли иллюзии, но уже возникает в сознании образ, точнее, разные варианты картины, которую проще всего выразить словами: «Нас это не касается».

Вдруг – для многих вопрос: как прожить, выжить бы! – сменился другим, точнее – другими. Как купить машину? Где добыть финский кафель для ванной? Финские обои! Ботинки «Саламандра»! Это – наши вопросы. А ваши Пастернаки, какие-то Известные... – это нас не касается.

И вот под пером Стругацких возникает картина общества, в котором всем все равно, в котором никто никому не нужен, уже даже не нужно ничего доставать, ни машину, ни башмаки «Саламандра» – тот самый коммунизм, который, по слову Никиты, должен наступить через двадцать лет, – люди уходят в иллюзорный мир, давно, и незаметно для себя, переступив грань, за которой они уже теряют человеческий облик. Точнее, облик разумных существ.

Общественная пассивность – вот что пугает Стругацких больше всего.

Это повесть о пассивности. Эта повесть – плакат.

Общество, которое показывают нам Стругацкие, – сытое общество, где люди не знают, куда себя деть. Водка. Азартные, смертельно опасные игры. Чтобы хоть

как-то расшевелиться. Чтобы кровь в жилах побыстрее текла. И вот – новый страшный наркотик – «слег». «Слег», который в состоянии заместить эту скучную повседневность. Может заменить жизнь. Дающий – во сне – радость живых чувств, ярких и словно бы подлинных ощущений. Вы меняете в обычном репродукторе одну маленькую ерундовую детальку, наполняете ванну теплой водой, включаете радио, ложитесь в ванну. И невиданный – настоящий! – мир открывается вам.

Кто-то ныряет в мир «слега», надеясь испытать нечто необычайное, от пресыщенности; большинство – от скуки, тоски, спасаясь от пустоты. А некоторые – от ужаса, от бессилия, от невозможности изменить что-либо. Этот свинский мир не переделать, говорят они.

Делайте с нами, что хотите. Манипулируйте нами. Нас это не касается (или – теперь нас это не касается). Не это ведь подлинная жизнь. Подлинная жизнь в ванне, наполненной теплой водой.

Закройте глаза! Не нужно просыпаться!

Чиновники, обрушившиеся на повесть, во многом были не правы. Стругацкие вовсе не предсказывали нам такое будущее. Даже нельзя сказать, что они предостерегали. Они просто доводили до абсурда имеющиеся в обществе тенденции, чтобы мы, все мы, увидев, поняв, дружно отвернулись, отшатнулись от этого. Нет, совсем не думали Стругацкие, что такой мир может когда-нибудь возникнуть. Нет, они ни на минуту не представляли себя жителями вот такой Страны Дураков.

Ведь мы никогда не допустим такого, все мы нормальные. Мы же не для этого родились на свет, чтобы жить в Стране Дураков.

Нам казалось, что все от нас и зависит. Что-то дается с легкостью, что-то не так легко. Но если мы захотим, захотим по-настоящему, то сделаем. Вот так мы думали тогда. Это правда, мы так думали.

Полагаю, что лицо нашего поколения – скептическая усмешка – возникло, застыв окончательно, только в

конце 60-х. А в середине 60-х мы верили. В свои силы. В свои возможности все изменить. В мир, который мы построим сами.

Потом, уже лет через десять, казалось, что мы такими и родились на свет – с кривой усмешкой. Уже в начале 70-х Борис Стругацкий говорил мне, сравнивая поколение, к которому он принадлежит (он родился в 1933), и поколение, к которому принадлежу я, что когда им было по 20, то жизнь представлялась в виде дороги, без конца, без горизонта, и они покатят, веселой компанией, по этой дороге, под синим небом, под солнцем, вперед и весело. «Вы – другие», – говорил мне Борис Натанович. Да, это правда, мы в 20 лет уже не верили ни во что. Наш юношеский оптимизм быстро улетучился*.

Странно, конечно, что люди так по-разному оценивают – примеряя к себе – одно и то же время. Но люди не цыплята, выскакивающие одновременно из инкубатора. Меня поразило – когда я узнал об этом, – что я жил, еще не расставшись с иллюзиями (думаю, что не я один, но также и многие, кто принадлежал к другим поколениям), в то время, как Солженицын уже писал «Архипелаг ГУЛАг» – он закончил «Архипелаг» в 1967 году, когда большинство из нас только начало оглядывать мир новыми глазами. Впрочем, уже взрослым человеком я прочитал «1984» Орвелла, и оказалось, что в этой книге, появившейся на свет в том же 1949 году, что и я, написано все обо мне – это не перестает меня поражать, – о мире, в котором я буду жить, т. е. о мире, в котором я появлюсь на свет. И путь, который проделают мои мыс-

* См. чудесное стихотворение Юнны Мориц, под которым стоит дата 1968:

Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.

С тех пор прошло четыре лета.
Сады – не те, ручьи не те.
Но помню просветленье это
Во всей священной простоте...

.....
(«Лоза». М., «Сов. писатель», 1970, стр. 43)

ли, уже пройден еще до моего рождения. Вот я добываю эту книгу, открываю ее, читаю, и оказывается, что это важное письмо, давно отправленное мне, шло 25 лет.

Так тоже бывает.

То, что хотели сказать нам Стругацкие, мы услышали тогда же; Стругацкие говорили о том, что волновало нас, о чем мы сами разговаривали, бродя по городу, собираясь компаниями друг у друга. Это было для нас очень важно. Мы ждали такой книги. Это был действительно плакат, который мы взяли бы расклеивать повсюду.

Плакат – это агитация. Агитаторы рассчитывают, что их речь, их резоны будут поняты. Агитаторы рассчитывают, что аудитория, к которой они обращаются, – почти с ними, может их понять, непреодолимого барьера нет.

Ведь все же мы не хотим такого! Ведь каждый из нас ужасается, воображая такое общество! Представьте себе, мы могли бы превратиться в такую вот безмозглую пассивную толпу! Посмотрите! Мы вам изобразили это! Глядите!

И казалось – впрочем, не так уж долго, – что слова эти услышаны*, что гримаса отвращения и ужаса (собственно, это и есть содержание «Хищных вещей века») передалась читателям. И эти читатели, эти социально активные читатели – кругом. Они думают, чувствуют, видят. Они не захотят превратиться в машины...

Правда – и это тоже стало ясно очень скоро, – что если не говорить абстрактно: «думающий человек», а говорить о каких-либо социально активных группах, то только «физики»**, молодые научные работники, те

* Слышали, конечно, не только Стругацких. Появилась «Оза» Вознесенского, Аксенов в феврале 1965 года написал «Победу». Можно привести целую страницу примеров. Называю первое, что приходит в голову.

** Именно они, условно говоря, «физики», – надежда новой эпохи, рассудили мы тогда. О них, именно об этом, Аксенов написал по-

самые физики, которые еще недавно противопоставлялись «лирикам», оказались единственной нонконформистской группой, способной – в разумных пределах – думать и действовать. Конечно, через какое-то время и эта группа оказалась запуганной, купленной и, в конце концов, парализованной. Но все же она продержалась независимо сравнительно долго*.

Скажем, литераторы довольно-таки неохотно откликались на беды своих братьев-литераторов. Может быть, раз только или два они выступили как группа. А дальше мы уже слышали голоса некоторых писателей, то есть просто голоса людей самих по себе, никакой группы не представляющих.

Тогда же, 20 лет назад, Стругацкие обращались к единомышленникам, и мы все вокруг были единомышленниками; единомышленников, казалось, большинство. Во всяком случае, думали мы, – думал я 20 лет назад, – мы же, именно мы и заменим этих остолопов, ну пусть через десять, пусть даже через пятнадцать лет. Мы должны хотеть, гореть, бороться...

Но ничего этого не произошло.

И остолопы нашли себе замену среди нас, и те, с кем мы вместе закуривали, пили вино, закусывая плавленым сырком, они горят, хотят, борются – за себя. За свои – в конечном итоге – удовольствия, за свой «слег».

В прессе повесть была оценена довольно единодушно. Первая статья, может быть, самая глупая, но зато самая откровенная, появилась в «Известиях» (19 янв.

весть «Золотая наша железка». Они же – герои книги Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Они же сами, новосибирские ученые, и отметили эту книгу о себе специальным призом.

* Особенно сплоченные группы в Новосибирске, в Дубне или, например, за спиной академика Капицы.

Понятно, что им было как бы проще держаться. Проще, чем, скажем, литераторам: физикам позволялось фрондировать, так как власти считали их для себя гораздо нужнее. Но это, конечно, вовсе не оправдание для кого-то и не умаление сделанного «физиками». Это просто другая тема, другой вопрос.

1966). Написал ее литератор Владимир Немцов. Посвященная практически целиком последним книгам Стругацких, статья эта производила удручающее впечатление. Обвинения в антигуманизме, непонимании законов социального развития, в пристрастии к «альковным сценам», грубому, грязному языку... Хватит? Сразу видно – замечательная статья! Называлась она тоже очень оригинально – «Для кого пишут фантасты?» Самый милый пассаж я процитирую – не могу отказать себе в таком удовольствии: «Следует сказать, что авторы с помощью громких тирад и заклинаний пытаются обличить этот мир животной сытости и умственной деградации. Но обличения не получается, как не получается и обещанного в предисловии гротеска. Вещи оказываются не столько хищными, сколько привлекательными».

Еще бы! Он-то, литератор Немцов, именно о такой житухе и мечтает.

Правда, писатель Иван Ефремов выступил в «Комсомольской правде» в поддержку Стругацких, а затем в «Литературке» критики Е. Брандис и В. Дмитриевский ответили на самые грубые и глупые наскоки Немцова. Впрочем, отвечали они так: «Конечно, это не значит, что Стругацких не за что критиковать...» «Можно и нужно критиковать Стругацких...» («Лит. газ.», 1 февр. 1966, «Фантасты пишут для всех»). Осторожные люди, не правда ли?

Для равновесия «Литературка» предоставила свои страницы некоему М. Федоровичу, заслуженному деятелю наук. М. Федорович, оценив повесть взглядом профессора-экономиста, нашел ее совершенно антинаучной.

«Литературная Россия» тиснула статью Михаила Ляшенко под названием «Без прицела». Думаю, не стоит ее цитировать?

Завершила этот свободный диспут газета, которая его и начала. 26 мая 1966 г. академик Ю. Францев поместил в «Известиях» свою статью «Компас фантастики».

Основной тезис ее был таков: «Как может художник писать о жизни общества, ни одним штрихом не выдав его социальной сущности?»

Впрочем, все эти литераторы, академики и профессора – дилетанты. С научной объективностью взглянул на «Хищные вещи века» зам. директора Института мировой литературы им. Горького Петр Васильевич Палиевский, эрудит, черносотенец, антисемит. Как и полагается теоретику – не сразу, не по горячим следам, а по прошествии времени, подумав. В 1969 г. в сборнике «Искусство нравственное и безнравственное» он опубликовал статью «К понятию гения». (Эта примечательная статья, которая потом дважды перепечатывалась в авторских книгах Палиевского, заслуживает, между прочим, особого разбора.) Так вот, «Хищные вещи века» выбрал Палиевский, чтобы проиллюстрировать свой тезис об элитарности и антигуманности всякого псевдоискусства. Псевдоискусство – это: Хлебников, Стравинский, Пикассо, Сомерсет Моэм, Ингмар Бергман, Дмитрий Шостакович. Стругацкие попали просто в фантастическую компанию!*

Итак, вот коротенькая история этой повести в контексте времени.

Стругацкие не писали больше подобных книг, плакатов, обращенных ко всем, требующих немедленного внимания, решения, единения. Правда, через два года они написали повесть как бы о том же – о безразличии и

* Любопытно, что в своей статье (во всех трех ее изданиях) П. В. Палиевский приводит, между прочим, цитату из послесловия к книге Стругацких «Далекая Радуга». В этом не было бы ничего странного, если бы это послесловие не написал Рафаил Нудельман – ныне редактор журнала «22».

Однако Палиевский называет Р. Нудельмана по имени.

В советской печати никогда – кроме специальных, конечно, случаев – не упоминают уехавших. Но, видимо, цензура не считает нужным бдительно читать Палиевского, сам же он, естественно, полагает унизительным что-либо менять в своих, вошедших уже в историю статьях.

пассивной покорности обывателя. Эта повесть, названная авторами «Второе нашествие марсиан» (первое было описано Гербертом Уэллсом) – горькая сатира. Это совсем не плакат. Авторам заранее ясно – об этом они и пишут, – как поведут себя люди. Согласятся не только на любую власть, но еще и восхвалять ее будут. Да и новая эта власть – марсиане – не душами интересуется, даже не кровью, а желудочным соком. Нужен им зачем-то желудочный сок. Каждому велено являться на специальный пункт и сдавать. Так и сдадим, а почему бы и нет?

В то время, когда писалось «Второе нашествие марсиан», было уже ясно – сдадим. Сдадим, скрепя сердце. Сдадим добровольно. А там, глядишь, и с удовольствием.

Так что следующие повести Стругацких были о другом. Совсем о другом.

Началась другая эпоха. В том же году, когда Стругацкие писали «Второе нашествие марсиан», Бродский написал замечательные стихи «Остановка в пустыне»:

...Когда-нибудь, когда не станет нас,
точнее – после нас, на нашем месте
возникнет тоже что-нибудь такое,
чему любой, кто знал нас, ужаснется.
Но знавших нас не будет слишком много.
.....

Сегодня ночью я смотрю в окно
И думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
От православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

Менялось время, и мы менялись, и невеселые мысли о времени, которое давит, крушит, прихлопы-

вает, словно комара, не замечая, эти вот невеселые мысли нашли свое выражение в таких замечательных книгах Стругацких, как «Улитка на склоне», «Гадкие лебеди», «За миллиард лет до конца света».

«Не важно, какая сила на вас действует, – говорит академик, один из героев повести «За миллиард лет до конца света», – важно – как вести себя под давлением».

Об этом последние повести Стругацких.

Несломленная Польша на страницах «Русской мысли»

I

(Декабрь 1981 – декабрь 1982)

Сост. Наталья Горбаневская

Париж, 1984. Издание «Русской мысли».

276 стр. Цена 30 фр. фр.

Первый выпуск – первый год «польско-ярузельской войны»

Сжатое воспроизведение еженедельных обзоров польских событий, основные аналитические статьи, тексты из польской подпольной прессы.

Малый формат и тонкая бумага позволяют этой книге стать лучшим подарком для ваших друзей на родине.

Заказы направлять в редакцию:

La Pensée Russe, 217 rue Fb.-St. Honoré,
75008 Paris.

Литературный архив

К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ «ТИХОГО ДОНА»

От редакции: Вопрос об авторстве «Тихого Дона» возник не десять лет тому назад, когда Александр Солженицын опубликовал работу Д* «Стремя „Тихого Дона“». Сам автор этой работы ссылается на давние слухи и споры вокруг вероятности шолоховского плагиата. Проф. Игорь Качуровский прислал нам из Мюнхена красноречивый документ – письмо Аллы Гербурт-Йогансен, направленное в Шведскую Королевскую Академию после присуждения Шолохову Нобелевской премии по литературе. Это письмо содержит важное свидетельство, которое дополняет и укрепляет аргументацию исследователей шолоховского плагиата. Публикуется письмо впервые.

Alla Herburt
8 München 54, Diamantstr. 16/II

24 ноября, 1965

В Шведскую Королевскую Академию
СТОКГОЛЬМ

ДЕЛО: *Награждение Нобелевской премиею
члена ЦК КПСС М. Шолохова*

MATTER: *Awarding Mr. M. Sholokhow with the Nobel
prize for literature*

Многоуважаемые господа члены жюри!

Недавно вы присудили Нобелевскую премию советскому писателю М. Шолохову за повесть «Тихий Дон».

Узнав об этом, я сочла своим долгом поделиться с вами воспоминаниями, связанными с 30-ми годами, когда вышел первый том «Тихого Дона» Шолохова. Я жила тогда в СССР.

Может быть, сказанное мною поможет вам глубже понять это произведение, а именно, ту его двойственность – формальную и идеологическую, о которой часто упоминают литературные критики, объясняют ее по-разному, оправдывают ее требованиями партийной цензуры.

Один из них, Ю. Терновский («Библиографический бюллетень», Мюнхен, август 1955), пишет:

«...Шолохов – фаворит партийной знати. Но ведь Шолохова-писателя любят также многие тысячи людей, противников этой власти, которой он обязан своим благополучием. Как же это могло случиться? Почему Шолохову благодарны и те и другие...

...Объяснение, очевидно, следует искать в двойственности самого Шолохова: его общественно-политическая деятельность целиком подчинена интересам партийных вельмож; что же касается литературного творчества, то хотя оно во многом и потрафляет вкусам этих людей, но есть в нем что-то такое, что никак, что никак не соответствует интересам партийной пропаганды и остается органически чуждым ей элементом. Читатель запоминает и любит те шолоховские образы, которые не носят в себе партийного начала. Они выписаны ярко и правдиво, в то время как партийцы и прочие активисты выглядят бледно и непривлекательно. Шолохов даже горсточкой слов умеет брать читателя за сердце, но живые краски вянут в тех местах, где Шолохов как бы становится на горло собственной песне...»

Предсмертное свидетельство писателя Ивана Днепро-вского, может быть, поможет разъяснить загадочную двойственность тех произведений Шолохова, за которые он скоро станет Нобелевским лауреатом.

С 1930 до 1937 года я жила в доме писателей «Слово» в Харькове. Через своего мужа М. Йогансена я была знакома со многими литераторами. Как-то утром Иван Днепроvский, тяжело больной туберкулезом, позвал к себе своих лучших товарищей. «Иди и ты, – сказал мне Йогансен. – Днепроvский хочет рассказать что-то важное и интересное».

Поразили меня наголо побритая голова и измoжденное болезнью лицо страшной бледностью на фоне темно-красного ковра, висевшего у кровати. Он давно уже не вставал. Он говорил медленно, иногда делал паузы, чтобы перевести дыхание. Он рассказал, как во времена гражданской войны 1919-20 гг. его, после перенесенного сыпного тифа, мобилизовали в Красную Армию и, так как он был слабосильный, но «грамотный», поставили писарем в комендатуре той части, которая производила расправу с остатками неспособной уже к сопротивлению Белой Армии. Где-то на Дону, я забыла, где именно. Операции сводились к тому, что днем делали облаву, а ночью всех расстреливали из пулеметов. Вещи убитых командиров забирали себе. Однажды на рассвете, после очередной ночной расправы, в помещение, где дежурил Днепроvский (спать он не мог из-за грома канонады и страшных криков), вошел начальник с двумя деревянными чемоданчиками в руках. Он передал их Днепроvскому со словами: «Ты, Ваня, у нас литератор, понимаешь в литературе, возьми, прочитай и скажи, стоит ли чего эта писанина». Рукопись произвела на Днепроvского сильное впечатление: это была настоящая большая литература, но антисоветская. Об этом он сказал командиру, возвращая рукопись.

Через восемь лет, читая только что вышедший и сразу нашумевший «Тихий Дон», Днепроvский был поражен, узнав в нем произведение, которое в дни гражданской войны командир давал ему для оценки. Но оно было переделано так, чтобы сделать его просоветским.

Фамилию того расстрелянного офицера Днепровский называл, но я ее забыла. После некоторых колебаний Днепровский поехал в Москву. Сведения о Шолохове, которые он получил в тамошних литературных кругах, не противоречили наличию плагиата.

Бывший участник гражданской войны, маляр, грузчик, конторщик М. Шолохов с 1922 г. проживает в Москве. Малообразованный, но не лишенный литературных способностей, неглупый парень, уже с 1923 г. пробует печататься. Настоящий успех приносит повесть «Тихий Дон», вышедшая в 1928 г. Некоторым литераторам, знавшим Шолохова, бросалось в глаза то, что достоинство произведения, особенно I-й части, не соответствовало уровню развития автора и его знанию казачьей жизни. Его внезапное уединение в донскую глушь они объясняли необходимостью сделать его авторство «Тихого Дона» правдоподобным, а для этого изучить быт, нравы и диалект казаков, которые так хорошо переданы в «Тихом Доне».

Иван Днепровский явился на аудиенцию к М. Горькому, который возглавлял Горьковский Комитет при Союзе писателей, и рассказал ему о своем открытии. Горький очень внимательно выслушал, попросил подать заявление в письменном виде, обещал выяснить дело и дать ответ через пару дней. Напрасно ходил Днепровский целую неделю в Союз писателей в надежде на свидание с Горьким. Горький не принимал больше по болезни и скоро лег на лечение в Кремлевскую больницу. Один служащий московского Государственного издательства, украинец, знакомый Днепровского, которому Днепровский рассказал причину своего приезда в Москву, сказал: «Мы и сами это знаем. К нам в бухгалтерию вскоре после выхода „Тихого Дона“ приходила пожилая дама в трауре и требовала гонорар за это произведение ее сына. Мне жаль, что ты даром теряешь тут время, без денег в чужом городе, Горький ведь не

вернется. Мой тебе, Ваня, совет: возвращайся домой и никогда, никому про это не рассказывай».

Но пришел момент, когда он рассказал, и я тому рассказу свидетель.

В Харькове агенты НКВД два раза приходили арестовывать Днепровского. Но так как тогда уже состояние его здоровья настолько ухудшилось, что его нельзя было транспортировать, – оставили умирать дома.

Зато его друга М. Кулиша арестовали в тот момент, когда он шел на похороны Днепровского.

Говорили у нас, что аресты среди писателей, которые стали почти повальными, происходят не без указки Шолохова.

Загадочную же двойственность произведения Шолохова, за которое вы присудили ему литературную Нобелевскую премию, можно таким образом пояснить тем, что его писали два автора, различные по культуре и таланту. А как это могло случиться, вы теперь имели возможность узнать. Теперь вы, как и мы, будете молчать – ведь свидетелей нет, единственными свидетелями для читателя, одаренного литературным чутьем, могут быть сами страницы «Тихого Дона». Они ему подсказывают, что:

Читатель запоминает и любит те шолоховские образы, которые не носят в себе следов партийного начала, потому что они написаны казачьим офицером, художником слова, обладателем литературной культуры и вкуса. Именно поэтому они выписаны ярко и правдиво, а партийцы и прочие активисты выглядят бледно и непривлекательно, потому что они принадлежат руке Шолохова.

За сердце брать умеет рука убитого офицера, ему удастся даже горсточкой слов заставить читателя забыть о словесной шелухе, которую щедро рассыпала на страницах рука Шолохова.

Потрафляет вкусам партийных вельмож также рука Шолохова, но то что-то, что никак не соответству-

ет интересам партийной пропаганды и остается органически чуждым ей элементом, – принадлежит перу убитого автора, это те живые краски, которых не удалось убить даже Шолохову.

Не на «горло собственной песне» становится Шолохов, но на горло песне убитого офицера...

Это его, убитого автора, любят тысячи простых людей, противников той власти, которой один обязан своей смертью, а другой – своим благополучием. А партийные вельможи любят члена ЦК КПСС Шолохова. Вот почему автору «Тихого Дона» благодарны и те и другие.

Я не имею намерения повлиять на ваше решение о награждении Шолохова. Я свидетельствую о предсмертных словах писателя Ивана Днепровского только во имя правды, которая есть одна из основ мирового престижа вашей Академии. И если это свидетельство поможет вам понять, как опасно для этого престижа искать кандидатов для Нобелевских премий среди членов ЦК КПСС, то я писала вам не напрасно.

Кроме того, я хотела бы дать вам возможность в торжественный момент вручения Шолохову Нобелевской премии молча помянуть настоящего лауреата.

С полным уважением

А. Гербурт-Йогансен

P. S. Рассказанная мною история известна также проживающему в Мюнхене проф. Ив. Майстренко – 8 München 9, Schönstr. 70b

Колонка редактора

ЕСТЬ ЛИ У НАС БУДУЩЕЕ?

В свое время кем-то уже было справедливо сказано, что для того, чтобы уничтожить культуру какой-либо страны или народа, нужно только избавиться от первого мастера в каждой профессии: первого булочника, первого писателя, первого слесаря, первого артиста, каменщика, композитора, живописца и так далее. Сегодня в нашей культуре на родине сложилась именно такая ситуация. Солженицын, Ростропович, Макарова, Барышников, Любимов, Галина Вишневская, и, наконец, Андрей Тарковский – все эти бесспорные лидеры в своих областях в современной русской культуре – вынуждены, по тем или иным причинам, покинуть собственную страну и поселиться на Западе, а первый ученый России – Андрей Сахаров – практически лишен возможности заниматься наукой.

Отныне мы вправе задать себе вопрос: что ждет нашу культуру в условиях эмиграции, вне соответствующей среды, вне атмосферы языка, вне духовного и психологического взаимопонимания?

За десять лет своей довольно-таки сложной эмигрантской жизни я убедился, что на Западе даже сравнительно сведущие люди (к примеру, слависты) весьма смутно и приблизительно представляют себе (а порою и намеренно, в лукавых целях дезинформируют общественное мнение!), кто есть кто в нашей культуре и общественной жизни, подменяя серьезный анализ различных и своеобразных индивидуальностей расплывчатым понятием «диссиденты».

В результате все мы на Западе оказываемся, как бы на одно лицо: к примеру, великий писатель Александр Солженицын и его оппоненты – Икс, Зет и Игрек, о ко-

торых в России не слыхивали даже их собственные родственники, или Владимир Буковский и противостоящие ему «советологи» из числа засланной сюда агентуры ГБ.

Мне не раз приходилось выступать в разных странах, и часто на этих выступлениях весьма уважаемые и действительно сочувствующие нашим проблемам люди спрашивали меня с почти священным трепетом в глазах, действительно ли я знаком с самим Иксом и можно ли примирить точки зрения Сахарова и Зета?

Ну скажите мне, как, какими словами и доводами мог я объяснить этим милым, честным, сочувствующим нам людям, что этот самый Икс — мелкое, серое, никому не известное в России ничтожество, а Зет просто-напросто заштатный советский провокатор. Если бы я только попытался это сделать, меня бы зачислили в обыкновенные эмигрантские склочники. Увы!

Я помянул здесь о сочувствующих нам, но что же тогда говорить о кругах и лицах, настроенных к нам прямо враждебно. Эти идут еще дальше. Они просто-напросто назначают нам (точь-в-точь, как назначается в Советском Союзе номенклатура) ведущих писателей, специалистов во всех областях и диссидентов. В особенности этим отличаются некоторые профессора, общественные, политические деятели и журналисты. Раздуваются липовые авторитеты, цензурируются политически нежелательные имена (с моей фамилией, к примеру, это случается сплошь и рядом), подменяются уровни и понятия.

Приведу совсем недавний пример из собственного опыта. На предыдущее Рождество, в доме Мстислава Ростроповича, в Швейцарии первый канал западногерманского телевидения снимал фильм о Юрии Любимове, с которым мы вместе там в это время гостили. Хозяин дома и я говорили о герое фильма, нашем друге, какие-то соответствующие случаю слова, сам Любимов высказывался по поводу искусства и его судьбы в СССР в целом, работали операторы, суетился режиссер, меня-

лись кассета за кассетой. В результате, в окончательном варианте телефильма ваш покорный слуга был аккуратно из него вырезан, а на его место вставлен не присутствовавший там скромный переводчик с немецкого, которого западногерманская леволиберальная общественность «назначила» нам в литературные и политические учителя только за то, что тот послушно подтверждает все их благоглупости о Советском Союзе и коммунизме вообще.

Писать о подобных примерах из нашей жизни можно было бы до бесконечности.

Но я уверен, что теперь, когда на Западе оказались люди, которые являют собою гордость нашей сегодняшней культуры, ее высший уровень и точки профессионального и духовного отсчета в своих областях даже для того же Запада, положение в нашей среде коренным образом изменится и нам удастся наконец восстановить структуру нашей культуры с ее подлинными ценностями и настоящим качеством.

И только в этом я вижу залог нашего будущего.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

Наша почта

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Дорогой Владимир Емельянович!
Уважаемая редакция!

Пользуюсь случаем, чтобы присоединить к многочисленным поздравлениям и своё по случаю 10-тилетия Вашего журнала, постоянно приносящего радость читателям ТАМ и ЗДЕСЬ. По правде сказать, ТАМ приходилось читать журнал не регулярно, больше интересного материала доходило через радио. (До интенсивного глушения властью, «выполняющей» Хельсинкские соглашения.) Но последние 3 года, ЗДЕСЬ, являясь регулярным читателем, мне не хватает слов, чтобы выразить признание Вам и всей редакции журнала, ставшим самым любимым в нашей семье!

Считаю совершенно правильным поставленный в № 42 вопрос по поводу всё продолжающихся выкриков и абсолютно беспочвенных обвинений определенными лицами в антисемитизме и юдофобстве некоторых писателей и публицистов нашей эмиграции.

Прежде, чем говорить о прекрасной статье Льва Лосева в № 42, в которой он великолепно, с присущей ему эрудицией, анализирует в литературном и историческом аспектах новую книгу Солженицына, несколько слов о самом писателе.

Пожалуй, из всей нашей эмиграции, во всех странах нашего рассеяния, я знаю Солженицына ранее всех! (Не считая А. Шимкевича в Париже и где-то живущего Панина – ещё двух солагерников наших.) Наши различные судьбы сошлись в одной точке, в каторжном Особом лагере в Экибастузе, в 1949 году, где пробыл я до 1952 года, когда, как активист массовой забастовки, был этапирован в Норильск. Я и Солженицын жили в разных бараках в одной зоне, работали в разных бригадах, но ходили на один и тот же объект: строительство мехмастерских. Хотя и приходилось перекидываться изредка с ним отдельными фразами, но, откровенно, с Сашей Солженицы-

ным я не был близок (тогда он был для всех нас Сашей, ибо никто из носящих 4 белых одинаковых латки на одежде с номерами, не мог предположить, что он станет всемирно известным писателем). Однако мои близкие друзья зэки-евреи никогда не видели с его стороны, по своему более близкому общению, никакого проявления антисемитизма. (По понятным причинам, не могу назвать их полных имён и фамилий, хотя все наши дела хранятся в архивах КГБ со стандартным грифом «Хранить вечно»). Да если бы и было хоть какое-либо проявление антисемитизма, это привело бы не только к полной изоляции в лагере, того, кто его проявил, но и к разрыву всех отношений в будущем, на воле. И общение не с зэком уже, а с писателем Солженицыным на воле, после освобождения, после реабилитации, моих близких друзей-евреев продолжалось. К этому надо добавить, что именно там, в тяжёлых и невероятных условиях жесточайшего режима каторжного лагеря, характеры людей раскрывались полностью во сто раз быстрее, нежели в условиях воли.

Каждый вправе соглашаться или нет с его концепциями, кому-то может не нравиться литературное построение, возможно и язык, стиль и прочее, но обвинять и постоянно кричать во всеуслышание через средства информации о его якобы антисемитизме – это явная клевета, за которую в любом правовом государстве привлекают к уголовной ответственности. Этим лицам постоянно мерещится, что возрождение России как демократического и правового государства обязательно должно привести к черте оседлости и к еврейским погромам. Стремление писателя и всех нас видеть родину свободной, без коммунистической диктатуры, увидеть моральный и духовный подъём своего народа, теряющего эти качества уже на протяжении последних 67 лет, – естественное желание, свойственное истинному патриоту России, этим крикунам чудится через создание «Союза Михаила Архангела» и «Союза русского народа» с криками «бей жидов – спасай Россию».

Историк Ю. Фельштинский писал о них, об этих лицах, пугающих всех жупелом антисемитизма, в своей книге «Солженицын и социалисты» (изд. «Третья волна», Нью-Йорк), но они не успокаиваются. Мне хочется им напомнить всего лишь одну цитату из рассказа Солженицына «Пасхальный крестный ход»:

«Между верующими мелькают одно-два мягких еврейских лица. Может крещенные, может сторонние. Осторожно посматривая, ждут крестного хода тоже. Евреев мы все ругаем, евреи нам бесперечь мешают, а оглянуться б добро: каких мы русских тем временем вырастили? Оглянешься – остолбенеешь». Что скажут лица, любящие пускать жупел антисемитизма, прочтя эту цитату?

В своей статье «Коммунистический антисемитизм», опубликованной в двух номерах газетой «Украинское слово» (от 9 и 16. 9. 84), я писал об источниках коммунистического антисемитизма и описывал хронологически претворение его в жизнь (я уже вижу удивление некоторых, однако ничего удивительного нет, что украинская националистическая газета напечатала эту статью. Увы, но они более внимательно относятся к еврейскому вопросу в целом и к антисемитизму, исходящему из большого серого дома на Старой площади в Москве, нежели многие наши русские издания. Да и задача у нас всех первостепенная общая: освобождение от коммунистической диктатуры в стране).

Когда я дошёл до сего дня, то писал об инспирированном властью в стране так называемом «Антисионистском комитете советской общественности», во главе которого были поставлены еврей-ренегаты: отставной сталинский генерал Драгунский и профессор права Зивс. Кстати, о последнем, как о лжеце и человеке, имеющем свободный доступ в КГБ и к его бумагам, писал в своих воспоминаниях академик А. Д. Сахаров (см. «Континент» № 36). Выполняя заказ своих хозяев, эта явно антисемитская организация устроила в Москве пресс-конференцию, где с пеной у рта пыталась доказать идентичность и близость сионизма и нацизма (см. «Литгазету» от 17. 10. 84). Вот бы куда направить этим лицам свою энергию и свой жупел антисемитизма, но они или не знают, или делают вид, что не знают ни об этой антисемитской организации, ни об этой позорной пресс-конференции, зато здесь увлеклись навешиванием грязных ярлыков на честных писателей и публицистов.

Что касается эрудированного рецензента новой книги Солженицына, всеми уважаемого Льва Лосева, то обвинение его в «юдофобстве» – сущий бред! Что подделаешь, коль анархист Богров был всё же евреем? Что подделаешь, если он по проходу в театре пробирался, как змея? ИСТОРИЮ НЕЛЬЗЯ

ПЕРЕЧЕРКНУТЬ! Можно ли вычеркнуть из народников евреев Либермана, Натансона, Иохильсона, Эпштейна и других? Можно ли вычеркнуть из дочерней организации народников, партии социал-революционеров, евреев Гоца, Осинского, Колдакевича, Кроника, Каплан и других? Это они, словно играя в фантики, клали в шапку бумажки со своими фамилиями и тащили жребий, кому совершить очередной террористический акт. И достоверно известно, что Ленин безумно восхищался террором народников и террором социалистов-революционеров. Не потому ли, осуществив мечту всей своей жизни и взяв власть, он сам начал проводить террор, как индивидуальный, так и массовый, в жизнь.

Какой бы вой, представляю, подняли бы эти крикуны в эмиграции, эти мнимые защитники еврейства, если б кто-либо написал бы о Фане Каплан, что она кралась, как змея, к Ленину, в прямом смысле или в виде метафоры.

В 1944 году с частями 3-го Белорусского фронта я освобождал город Вильно (ныне Вильнюс). Мне посчастливилось встретиться и беседовать с известным еврейским писателем Суцкевером, только вышедшим из гетто и чудом спасшимся. Он рассказывал мне о яростном свирепствовании в гетто полиции, состоящей из ...своих же евреев! (В 1945 году в вильнюсском издательстве малым тиражом вышла его книга воспоминаний «Из виленского гетто», где он описывал всё пережитое. Суцкевер репатриировался в том же году в Польшу как бывший польский гражданин и затем выехал в Израиль.) Мне думается, что те, кто обвиняет в «юдофобстве» Льва Лосева, при тех же обстоятельствах первыми бы пошли в еврейскую полицию гетто.

По крайней мере, ни я, ни мои дети, родившиеся на земле, что именуется Русью, как и тысячи других, никогда не пошли бы с ними в одном строю за освобождение нашей родины от Зла.

Пора кончать с наветами и клеветой, как и с ложными обвинениями в «антисемитизме» и «юдофобстве» русских, евреев и других. Не сомневаюсь, что задача, поставленная писателем Солженицыным, закончить «Красное колесо», будет им выполнена так же, как и мы ещё не раз будем читать прекрасные статьи Льва Лосева на страницах «Континента». А если и будут раздаваться истошные крики тех, о которых гово-

рилось выше, то останемся верны старой восточной пословице: «собаки лают, а караван идёт».

С уважением

Семён Бадаш

Февраль 1985 года. Западная Германия.

Президенту Государства Израиль,
Свободной прессе Европы и США.

Уже третий раз получил я отказ из израильского посольства: «никак нельзя освободить вас и семью от израильского гражданства» ...Я сейчас не говорю уже о том, что в конце 20 века никакое «гражданство» не является насильственно-принудительным счастьем (не считая тоталитарных режимов). Нет, пока я хочу говорить лишь о самой простой, житейской стороне дела: оставаясь гражданами Израиля, я, жена и дочь – абсолютно не в состоянии получить где-либо постоянную работу. Государственные чиновники в Европе и США ссылаются при этом на какой-то «секретный» договор, неписанный «закон», по которому они обязались всеми силами препятствовать гражданам государства Израиль (по просьбе последнего) в получении работы и права на жительство. Это, говорят, уже давно всем известно... При этом произносят красивую фразу: «У вас – такая прекрасная Родина, поезжайте в Иерусалим!».

Но дело в том, что сразу же по приезде в Иерусалим, в 1971 году, я уже навсегда стал безработным, хотя в Вене чиновники уверяли меня, я – непременно получу постоянную работу – в любом израильском университете, т. к. есть научное звание, отличные рекомендации, и пр. Это оказалось неправдой: все отмахивались от специалиста по русской литературе... Вот если бы я «прямо» поехал тогда в США или в Европу, то как и многие мои коллеги, эмигранты из СССР и Польши, – имел бы постоянную университетскую работу (в 1971 году это не было проблемой).

Пожив год в Израиле, я убедился, что никогда не получу здесь постоянной работы в университете, т. к. не сумел скрыть, что являюсь бескомпромиссным антикоммунистом,

что русская культура и литература – это смысл моей жизни, что национализм (любой) мне чужд, т. к. являюсь христианином. Я не скрывал, что считаю естественным «уход» евреев из коммунистического мира – в любую страну Запада, а не только лишь в Израиль... Я видел на примере моего отца, Леополяда Трэппера, что борьба за выезд в Израиль является лишь символом противостояния антисемитизму, ставшему в коммунистических странах государственной политикой. После 1967 года, когда польские и советские власти начали особую антисемитскую вакханалию, отец отказался от поста президента Объединения Польских евреев, от места директора издательства «Идиш бух», подал на выезд в Израиль. Это было «самоубийственно» для всей семьи, т. к. «престиж» не позволял властям отпустить на Запад руководителя антифашистского «Красного Оркестра».

Ради борьбы за исход из соцлагеря – я и поселился в Израиле с семьей, провел четыре голодовки, активно помогал Международному Комитету Защиты Трэппера... Три года назад отец был похоронен в Иерусалиме, тогдашний министр Обороны Израиля, генерал Ариель Шарон вручил семье награду – в знак особых заслуг Л. Трэппера в войне против фашизма. В настоящее время около Иерусалима посажен лес – в честь борцов «Оркестра», книга воспоминаний отца издана на 20 языках...

Однако все это не решало проблему моего трудоустройства. После приезда в Израиль я с трудом добился получения небольшой «стипендии», а только после колоссальных усилий «пробил» себе право – бесплатно читать Курс лекций по русской литературе 19 века и Чеховский Семинар. Зная, что постоянной работы мне никогда не дадут, в 1972 году я поехал в США и Европу, но мне объяснили, что, являясь обладателем израильского паспорта, – я нигде не получу работы. И это тянется уже 13 лет (1972–1985). Отец помог нам поехать в Германию, он считал, что немцы, русские, поляки, евреи – должны ближе познакомиться, чтобы прошлое никогда не повторилось. Только сблизившись, народы могут преодолеть взаимную ненависть... Вот уже шестой год я с семьей живу в Германии, познакомился с коллегами-славистами, издал здесь 9 книг. Жена моя все время работала врачом, дочь закончила гимназию, учится в университете, вышла замуж за гражданина Германии (выходец из России). К несчастью, началась

безработица у немецких врачей, в университетах. Нам говорят: «У вас – израильские паспорта, вы должны поискать работу у себя на родине, Израиль – прекрасная страна... Вот, если бы Израиль освободил вас от ихнего гражданства, – то другое дело, вы бы давно уже могли всюду иметь постоянную работу!»

Поэтому я и обратился в израильское посольство, но, услышал лишь претензии: «Сами виноваты, – надо жить на родине...» В России? С удовольствием, когда там кончится коммунистический режим! Еще более трагическая ситуация у нашей дочери. Когда ей было 8 лет, ее «вывезли» в Израиль, не спрашивая ее согласия – сделали «гражданкой Израиля»... Когда ей было 14 лет – мы вывезли ее в Германию, где она за 6 лет освоила новую культуру, не переставая чувствовать себя русской, пишет стихи по-русски, изучает русскую литературу. Но ей внушают: «Ты обязана жить в Израиле!» От этих чиновничьих окриков у нее было кровоизлияние в мозг. Я – почти слепой, больное сердце и астма – не позволяют мне жить в «африканском» климате Израиля. Да ведь и работы мне там никто не предложил, хотя я все время писал в университеты. Если угодно, я могу обнародовать несколько «чемоданов» переписки – в поисках работы в Израиле я писал в Кнесет, главе Правительства, во все университеты, в Сохнут. Теперь уже поздно что-либо исправить, я не имею претензий, хотя разбита жизнь всей семьи. Дайте уж нам «выйти» из этого гражданства, спокойно умереть там, где мы сами хотим. Здесь, в Германии, лес и поля напоминают Россию... А в своих книгах я больше всего писал именно о свободе выбора («Чехов-мыслитель», «Чеховские Университеты», «К проблематике Чеховских Университетов», «Восстание», «Западня», «Бедные люди», «Воля», «1988», «День Победы»).

Я неизменно выступаю за освобождение узников тоталитарного режима: за Сахарова, Щаранского, Бородина, Ратушинскую, Мейлаха. Но вот я заметил вдруг, что и сам не располагаю свободой выбора... Зачем меня опять хотят насильно ошастливать ради распрекрасного «изма»... Я вовсе не стремлюсь перейти из Вашего гражданства – в какое-то «лучшее», я не стану ни «немцем», ни «американцем», я остаюсь, как и раньше, русским по культуре, христианином. Я хочу пожелать

Вам и Государству Израиль – счастья и процветания! Шалом. С любовью во Христе

Д-р Бройде-Трэппэр (Антонов)
«Чеховград», 18 февраля 1985 г.

От редакции: Мы думаем, что вопрос, поставленный д-ром Бройде (заботящий многих и многих людей в его положении), стоило бы рассмотреть именно с той «простой, житейской стороны дела», о которой он упоминает в начале письма. Если бы удалось справиться с нею, – быть может, не пришлось бы требовать выхода из израильского гражданства и можно было бы жить в свободно выбранной стране, как живут граждане других стран. Трудности иностранцев в странах Западной Европы (кроме граждан других стран ЕЭС и лиц со статусом политического беженца), в принципе, одинаковы: американцу, аргентинцу или японцу тоже приходится преодолевать барьер «вида на жительство» и «разрешения на работу». Если уж нельзя сделать положение граждан Израиля приближающимся по «привилегированности» к положению граждан стран ЕЭС, то следовало бы, по крайней мере, не заставлять их сталкиваться с большими трудностями, чем всех остальных, а это, судя по опыту, в ряде случаев происходит. Трудно поверить, что Государство Израиль действительно заключило какие-то «тайные соглашения» о том, чтобы его гражданам затрудняли жизнь в случае постоянного жительства в странах Западной Европы. Скорее всего, неписанный «закон», на который ссылаются чиновники, возник в их собственных головах. Если это так, стоило бы, вероятно, Государству Израиль, его дипломатическим представительствам в Западной Европе ясно сказать, что таких соглашений нет, т. е. практически защитить интересы собственных граждан за границей. Если же, паче чаяния, такие соглашения действительно существуют (во что поверить почти невозможно), то они должны стать гласными, и сами израильские граждане смогут оценить, обоснованы ли и легальны ли такие ограничения.

БОЛЬШЕВИКИ И СВОБОДА ПЕЧАТИ

(Письмо в редакцию)

В «Континенте» № 42 помещена весьма серьезная и содержательная статья В. Головского «Существует ли цензура в Советском Союзе?». Начало официального «цензурирования печатной и зрелищной продукции» отнесено в ней к 1922 году. Идеологическое же обоснование «необходимости цензуры в рабоче-крестьянском государстве» связано со статьей А. В. Луначарского «Свобода книги и революция», опубликованной в начале 1921 года.

Позволю себе несколько дополнить данные В. Головского. Вопрос о свободе печати возник буквально через несколько дней после октябрьского переворота. И поднял его на заседании ЦИКа Л. Троцкий, которому Дж. Кармайл в своей книге «Троцкий» приписывает исключительное для большевика свободомыслие в гуманитарных проблемах.

Прочитирую несколько документов, подписанных Троцким в первые же недели существования большевистской власти и посвященных проблемам печати:

РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ ЦИК ПО ВОПРОСУ О ПЕЧАТИ (4 ноября)

«Здесь два вопроса связаны между собою: 1) вообще о репрессиях и 2) о печати. Требование устранения всех репрессий во время гражданской войны означает требование прекращения гражданской войны. Такое требование может исходить или от противников пролетариата, или от сторонников этой противоположной стороны. Противники, с которыми идет гражданская война, мира нам не предлагают. Я утверждаю, что никто не может дать нам гарантии за сторонников Корнилова. В условиях гражданской войны запрещение враждебных газет есть мера законная. Необходим, конечно, переход к определенному режиму печати. К такому режиму мы и хотим перейти. В нашей партийной прессе мы задолго до восстания не смотрели на свободу печати под углом зрения собственников типографии. Те меры, которые применяются к устранению отдельных личностей, должны применяться и к печати. Мы должны конфисковать типографии и запасы бумаги в

общественное достояние. (С мест говорят: «В большевистское»).

Да, наша задача состоит в том, чтобы превратить все эти запасы в общественное достояние. Все группы могут предъявлять требование на бумагу и типографии – все солдаты и крестьяне. Каждый солдат, рабочий и крестьянин поймет, что мы не для того брали власть, чтобы оставить монополию в руках старой власти. Мы говорим, что «Новое Время», которое не имело своих сторонников на выборах, не может иметь ни буквы шрифта, ни листа бумаги. Пока «Русская Воля» является лишь банковским органом, она не имеет права на существование. Эта мера не должна быть увековечена, но мы не можем вернуться к старому капиталистическому строю. Переход власти к Советам есть переход от буржуазной политики к социалистическому строю. Почему Суворин мог издавать грандиозную газету? Потому, что у него были деньги. Можем ли мы допустить, чтобы во время выборов в Учредительное Собрание суворинцы могли пускать свою отраву? Мыслимо ли, вообще, чтобы существовали газеты, которые держались бы не волею населения, а волею банков? Все средства печати должны быть переданы в собственность Советской власти. Вы говорите, что мы требовали свободы печати для «Правды». Но тогда мы были в таких условиях, что требовали минимальной программы. Теперь мы требуем максимальной. Я не сомневаюсь, что представители рабочих и крестьянства на моей стороне. (Аплодисменты.)

Солдаты возвратятся в свои части, крестьяне – в деревни и заявят, что есть две точки зрения: 1) свобода печати для буржуазных газет и 2) реквизиция бумаги, типографий и предоставление их в руки рабочих и крестьянства.»

«Протоколы заседаний ЦИК 2-го созыва», стр. 24.

РЕЗОЛЮЦИЯ ЦИК ПО ВОПРОСУ О ПЕЧАТИ

(4 ноября)

«Заккрытие буржуазных газет вызывалось не только чисто боевыми потребностями в период восстания и подавления контрреволюционных попыток, но являлось необходимой переходной мерой для установления нового режима в области печати, такого режима, при котором капиталисты – собствен-

ники типографий и бумаги – не могли бы становиться самодержавными фабрикантами общественного мнения.

Дальнейшей мерой должна быть конфискация частных типографий и запасов бумаги, передача их в собственность Советской власти в центре и на местах, чтобы партии и группы могли пользоваться техническими средствами печатания, сообразно своей действительной идейной силе, т. е. пропорционально числу своих сторонников.

Восстановление так называемой «свободы печати», т. е. простое возвращение типографии и бумаги капиталистам – отравителям народного сознания, явилось бы недопустимой капитуляцией перед волей капитала, сдачей одной из важнейших позиций рабочей и крестьянской революции, т. е. мерой безусловно контрреволюционного характера.

Исходя из вышеизложенного, ЦИК категорически отвергает всякие предложения, клонящиеся к восстановлению старого режима в деле печати, и безоговорочно поддерживает в этом вопросе Совет Народных Комиссаров против претензий и домогательств, продиктованных мелкобуржуазными предубеждениями или прямым прислужничеством интересам контрреволюционной буржуазии.»

«Протоколы заседаний ЦИК 2-го созыва», стр.24.*

Под этой резолюцией нет подписи Троцкого, но он поместил ее в собрание своих сочинений. Нам остается поверить в его авторство.

Думаю, что эти документы однозначно предваряют цензурную политику большевиков и выступление Луначарского.

Шестью годами позже Троцкий распространил необходимость партийной цензуры на весь период, отделяющий революцию в СССР от мировой революции:

«У нас есть цензура, и очень жестокая. Она направлена... против союза капитала с предубеждением. Вот почему мы не опасаемся исторических аналогий, на которые так тароваты дешевенькие демократы, ужасно недовольные, когда реакция бьет их по правой щеке, а революция по левой.

* Троцкий Л. Д. «Первый этап закрепления революции». Соч., т. III, ч. 2-я, гл. 9, стр. 104 – 106.

...В тот день, когда пролетариат прочно победит в наиболее могущественных странах Запада, – цензура революции исчезнет за ненадобностью...»*

То, что вопрос о фактическом закрытии враждебных большевикам газет обсуждался уже 4 (17) ноября 1917 года, показывает, какое огромное значение изначально придают коммунисты направленному против них печатному слову.

В мае того же 1922 года, когда (интересно, в каком месяце?) был создан Главлит, Ленин, встревоженный обилием возникших с началом нэпа частных издательств, писал Дзержинскому:

«Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, *проверяя* исполнение, *требуя письменных отзывов* и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий.

Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т. д.)

Собирать **систематические** сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в *ГПУ...*»** (курсив, жирный шрифт и разрядка Ленина).

Так что отдача «литературной деятельности профессоров и писателей» под контроль органов государственной безопасности – плод еще ленинского «демократизма». А роль цензоров, по его замыслу, должны были исполнять «члены Политбюро» и «литераторы-коммунисты». Заранее можно было предположить, что они с этой задачей физически не справятся и придется создать специальные институты, о работе и эволюции которых пишет В. Головской.

Дора Штурман (Тиктина)

* Троцкий Л. Д. Предисловие к книге «Литература и революция». М., 1923. Изд. «Красная новь». Главполитпросвет. Стр. 10 – 11.

** Ленин В. И. ПСС, т. 54, стр. 265. Док. № 421.

Критика и библиография

ЧЕРНЫЕ НОГИ АРТИСТОВ

Лиха беда начало – вышла, наконец, первая книга поэта, полуподпольно наплывающего на русскую поэзию, – уже двадцать, тридцать лет ожидаемая книга Евгения Рейна «Имена мостов»: Москва, издательство «Советский писатель», десять тысяч экземпляров.

«Мост» – понятие символическое, «имя» – тоже, но сдвоенный и затем умноженный символ превращается в многозначительную туманность, в общекультурный намек, понятный разве что иллюстратору, снабдившему книгу прекрасными фотографиями ленинградских чугунных кружев. Соединение и различие, различие и соединение. Имя и мост. Персональное и коммунальное. Индивидуум, личность на фоне обобществленного быта. Ленинградские, а вернее еще петербургские, ограды и решетки, действительно, четко-печатны и ритмичны, что как нельзя более уместно выглядит в поэтическом сборнике. Но, увы, решетка сама по себе есть символ заточения, разделения, несвободы...

Тридцать лет ждать своего часа! Да и пришел ли он? Конечно, написав книгу в Советском Союзе, автор должен еще и «заслужить» ее, или, по крайней мере, до нее дотерпеться. К тому же, «Сов-пис» имеет такие препоны, что просочиться сквозь их «узор чугунный» удастся только своим, да и то не всем, и не часто. Кажется, Рейн ждал недаром: даже помимо своих вероятных желаний, он смотрит из книги совсем не типичным «советским писателем».

Действительно, когда перелистываешь его страницы, прежде всего поражает отсутствие так называемых «паровозов», то есть стихотворений, которые тянут книгу сквозь все этапы «словозадержания». Тематически они берутся, как правило, из казенного набора (партия – армия – народ), но применим к ним и более общий закон: каждый «паровоз» должен восхвалять что-нибудь советское. И нет из этого исключений: даже такие отчаянные либералы, как Евтушенко и Вознесен-

ский, должны были воспеть Ленина, что они и сделали с эпическим размахом и со всей мощью своих незаурядных дарований. Авторы позастенчивей нарочито пишут «паровозы» спусть рукава, чтобы легче было их опознать и отбросить при чтении. Но и такого нет в книге Рейна, а если и есть, то немного, и это угадывается не сразу.

Есть, впрочем, стихи компромиссные, написанные со жгучим желанием их напечатать, но их мало, и они преобразены включенными в них крупными искреннего опыта.

Например, писал он сценарий для «Научпóпа» об одном заводе, ничего в технике не понимая. А ведь был когда-то инженером, но забыл. Стараясь разобраться, стрелял сигаретки у рабочих – совсем молоденьких и у тех, кто постарше. И, настраивая себя на сценарный лад, каялся, что сменил машину (производственную) на машинку (пишущую). Уверял:

Дух тавота и смазки,
Ты вкусней шашлыка.

И признался, что, когда он бывает в цехах, он начинает больше понимать «и в делах, и в словах». Поклон так называемому «его величеству рабочему классу». Преимущество «дела» перед «словом».

А ведь, если разобраться, все это верно: в рабочих курилках куда больше правды, чем в коридорах киностудий, а шашлык – мерило ценностей и заводских рабочих, и помрежей с того же «Пóпа».

Есть еще одно стихотворение, восхваляющее труд, и это, кажется, всё: «Водили меня по заводу, меня окружали металлы». Помню, помню отчетливо: ровно тридцать лет назад нас, второкурсников Техноложки, послали на Сестрорецкий оружейный завод «понюхать производство». Запах этот нам не понравился, и, перебравшись через двойной забор с колючей проволокой, мы все отправились к Финскому заливу на пляж, где юный Рейн читал нам эти стихи. Поразили тогда заболотско-шагаловские образы: «Усталые экскурсоводы по станам прокатным летали». И это великое первенство звука и слова перед «делом» – «металло – усталло – леталло». Не настаиваю на гениальности такого образа, но, ей-Богу же, я был разочарован, вычитав теперь из книги, что экскурсоводы уже не летали, а всего лишь «окалину с курток снимали». И конец сти-

хотворения в том же духе... Кто здесь более поработал: редактор или самоцензура?

Воспоминания вызывают еще более ранние заметы, и вот одна из них, наиважнейшая, – начало начал... Рейн читает мне излюбленные стихи советских романтиков: Багрицкого, Тихонова, Антокольского, Луговского, Сельвинского. И среди них что-то иное, начинающееся строкой: «Этой ночью меня приговорили к бессмертью». Я понимаю, что это – его стихи, и рыдаю от величия фразы. На следующий день и я возобновляю свои версификаторские опыты, брошенные в средней школе.

Рейн начал раньше и потому какое-то время сохранял лидерство. Анатолий Найман, «брюнетик, растерзанный ангелок», как он, к сожалению, неблагоприятно описан в этой книге, вскоре присоединился к нам, и мы стали куролесить вместе. Эпоха обещала всё. Хрущевский доклад гарантировал, что прошлое не вернется. И вот студенты толпятся перед стенгазетой, выпускаемой нами. Обновление мертвого жанра. Стено-журнал «Культура». Ново, свежо, искренне. Ин-форма-тив-но! Рейн пишет о живописи, Найман о кинематографе, я – о литературе. Мы – предтечи будущих китайских дацзыбао...

Но сталинские экзекуторы и в отставке не дремлют. Доносы, разгромные статьи в институтской многотиражке, фельетон в «Комсомолке»: «О чем думают товарищи из Технологического института?». Первое впечатление: нас называют «товарищами», значит, сажать не будут. Впечатление, пожалуй, было ошибочным, – скорее, подразумевались совсем иные «товарищи», как раз те, которые давно должны были нас посадить, но все еще о чем-то «думали». Сдается, они думали, не посадят ли их самих за преступления славной сталинской эпохи. И для них, и для нас дело тогда обошлось, но неприятности были. Рейна исключили из института, и он на год сбежал от военкома на Камчатку. Да и остальным досталось по шапке.

Баснословные времена! Венгерская революция еще не раздавлена советскими танками, подобие «оттепели» продолжается. «День поэзии» в Ленинграде, похоже, был праздником для всего города. В Книжной лавке писателей выступают московские знаменитости, но Бронислав Кежун мстительно захлопывает перед нами дверь. Все-таки в Москве намного

легче – вот, например, Евтушенко дает дрозда, а здесь нашу «Культуру» закрыли... Пойдем в Дом Книги, там пускают... Выступает Антокольский, кумир № 2 для Рейна: Пастернака мы уже знаем, но Мандельштама, Цветаеву и Ахматову еще не открыли. Мы играем футуристов, кричим ему грубо из толпы: читай Венеру! А ну, читай Венеру! И подсказываем: «Безрукая, обрубок правды голой»! Он стесняется, читает в растерянности что-то казенное о сыне. Мы выпираем из толпы Рейна, и тот орет в волосатое ухо кумира свою романтическую поэму «Артур Рэмбо». Вот как надо!

Да, московские знаменитости старше и чуть умнее нас: их печатают. Но и мы гремим; к нам присоединяется юный Бродский, и мы все знакомимся с Анной Ахматовой. Если говорить о плеядности, то вот она, плеяда, осиротевшая и разлетевшаяся в стороны со смертью Анны Андреевны... Недаром стихи с групповым портретом нашей поэтической шайки-лейки посвящены в рейновской книге памяти Прекрасной Старой Дамы нашей юности – Ахматовой.

Хорошие слова, впрочем, находятся у автора лишь для одного из нас – рыжего (а теперь, наверное, лысого и полуседого), в чей затылок смотрит «пристально Аполлон», и который «вытянул свой золотой талон». В этом-то талоне всё и дело: обожествление успеха. Кто знает, а вдруг и в самом деле «рыжий» получит завтра Нобелевку, но самому Рейну это не грозит. А по юношескому потенциалу мог бы и он претендовать.

Да я бы всем выдал по Нобелю, чтоб никому не обидно...

Не в этом суть. Книге уже повезло, что она вышла, – советская книга «с человеческим лицом». Нет в ней поэмы «Рэмбо», нет «Лирической вертикали», нет манифестальных посвящений Найману, Бродскому, Михе Красильникову и тому же мне, ни поэмы «Вадим», как у Лермонтова, но все же есть Рейн, почти неискаженный, почти... Но не полностью.

Глядите: он сумел напечатать «Соседа Котова»! Это – чудо. Да я эти стихи помню наизусть с незабываемого пятидесят-лохматого... В них выведен демон коммунальных квартир, зловещий тип, отставник, сталинский экзекутор «на заслуженном отдыхе». Из тех, кто нас по случайности не посадил за «Культуру», но зато отыгрался, десятилетиями где-то втихую отвергая наши рукописи... Да как же он позволил такому быть

напечатанным? А вот как, смотрите, цитирую первоначальный вариант концовки по памяти:

Летом я переехал. Меня остановят и скажут:
– Слушай, Котова помнишь? Так вот, он убийца.
Или платный агент, или вор... Я поверю. Мной нажит
темный след неприязни. За Котова нечем вступитьяся.

Если жил человек, рядом голос эпохи огромный
и простые приметы – скажем, ветер, деревья и птицы.
Равнодушие и мелочь показывал, праздновал, помнил.
Что он прятал? И как за него заступиться.

А вот что напечатано в книге:

Летом я переехал. Меня остановят и скажут:
– Слушай, Котова помнишь? Так вот, он убийца
Или вор... – Я поверю. Мной нажит
Темный след неприязни. За Котова нечем вступитьяся.

За фанерой стенной он остался неясен до жути.
Что он прятал? И как за него заступиться?
Впрочем, как-то я видел: из лучшей саксонской посуды
На балконе у Котова пили приبلудные птицы.

Это, детки, называется цензурой. Видите: был Котов сволочь, а стал – одинокий чудака, сентиментальный любитель природы. Смотрим на фамилию редактора: нет, не Котов, но Храмов. Тоже сосед.

Есть и другие стихи, которых на редактора не спишешь: стихи о войне, где был убит отец поэта.

Мой отец тоже, на той же войне.

И полно, Женичка, не надо ломать язык и искажать всем известную фамилию Чёрчилля на Черчйлля, ради того, чтобы срифмовать себя, «сиротку сирого», с тем, что «наш Верховный начертил». Да начертил он, что всем нам хана. А если б не Рузвельт и Черчйль с их студебеккерами и свиной тушенкой, то и магические красноармейцы со штыками сдохли б от голода, и мы с тобой заодно.

«Паровоз»?

И, смею заметить, в книге полно опечаток (корректор Л. М. Вайнер).

Да что мы всё о плохом, давайте поговорим о приятном. Ведь книге повезло: во-первых, вышла. Во-вторых, отозвался на нее сам Евтушенко Евгений Александрович. Правда, как-то сквозь зубы: с одной руки хвалит Рейна, а с другой обзывает «урбанистическим акыном» (во дает!) и даже графоманом. А вот и приложил ниже пояса: «неудачник».

Ай-яй-яй, Евгений Александрович! Да, Евтушенко, я имею в виду именно Вас. Встаньте и не паясничайте! Ладно, что Рейну не досталось середины пирога с лакомой начинкой – она вся досталась Вам. Но не смейте утверждать, что этот пирог – с чужого стола: Рейн подлинный поэт, как и не Вы, впрочем. Сядьте.

В одном прав этот монополист поэтической славы: Рейн выпустил исповедальную книгу. Не щадя ни себя, ни близких ради красно-ржавого словца, он разворачивает список своих грехопадений – и в том он виноват, и в этом... Да полно, Женя. Ахматова давно тебе всё простила, помнишь: «...поэтам вообще не пристали грехи». А ты – поэт.

Ахматова простила, а он себе не прощает, и в этом его подлинная, неосознанная самим автором, религиозность. Не через веру отцов впитанная, не через философические сборники или собственный мистический опыт, но через русскую поэзию, которая, по определению Жуковского, «есть Бог в святых мечтах земли». Вот этим тоном и поверяется вся книга, на иных страницах дребезжащая, а на других достигающая певческого бельканто. Только – басом. И почти всегда с юмором.

Патетический Зощенко, он вырисовывает коммуналку, как фон своих любовных походов. Адюльтер – вот центральная драма. Плоть полуроскошествует всегда. «Мясца на вилочке, винца в бутылочке» – жалкие ценности, но они провозглашаются как единственные, которые не подведут. А жизнь уходит.

Портос нашего мушкетерства!

Остается поэзия, которой клялся еще Пастернак. И кончил, прохрипев. Интересно, останемся ли мы все в поэзии? Во всяком случае, у Рейна есть свой стиль: визуально-резкий тяжелый рисунок, и тут же – грамматическая неясность, расплыв. Как астигматизм Сезанна, этот дефект рейновского

зрения (или слуха?) стал с годами нейтральным свойством его почерка. И зазвучало: не пенье аонид, нет, но просто песня. Несчастливого, порой неумного и, увы, немолодого человека.

Я не должен, конечно, так говорить: «неумного» – это слишком предвзято, но уж очень напрашивается. Да как еще назвать этот смутный дух, получивший от судьбы столько сигналов, но так и не смогший в них разобраться?

Минувшее, как ангел из-за тучи,
Нам знаки непонятные дарит.
Жалеет нас, а может, правде учит,
А может, просто что-то говорит.

Вот именно. А может, просто болтает чушь. Или, как в безмолвных ночных звонках по телефону, силится выразить свою любовь, но слишком уж все залгались... Автопортрет в проточной воде. Отбой.

Вот мы говорим: «поэзия, поэзия», а что это такое? Мотивы? Да, есть это в книге Рейна: блоковские, маяковские, михаил-кузьминские, багрицкие, пастернаковские мотивы, а вот вдруг – северянинские, но есть и перепевы сверстников, даже учеников, – Бродского, например. «Тьма наступает, как Баторий». А как выразиться, если очень хочется пива? Не прозой же:

...пива светлого в истоме,
воблы в ветхом серебре.

Но даже если это и проза, то, будучи ритмически произнесенной, оснащенная великолепными эпитетами и атрибутами, она превращается в поэзию. Но кого тут больше: Кавалерова из олешинской «Зависти» или аж самого Гаврилы Державина? А вот еще:

Сдавить бы горло, призвать к ответу!
Не стоит, я (цезура) через день уеду.

Да в этой цезуре и есть вся поэзия, а не в «мотивах»! И еще – в таком сознательном дальтонизме:

Что может быть синее
Зеленого зрачка?

И есть ли что сильнее
Такого пустячка?

Ничего сильнее этого, действительно, нет. И наплывает благодарность за всё преображающий, всему дающий смысл чудесный дар:

Поклонимся в черные ноги артистам,
Которые дуют нам в уши и души,
Которые в холод спасают от стужи,
Которые пекло сменяют истомой,
Которые где-то снимают бездомный
У вечности угол и злomu чертогу
Внушают свою доброту понемногу.

Написано это о негритянских джазистах, но «черные ноги» показались мне настолько забавными, что я вынес их в заголовок: в конечном счете, это всё про нас – бедолаг и поэтов. Ведь мы тоже, путники грязноногие, пытаемся внушить свою доброту отчаянному и преступному, и, в главном своем свойстве, совершенно равнодушному миру.

Стихам, как и статьям о поэзии, предписываются эпиграфы, но я предпочел бы здесь изобретенный, кажется, Станиславом Красовицким так называемый «опосляграф». Иначе говоря, конечную цитату, но не из Красовицкого или самого Рейна, а из русского поэта-эмигранта Анатолия Штейгера, в которой, как мне кажется, содержится квинтэссенция рейновской исповедальной ноты:

И надо жить как все, но самому –
Беспомощно, нечестно, неумело.

Дмитрий Бобышев

Милуоки, Висконсин. Февр. 85

КАКОГО ЦВЕТА «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ»?

«Строгое выполнение обряда должно привести к полной потере личности, к слиянию ее с коллективом. Результатом «ритуального воспитания» становится нежелание делать выбор, принимать самостоятельные решения».

Книга М. Я. Геллера «Машина и винтики» не могла не появиться: полушутя, полусерьезно следует сказать, что в этом была «историческая необходимость»: нужен был полемический момент, противовес фаталистическому взгляду А. Зиновьева в его сочинении «Гомо Советикус». Книга М. Геллера разбивает миф о «неизбежности», «предопределенности» и прочих порождениях марксистского детерминизма, она показывает, что советский человек так, к счастью, и не вылупился, хотя яйцо это чудовищное партия высиживает почти семь десятилетий.

Именно научный подход, отстраненный, аналитический, лишенный эмоциональных элементов, превращающих любое исследование в субъективно-лирическое сочинение, может показать, как функционирует машина тоталитарного социализма, как и кого можно превратить в ее винтики, а кого нельзя, и, главное, доказывает *обратимость* этого жуткого процесса.

Книга о том, как созданная Лениным государственная машина фабрикует винтики, составляющие ее самое, состоит из трех частей, названия которых сами по себе дают ясное представление о процессе осуществления утопии и путях этого осуществления.

Первая часть – «Цель». «Убеждение в своем превосходстве над другими свойственно всем нациям. Но только советская система претендует на выведение нового вида человека. Нацисты, делившие человечество на людей-арийцев – и не людей, базировали свои взгляды на неподвижной концепции «расы». (...) С этого начинали большевики, и с той лишь разницей, что в основу сортировки человеческого материала они брали тоже неподвижный критерий социального происхождения». Автор справедливо замечает, что «неарийское происхождение» закрывало человеку карьеру так же точно, как «непролетарское».

Прослеживая, во что далее трансформировалось это основное положение новой идеологии, М. Геллер вспоминает изумительно точное предсказание великого русского философа Н. Бердяева: «Самая зловещая фигура в России – это не фигура старого большевика, обреченная на смерть, а фигура этого нового молодого человека». Таков был «ответ» Н. Бердяева на все наивные западные надежды типа: «вот после Брежнева»... Именно сегодня мы видим первые шаги этих «молодых» людей.

Эскиз нового человека был создан задолго до революции. Принцип коллективизма, диалектическое жульничество (подчинение разуму партии не умаляет свободы) или прямо орвелловское: «рабство – это свобода»...

М. Геллер полностью принимает точные и хлесткие характеристики «Гомо Советикуса», сформулированные А. Зиновьевым, но в противоположность его эмоциональному подходу выдвигает метод социологического и социально-психологического подхода к этому явлению. Вспоминает он и замечательную сатиру С. Лема из «Путешествий Йона Тихого», рассказ о том, как трест ирригации затопил планету, ибо не хотел ликвидироваться, и необходимость жить по пояс в воде превратил в идеологию, согласно которой дышать воздухом есть политическое преступление. За него «рыбиция» отправляет на «свободное ваяние», создание статуй людей с рыбьими хвостами. Ибо цель – орыбление.

Шаг за шагом М. Геллер показывает, как нормальная природа нормального человека протестует, восстает, не поддается этому орыблению или, что одно и то же, если называть не по Лему, а по Ленину, -- созданию Нового человека, оно же – сталинское сотворение «людей простых, обычных, скромных, винтики, которые держат...» и так далее.

Вторая часть книги – «Векторы», то есть методы, пути обработки человеческого материала. Это прежде всего национализация времени, личного времени человека, чтобы он не думал, чтобы «каплей лился с массами», как писал Маяковский. Или – еще точнее – С. Маршак: «Для чего же голова? – Чтоб носить стальную каску или газовую маску, чтоб не думать ничего: фюрер мыслит за него». В этот стишок подставить вместо «фюрера» «Сталина», и получаем один из самых распространенных лозунгов тридцатых годов, актуальный и сегодня, но стыдливо замалчиваемый, может, потому, что

слово «партия» трехсложное и в ритм стиха не уместится?).

«Пути коммунизма» в книге расклассифицированы, разложены четко по полочкам, и читатель начинает понимать, что их, путей этих, считанное количество, что все они максимально примитивны, что все обманы и вся демагогия до ужаса грубо сколочены, хотя в основе их лежали порой весьма сложные и хитроумные концепции. Идеологизация держится на «триаде Великого Инквизитора» из Достоевского: «Чудо», «Тайна», «Авторитет». К этим явлениям добавляется планификация – для полного экономического подавления личности; инфантилизация – для того, чтобы примитивность «идей» не сразу бросалась в глаза, и в результате – «тоталитаризация» общества и превращение человека в винтик. Винтик этот создается при помощи большого, но все же весьма ограниченного набора инструментов: страха, труда как обязанности и «почетного образа действий», воспитания в замкнутом треугольнике семьи, школы и общественной мифологии.

Одним из самых главных инструментов превращения личности в винтик М. Геллер справедливо считает язык. Это использование языка для того, чтобы выиграть «терминологическую войну» (выражение В. Максимова) против собственного населения, отметили в свое время Е. Замятин, М. Зощенко, А. Платонов. Автор напоминает, что Чеслав Милош назвал социализм «логократией», а Дж. Орвелл показал, как опустошает личность та самая «новоречь», которая и поныне – главный инструмент оболванивания и фашизации человека. Вплотную к языку как орудию партии примыкает и культура, как известно, во многом определяемая языком, бытующим в том или ином обществе. И вот тут М. Геллер приводит примеры блестящие и, к сожалению, забытые многими. Ампириная архитектура Гитлера и Сталина, сменившая бунтарский и, по сути своей, агрессивно-коллективистский конструктивизм Корбюзье; натурализм, перемешанный с классицизмом, в живописи, пришедший на смену «революционному» футуризму, абсурдизму, абстракционизму, супрематизму и прочим течениям, роль которых – разрушать. (Так и разрушение семьи на первых порах [Ленин, Коллонтай] сменилось ее полицейски-жестоким укреплением в период, когда надо было на смену миру, разрушенному «до основания, а затем...», возвести это самое «затем» – и тут семья и культура повернули на 180°.)

Очень полезно, мне кажется, напоминание о том, что художник Малевич в свое время составил проект «Культе Ленина», в котором, в частности, предлагал, чтобы каждый коммунист хранил у себя дома куб – «как напоминание о вечном уроке ленинизма».

Стремление «фельдфебеля в вольтеры дать» приводит к тому, что М. Геллер именует «созданием института мини-вождей» на всех ступенях: «Другой стороной было создание носителей авторитета... неподчинение авторитету К. Станиславского в театре, М. Горького в литературе, Т. Лысенко в биологии – становилось государственным преступлением». Добавим сюда Покровского в истории и Марра в языкознании (впоследствии замененных самим Сталиным) и Эйзенштейна в кино.

Об Эйзенштейне М. Геллер пишет: «Он выполнил первую заповедь воспитания ненависти – лишить врага человеческих черт». Это относится не только к «Александру Невскому», но и к «Стачке», и к «Потемкину», и ко всему творчеству Эйзенштейна. «Через два года после „Невского“ Эйзенштейн ставит в Большом театре „Валькирии“ Вагнера». Автор напоминает, что некогда французские критики М. Бардеш и Р. Бразийяк называли «Александра Невского» «самым волнующим из фашистских фильмов», добавив, что «нацистская Германия хотела бы изобрести подобный, если бы обладала кинематографическим гением». Но, увы, гений немецкого кино тех лет Фриц Ланг эмигрировал из Германии, в отличие от Эйзенштейна, ставшего сталинским авторитетом и образцом в советском кино.

Создание мифологии, своей, советской, на своем, советском языке становится главным инструментом уничтожения личности. «Для овладения мифологией партия должна была – как Зевс Хроноса – убить миф революции. Евгений Замятин заметил, что победившая революция прежде всего объявляет себя последней революцией», – пишет М. Геллер. («История прекратила течение свое», – скажем об этом словами М. Салтыкова-Щедрина.) Самое важное – что «миф Революции подменяется мифом Государства». Автор приводит высказывание Гитлера – «Революция принесла нам во всех областях без исключения все, что мы от нее ждали... Другой революции не будет в Германии в ближайшие тысячу лет». Интересно, что любые перемены в жизни общества Гитлер вполне по-

марксистски обуславливает именно революцией, или «скачком» как естественным «диалектическим переходом».

Чем дальше, тем больше примеров и доказательств тому, что разница между коммунизмом и нацизмом лишь в том, что один в основу идеологии кладет расу, а другой – класс. Но это различие в мифологической основе не дает различия в других областях жизни. Культ партии, национализация, как главный экономический инструмент, вкупе с тоталитарным планированием; роль идеологии, спекуляция на «существовании врага, как внешнего, так и внутреннего» – все это делает мало отличимым обыкновенный коммунизм или «зрелый социализм» от столь же обыкновенного фашизма (нацизма, вернее, ибо фашизм, как явление чисто итальянское, строился на корпоративных, «цеховых» началах, скорее похожих на диктатуру профсоюзов, к которой стремится, например, А. Скаргилл в Англии).

Что же касается нацизма, то из книги М. Геллера мы видим, что внешний враг у него общий с коммунизмом: «плутократия» или «мировая буржуазия»; внутренний враг – тоже: это все инакомыслящие. А для того, чтобы внутреннего врага четко локализовать, чтобы показать его, чтобы не приходилось верному сыну партии раздумывать, инако или не инако мыслит тот или иной подозрительный тип, в идеологию коммунизма вошел под несколькими псевдонимами государственный антисемитизм. Это уже, заметим, элемент не классовой, а расовой идеологии, как и само наличие «пятого пункта» в советской «краснокожей паспортине»...

Обращая внимание читателя на язык как одно из главных орудий превращения человека в винтик, М. Геллер отмечает, что уже хрущевский термин «всенародное государство», чуть-чуть притупивший «классовую борьбу» внутри советского общества, есть дословный перевод гитлеровского «фольксгемайншафт», и смешение понятий *русское* и *советское*, приводящее к неисчислимым последствиям, тоже плагиат: смешение понятий «немецкое» и «национал-социалистическое» было самым, наверное, гениальным изобретением геббельсовской пропагандистской машины. Уже нет ни этой машины, ни Геббельса, а его изобретение служит верно и надежно советским идеологам, причем не только и не столько для внутреннего употребления, сколько для дезинформации Запада, для того, чтобы сделать образ любой из компартий мира без-

обидным, овечьим и чтобы они хором могли повторять, что все ужасы коммунизма – это русское явление, национальный характер, а «у нас будет иначе».

Именно смешение тоталитарной системы с национальным, роковым образом predetermined характером – вот та прибыль, которую извлекли коммунисты из расистского учения Геббельса. И в этом нет ничего удивительного: книга М. Геллера напоминает нам, что национал-социализм был прежде всего *социализмом* и стремлением изобразить его как *правую* диктатуру, как правый тоталитаризм есть подтасовка, безусловный выигрыш советской пропаганды и дезинформации. Советский классовый социализм и нацистский расовый – оба суть левые диктатуры, оба ставят во главу угла «рабочие партии», оба стремятся к тотальному планированию экономики и тотальному господству идеологии, оба идеалом человека рисуют винтик, тот самый винтик, который должен стоять на своем месте в машине – и который не хочет стоять там, не хочет быть винтиком, – иными словами, эксперимент по созданию «новой породы людей» или «нового человека» – провалился. И каждое следующее поколение все дальше от мифологического идеала. А что касается взаимных плагиатов, то в книге приведен и обратный пример: Геббельс украл у Ленина основные положения его статьи 1906 года «Партийная организация и партийная литература», пересказав их своими словами. Вот так и обкрадывают друг друга «близнецы-братья».

И, наконец, пытаюсь заглянуть в будущее, ближайшее будущее, М. Геллер в заключении книги пишет: «...в развитых странах происходит переход от индустриального общества к информативному. Советская система не может совершить этот переход». Не может, потому что превращение человека в винтик и «всеобщая информатизация» несовместимы. «Ликвидация внешнего мира – непереносимое условие окончательной победы над человеком». Но без информатики нечего и пытаться ликвидировать внешний мир. А дать в руки человеку информатику значит потерять контроль над ним. Именно развитие информатики и приводит тоталитаризм к этому неразрешимому противоречию.

Книга М. Геллера, законченная в орвелловском, 1984, году, ставит вопрос: «Можно или невозможно переделать человека?» – и показывает, что при всех внешних успехах

«компрачикосов» XX века, человек остается собой, а не замятинским «нумером».

В. И.

ПОЭТ СВОЕЙ СУДЬБЫ

«Поэтам свойственно предсказывать свою судьбу: всем известны «Не смейся над моей пророческой тоской» Лермонтова, или «это сделал в блузе темносерой невысокий старый человек» Гумилева...»
(Вадим Делоне. Из интервью «Русской мысли»)

Из всех поэтов третьей эмиграции Вадим Делоне выделяется немыслимой ностальгией. Тема эта звучит то грозным, то одурманивающим лейтмотивом во всех стихах, написанных за последние восемь лет – те восемь лет, которые дано было ему прожить на родине предков, которую он воспринял как нечто самое чужое, что только вообразить можно...

Мандельштам считал, что в критике поэзии самое главное – найти корни поэта и, поняв, «откуда он», уже пытаться ответить, «кто он» и «куда идет».

Итак – откуда? Думаю, что не сильно ошибусь, если отмечу нечто общее с Николаем Некрасовым, просеянным сквозь Высоцкого, облагороженного влиянием Александра Галича. Утверждение требует доказательств? Попробую их представить.

Прежде всего хочется остановиться на одной из последних вещей Делоне, на «Балладе о Владимире Высоцком». Тут словно бы три поэтических личности слиты в один образ, который зыбок: то он, и верно, один, то вдруг начинает в сознании читателя троиться и – отдельно! – Артюрь Рембо, Владимир Высоцкий, Вадим Делоне... Единая интонация сводит в одно то общее, что видит поэт в трех судьбах:

Вадим Делоне. Стихи. 1965 – 1983. Париж, «La Presse Libre», 1984.

Нас время как-то не свело в аккордах лестниц,
Пойдет душа моя на слом, как дом в предместье...
Я уложусь в свою строку, как в доски гроба,
И пусть венков не соберу – я не был снобом –
Я по парижским кабакам в огнях угарных...
Но – нет Рембо – а значит, там – бездарно...

И так же, как Высоцкий переливается в Рембо, словно в затуманенном зеркале парижского кафе, так вдруг, с той же зыбкостью, но и с той же неминуемостью, Париж переливается в осеннюю Москву...

Орган разносит гул токкат за грань столетий,
Наотмашь бьет шальной закат по крышам плетью,
А листья гаснут на ветру в дожде осеннем,
И я ловлю их на лету, ищу спасенья.

Так же, как спасенья искал в авантюрах Рембо, отчаявшийся переделать своими стихами мир и потому бросивший писать; так же, как в «метаньях по странам, меж двух столиц» искал спасенья Высоцкий, которому ни уехать, ни остаться было немыслимо, ибо тут он тянулся в Москву, в Москве тосковал по Парижу... Вот в этом, может быть, частица того общего, что почуял Делоне в трех судьбах, «нераздельно и неслиянно» живущих в его поэме, которая звучит тем самым «предсказанием судьбы». Баллада заканчивается так:

Пусть дни пропали – в снах своих я к ним прикован.
И – нет Высоцкого в живых. Он – зарифмован.

Ностальгия выдернула его поэтику из простой, песенной, прозрачной стихии, увесила ее, как гирями (прекрасными, но гирями!), метафорами, которых не знали его стихи, написанные в России. То он писал просто, как птица поет:

По европейским городам мечусь под хмелем,
Но я живу не здесь, а там, я в это верю...

А позднее вот как звучат его стихи:

Взять бы вот химер, ты нам поверь,
Тех, что заскучали в Нотр-Даме,

Да на водопой свести к Неве –
Светлыми б запели голосами.

(Если учесть, что химеры в архитектуре средневековья, это бесы, наказанные тем, что на них крыша лежит, то значит – даже бесы, и те в России могут вспомнить, что когда-то были ангелами...) Так в короткой строфе, в метафоре сжато мировидение поэта...

Простота звучания и вместе с тем безусловная музыкальность – самые главные свойства его поэзии. По сути дела, песня, то народная, то блатная, просвечивает сквозь каждое стихотворение. Ритмы его, сочетания звуков, в которых никогда, несмотря на явный недостаток мастерства, нет корявости или неблагозвучия. Чувствуется, что он был из той категории поэтов, которым музыка ближе живописи:

Ветер красной играет листвою,
Словно карты краплены мечет,
И березы стоят над душой,
Как стоят над покойником свечи...

Вот, наверное, самая «живописная» строфа во всем поэтическом наследии Вадима Делоне. Но и она – музыкальна прежде всего. А что уж говорить о таких стихах, сквозь которые просто угадывается знакомая, общеизвестная мелодия, вот, например:

Хочешь хохмочку? Пью до одури,
Пару стопочек мне налей...
Русь в семнадцатом чёрту продали
За уродливый мавзолей...

Звучит же (и не отделаться!) старая песня: «Так по камушкам, по кирпичикам...» И это звучание вносит в стихи Делоне дополнительные ассоциации, дополнительные смыслы, о которых, вернее всего, сознательно он не думал: чтобы п р и д у м а т ь сознательно такой прием, надо, ну, хоть как Вознесенский, иметь математическое мышление архитектора... А Вадим пел – как птица поет! И мелодии, обогащавшие его поэзию, тоже как птица по зернышку подбирал на улицах или в пересылках... Поэтому слышатся в его стихах то жестокий романс, то блатная песня, то старинная народная...

Вот традиционная мелодия народной, тягучей песни, причем лексика стихотворения, легшего вот так, само собой, на ее музыку, утяжеленно-гулаговская:

И вернулся сюда, где этапов не ждут,
Где считают года на копейки минут,
Где уюты блюдут, городят города,
Где других узнают, а себя никогда...

Эта элегия, звучащая как старинная деревенская песня, – одно из самых сильных и совершенных стихотворений поэта. Жуткий психологический контрапункт нарушает эту тягучую, грустную исповедь. Контрапункт на этот раз – чисто сюжетный. Возвращение из лагерей, о котором так неспешно, подробно, грустно, но умиротворенно рассказывает поэт, вдруг – ударом, – обрывается арестом любимой, и это в сотни раз тяжелей:

Но за гордость мою Бог настиг, наказал:
И тебя у меня просто взял и отнял,
Как прикладом в висок, глухо грянул звонок,
Эх, зачем не за мной вы пришли на порог...

Это стихотворение – центральное в цикле «Заметки к автобиографии», в цикле, который, видимо, следует считать главным среди всего, написанного поэтом, прожившим недолго, да еще потерявшим большую часть стихов во время обысков, этапов и других не слишком пригодных для творчества событий.

И опять вернусь к утверждению поэта, что «поэтам свойственно предсказывать свою судьбу». Еще в 1975 году в Москве он писал:

В стекла порта воздушного, перестав разговаривать,
Я уткнусь равнодушно, словно рыба в аквариум,
И в ответ не рванется мне навстречу земля,
Лишь на горле сойдется горизонта петля!

После эмиграции, как я уже говорил, стиль поэта довольно быстро переменялся. Он остался тем же Делоне, но прозрачность сменилась ощутимой густотой метафор. То «душа в пограничных ребристых столбах», то «музы – химеры

из собора», и глубокие, порой тяжелые мысли. Появляется философский подход к жизни, да еще – растерянность в том мире, к которому – он знал – так и не суждено хоть малость привыкнуть, который входит в стихи, но как-то неорганично. Делоне сам отформулировал и эту растерянность, и новое, философское отношение к жизни в такой строфе:

Как прапорщик, сорвавший эполеты,
Я не пригоден больше ни к чему,
Но если Бог не требует ответа,
Не следует с ответом лезть к Нему.

И при всем этом сохраняется постоянно в его стихах тот улыбочатый юмор, без которого многие строки показались бы напыщенными. Особенно это заметно в стихах, насыщенных лагерной лексикой, в стихах о том, как топтуны ходят за ним («Я за водкой стою в гастронорме, а они сторожат за углом»). Или замечательная, прямо из души вырвавшаяся строчка, такая естественная и такая точная, говорящая о ностальгии больше, чем многие страницы лирических излияний:

Я б эту визу отдал за полбанки
Майору с нашей доблестной Лубянки.

(Кстати – мелодия опять знакомая – одесская песенка!)

И вообще то, что он называл «музыка народная, блатная, хороводная», его до последних стихов не оставляла.

Интересно, что в отличие от большинства молодых поэтов, оказавшихся по той или иной причине за рубежом, Вадим Делоне не спешил с изданием своих стихов. Он в этом смысле к себе строго относился. Не спешил с книгой, да вот, как сказал с грустной улыбкой один из близких к нему людей, перестарался... Первая книга поэта вышла посмертно...

Есть поэтому в ней особый раздел – стихи, которые поэт и н и к о г д а не предлагал для публикаций. И тут видно, что отсутствие поэтической среды на протяжении целых лет – то в лагерях, а то и в эмиграции – сказалось на умении выбирать: одно из лучших произведений Делоне – «Лефортовская баллада» (поэма из трех частей) – так и лежало в ящике, тогда как некоторые стихи, более слабые или сырые, печатались в периодике.

Вот строчки из нее о Пушкине, который «когда-то тоже ведь на площадь случайно только не попал», или такие строки:

Я вижу профиль Гумилева...
Ах, подпоручик, Ваша честь,
Вы отчеканивали слово,
Как шаг, когда Вы шли на смерть...

Есть в этом разделе и еще несколько замечательных стихотворений, в частности, посвященное А. А. Галичу «Мы заботами заболочены» или – неожиданное для песенного Делоне – почти классицистическое, торжественное:

Я бросил вызов Родине моей,
Когда ее войска пошли на Прагу.

Или «Часы напоминают мне наручники» – место этих стихов, безусловно, в основном корпусе книги рядом с «Заметками к автобиографии» и «Балладой о Владимире Высоцком».

Так или иначе, но получается злой парадокс: поэта Делоне многие увидели тогда, когда человека, Вадима, не стало. Парадокс, к сожалению, случающийся не так уж редко...

Василий Бетаки

КАССАНДРА ЗА ЛАГЕРНОЙ ПРОВОЛОКОЙ

«Государство неизменно упускает из виду, что терновый венец на голове поэта имеет свойство превращаться в лавровый», – так выразился Иосиф Бродский в своем предисловии к первой книге Ирины Ратушинской, молодой поэтессы из Киева, приговоренной в 1983 году к семи годам лагеря строгого режима и пяти годам ссылки. Приговоренной за то, что государство на своем дубовом языке называет «изготовлением и распространением» стихов. Выходит, п и с а т ь стихи может только официальный поэт – неофициальный (и, види-

Ирина Ратушинская. Стихи. Анн-Арбор, «Эрмитаж» – Нью-Йорк, ПЕН-Букс, 1984.

мо, любой начинающий) их не пишет, а «изготавливает». А прочел друзьям – значит, еще и «распространяет». Вот поэт Ирина Ратушинская, 1955 года рождения, «изготавливала и распространяла». Стихи эти оказались так хорошо «изготовленными», что распространились и за пределы СССР. Публиковала их практически вся зарубежная пресса – теперь же издательство «Эрмитаж» выпустило книгу Ратушинской на трех языках: в подлиннике и в переводах на английский и французский.

(К сожалению, переводы – за малым, очень малым исключением – действительно «изготовлены». Начиная с неточностей лексических: к примеру, ни по-английски, ни по-французски слово «барак» не переведено правильно, хотя в обоих языках соответствующее слово имеется. Еще хуже, когда утрачены вещи важнейшие, но не явные в лексическом смысле – например, французский перевод даже намеком не передает присутствующую в одном стихотворении шевченковскую мелодику, самым звучанием говорящую о том, чего нет в тексте, – о слиянии русской и украинской поэтических традиций в творчестве Ратушинской. Вообще мелодика Ратушинской осталась не переданной, и такая пронзительная лирическая стихия, такая музыкальная поэзия звучит на двух самых распространенных языках как плохая, нелепая, беспомощная проза. И все это подписано именем Ратушинской, а западный читатель далеко не всегда может увидеть, кто бездарен – поэт или его «перевозчики»...)

Но лучше поговорить о самом поэте – и о месте Ратушинской в нынешнем мчащемся литературном процессе.

Если сравнить Ратушинскую и ее ровесников с двумя предшествующими поэтическими поколениями, картина оказывается очень любопытной: поколение «медного века», ворвавшееся в литературу как в поэзии, так и в прозе в конце пятидесятых, отличается ораторскими интонациями, громкой музыкой стиха, резкими и разнообразными ритмами, да еще аллюзиями, а порой просто эзоповым языком – у кого художественный прием, а у кого и признак «смелости», фи́га в кармане... Это – мы, нынешние пятидесятилетние. Как верно заметил В. Аксенов, мы пробили дорогу следующим, но они, однако, так и остались непечатным поколением, поколением «тайной свободы». Почти все они родились и продолжают жить в самиздате, кроме тех, кто оказался на Западе. Иные из них, опять же сошлюсь на Аксенова, занялись, главным образом,

тем, что «скрежешут зубами на тех, кто в силу различных причин... оказался на поверхности»... Но если вернуться к стороне творческой, то среди них большинство «тихих лириков» и поэтов, тяготеющих к разным видам «чистого искусства», зачастую – к абсурдизму.

Это поколение рождено 68-м годом, годом Чехословакии, так же, как следующее вытолкнуто на поверхность польскими событиями последних лет.

По творчеству наиболее ярких поэтов этого, самого молодого поколения можно, видимо, определить главные признаки, объединяющие этих новейших русских поэтов. Они отбросили абсурдизм, они отбросили отвлеченно-философский (а порой и ложно многозначительный) эстетизм, отбросили «прозоподобный верлибр» и вернулись к звучащему, музыкальному стиху, не утратив той сложности и многослойности метафор, которую разработали поэты «тайной свободы».

Вот, для примера, одно из лучших стихотворений Ратушинской. Да, это стихи политические, но это истинная лирика, пронзительная и грустная... Напряженные ритмы и яркая, эмоционально-стремительная метафора:

Вот он над нами, их жертвенный плат,
Мазанный кровью.
Выйди пророчить и мор, и глад –
Никто и бровью.
Стоит ли спрашивать, что тебя ждет
На повороте?
Молча Кассандра чаю нальет,
Сядет напротив.
Молча постелит, заштопает рвань,
Кинет на кресле,
Молча разбудит в бездонную рань
И перекрестит...
Нет еще колера для твоего
Смертного флага.
Больно уж молод, да что ж, ничего:
Гож для ГУЛАГа...

Одно только не предвидено в этих стихах – смена ролей: сама Кассандра попадет в каторжный лагерь... Любовь и тра-

гедия – слияние их присуще всей мировой поэзии, у каждого времени горе свое, только нежность одна у всех времен... Да чего стоят все коллизии классицизма (долг – чувство, их борьба...) когда в наши дни долг и чувство слиты, а не противопоставлены! И что же? Гармония? Нет, трагедия, такая, что никаким Расинам не снилась:

А мы остаемся на клетках чудовищных шахмат,
Мы все арестанты.
Наш кофе сожженными письмами пахнет,
И вскрытыми письмами пахнут почтамты...

В книгу попали и стихи, помеченные 83-м годом – дошедшие из тюрьмы и лагеря. Они безошибочно свидетельствуют, что в том особом жанре, который имеется только в литературе социалистических стран, в жанре тюремно-лагерной поэзии, который дал в одной только России несколько перво-классных поэтических имен разных поколений, имя Ирины Ратушинской занимает место рядом с блестящим мастером и пронзительным поэтом, недавно умершим Валентином Соколовым–З/К или кубинцем Армандо Вальядаресом. Вот строки, написанные в апреле 1983 года, – это молитва о любимом, оставшемся «на воле». И звучит она с такой болью, что ясно: в большой зоне – не слаще...

Господи, как он там, присмотри за ним!
Чтобы с ума не сошел в пустом закутке квартиры,
Устыди его боль, от отчаянья сохрани,
Чтобы с ясным лицом – за двоих – он встал перед миром.

Путь заключенного представляется поэту более простым, чем жизнь оставшегося дома: «Мне светлей, чем ему, и дорога моя проста», – а вся Россия, вся большая зона – «сумасшедшие углы, размеченные пауками».

Сложная метафора порой у Ратушинской уступает место прямому, резко автологическому стилю, когда стихотворение в шесть-восемь строк поражает (как ахматовское!) точностью сухой формулировки, которая порой впечатляет сильнее любой метафоры:

Отчего снега голубые?
Наша кровь на тебе, Россия!

Белой ризой – на сброд и сор,
Нашей честью – на твой позор
Опадаем – светлейший прах.
Что ж, тепло ль тебе в матерях?

Выражение «голубая кровь» комментариев не требует. В этом контексте она – символ национальных традиций, культуры, чести, затоптанных теми, кого поэты начала XX века называли с большой буквы Грядущим Хамом. Теперь он (с маленькой буквы!) хам властвующий. Пока, по крайней мере...

Иосиф Бродский пишет в предисловии: «Осуждение поэта есть преступление не просто уголовное, но прежде всего антропологическое, ибо это преступление против языка, против того, чем человек отличается от животного». Что к этим словам можно добавить? Разве то, что одно поколение родилось в самиздате, а другое – начинает с лагерей. Его поэтическая родина – зона. И Ирина Ратушинская, и ее ровесник Ростислав Вогак-Евдокимов попали за решетку сразу по опубликовании первых стихов.

В. Волков

САТУРН УБИВАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ

Пятьдесят с лишним лет тому назад мудрейший Владимир Набоков писал в своем письме по поводу десятой годовщины Октября: «Я презираю коммунистическую веру, как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на мое свободное я, как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства». К сожалению, для людей с глухой душой недоступны простые истины.

В середине тридцатых годов по стокгольмским улицам гуляли мать с тринадцатилетним сыном. Она – немецкая коммунистка-эмигрантка, бежавшая из фашистской Германии, задала ему вопрос, в какой стране он предпочел бы жить – в

Вольфганг Леонгард. Революция отвергает своих детей. Лондон, ОРИ, 1984.

Англии или в Советском Союзе. И мальчишка восторженно заорал: «Конечно, в Советском Союзе, мама!» Представление о Советском Союзе как о первом в мире замечательном социалистическом государстве закрепилось в этой детской душе навсегда, оно смешалось в этом столь рано, до срока политизированном сознании с кучей других положений и догм и стало как бы второй натурой. Так, с отроческих лет началось становление будущего партаппаратчика.

Партаппаратчик – и слово, и само явление новые, появившиеся только в нашем веке и чрезвычайно важные для понимания происходящих ныне процессов. Ведь группа партаппаратчиков, захватившая власть в России, а затем такие же мафии, вставшие во главе других коммунистических стран, вершат судьбы не только своих народов, но и всего человечества. Книга Вольфганга Леонгарда, хотя и порвавшего со сталинизмом, но убежденного коммуниста и бывшего руководящего партработника, ставит немало проблем и интересна по целому ряду причин. Однако наиболее ценным представляется в ней подробно прослеженный путь коммунистического чиновника. Партаппаратчик рисует как бы собственный автопортрет. Такое нечасто случается. Приглядимся же к нему повнимательней.

Вехи личной судьбы: приезд в 1935 году в Советский Союз. Арест матери. Пребывание в привилегированном детском доме для детей иностранных коммунистов, напряженное изучение классиков марксизма-ленинизма. Начало войны, ссылка в Караганду и первые непосредственные столкновения со страшной советской действительностью. В дальнейшем – интенсивная учеба в специальной школе Коминтерна и несколько месяцев работы в немецком отделе радио в Москве. В 1945 году отъезд на родину с так называемой «группой Ульбрихта» и в Берлине работа в качестве сотрудника отдела обучения и вербовки Центрального Секретариата. В 1949 году бегство в порвавшую с Советским Союзом Югославию и все последующие годы сотрудничество с рядом американских и английских университетов, где В. Леонгард выступает как эксперт по вопросам мирового коммунистического движения.

Любопытно, что негативные впечатления от пребывания первых лет в Советском Союзе не поколебали веры юного Вольфганга в чистоту идеалов коммунизма: ни арест матери, ни парализующий ужас тридцать седьмого, ни драконовские

антирабочие законы сорокового, ни вопиющий для интернационалиста пакт СССР с нацистской Германией. В военной, забитой зэка и ссыльными Караганде умирали на улицах голодные люди, а в спецстоловых партийные руководители получали обильные обеды и дополнительные пайки. И, несмотря ни на что, все казалось само собой разумеющимся. Скорее всего, в основе иступленной веры не только одного Леонгарда, но и многих тысяч людей лежали животный страх и инстинкт самосохранения, усугубленные невероятной политизацией советского общества. Автор же, пытаясь объяснить собственную психологию комсомольца-энтузиаста и психологию своих друзей, утверждает, что в основе лежало стремление сохранить идеал. Думалось, что все это случайность, болезни молодого общества и вполне извинительные перегибы.

Однако настоящая наука закрывать на что следует глаза началась в спецшколе Коминтерна. Вот уж постине страшная кузница по перековке мозгов! Мы вообще мало знаем обо всей этой бесовской кухне, готовящей партийную элиту, — о всяких ВПШ, спецкурсах и секретных школах. В. Леонгард немного приоткрыл завесу и показал, каких циничных, тупых и послушных роботов готовила школа Коминтерна. Читаешь посвященные этому страницы, и мороз подирает по коже, возникает живое ощущение орвелловского ада — тут тебе и «минуты ненависти», и «вечера критики и самокритики». Тайные доносители записывают каждое слово и жест, провинившегося бичуют на проработочном собрании. Ослушники беспощадно выбрасываются и рано и поздно гибнут, а быть выброшенным партией, по словам Леонгарда, «хуже смерти».

Зато среди оставшихся — готовый набор беспринципных карьеристов, влюбленных в само слово «власть», делающих ставку лишь на политическую пропаганду и ловко меняющих поведение вместе с линией партии. Да, им приходится нелегко — необходим постоянный контроль и самоконтроль, бдительность по отношению к врагам и завистникам; возникает неотвратимая отъединенность от живых, нормальных людей, от настоящей человеческой жизни. Зато приходит ни с чем не сравнимое чувство «причастности» к высшей касте, ощущение, что ты — особый, что принадлежишь к элите! Это ощущение дают спецмагазины, дачи, санатории, клубы и особенно специнфомация, которая подчеркивает восхитительную

иерархичность специфического партаппаратского общества. По словам Леонгарда, существует «ступенчатая градация между незнающими, информированными и знающими много». Эта «градация» приносит информированным сладкое чувство оказанного доверия и неодолимой потребности его оправдать.

Как всякая каста, партаппарат – явление чрезвычайно закостенелое, неспособное к переменам и оторванное от жизни. Туда нелегко попасть, оттуда почти невозможно вырваться, там всеми мыслимыми способами надо уметь делать карьеру и добиваться власти. В этом химерическом обществе именно власть заменяет все человеческие ценности, и во имя власти партаппаратчик пойдет на все.

Принадлежность к партии – это как клеймо, которого не смоешь до смерти. В. Леонгард порвал со сталинизмом, но остался партаппаратчиком до мозга костей – с присущим этому типу людей стилем мышления, с забившими мозг и душу, затверженными с детства клише, с поразительно алогичным при внешней логичности ходом рассуждения. Ведь твердила же его мать, проводшая двенадцать лет в советских концлагерях, тюрьмах и ссылках, что были проявлены «недопустимые несправедливости по отношению к старым, заслуженным революционерам» и что Сталин ухитрился «до неузнаваемости исказить идеал». А что идеал-то был ложным и что в муках повинны сами же «заслуженные революционеры» – этому ни лагеря, ни ссылки партийную маму товарища Вольфганга Леонгарда не научили. Не научили они и ее приятельниц, которые, чудом вырвавшись с каторги, тут же стали преданными ответработниками партии Ульбрихта. Сам же В. Леонгард рассказывает, как один крупный партработник, узнав, что органами расстрелян его любимый сын, судорожно смахнул слезу и быстро переменял тему разговора: «Нет, нет... А теперь поговорим о работе!...» Нет, поистине западные политики недооценивают железной целенаправленности подобных руководителей-роботов в коммунистических странах!

Вся книга Вольфганга Леонгарда написана с позиций непогрешимого марксиста-ленинца. Для него самое страшное состоит в том, что сталинизм «извратил генеральную линию», что «культ вождя противоречит первоосновам живого социалистического движения и учению Маркса-Энгельса-Ленина о рабочих партиях». Вот почему отпад Тито от сталинского

партийного блока стал одним из сильнейших потрясений жизни для человека, впервые позволившего себе засомневаться в правильности действий своего руководства. Итак, Тито – новый оракул, новое непогрешимое и обожаемое божество, а Югославия – чаемый и вживе увиденный политический рай. Прибыв туда в марте 1949 года, Леонгард увидел то, что хотел видеть: «...социалистический общественный строй без господства иерархического аппарата, без бюрократически централизованного руководства экономики, свободной от террора». Правда, спустя тридцать лет, в предисловии к новому изданию своей книги, автор высказывался уже поосторожнее: «...без сомнения, были серьезные провалы, даже возвраты к бюрократическим формам мышления и деятельности, но это не уменьшает значения... произведенных преобразований». В целом же товарищ Леонгард очень гордится тем, что вся его работа и в югославской компартии и позже в качестве эксперта по положению в странах социализма была одним из тех камешков, которые заложили основы современного еврокоммунизма и так называемого «социализма с человеческим лицом».

Одно из самых страшных заблуждений нашего времени – этот «социализм с человеческим лицом»! А основы его закладывались кем? Да все теми же партаппаратчиками типа Вольфганга Леонгарда. Они заблуждались раньше, они цеплялись за «генеральную линию» и милые сердцу «идеалы», но почему же история последних десятилетий ничему их не научила? Почему титовская Югославия с ее самостоятельно-национальным удушением свободной мысли, всех человеческих прав и свобод, с ее своим, правда, специфически «титовским» ГУЛагом не показала, что любое социалистическое общество неотвратимо скатывается к бюрократически-диктаторскому режиму, а провозглашаемая Марксом-Лениным диктатура пролетариата олицетворяется в конечном итоге в виде кучки властолюбивых олигархов, владеющих страной? Почему ни самому В. Леонгарду, ни многочисленным его сподвижникам не показывает этого Китай, в котором эксперименты коммунистических правителей привели к миллионным жертвам и к голоду во многих провинциях? Автор книги может сослаться на проводимые там реформы (реформы, кстати, один из наиболее излюбленных его доводов в пользу утверждения о необходимости самостоятельного пути национальных коммунисти-

ческих партий к социализму). Автор может настаивать на том, что в Китае проводится свой *самостоятельный* китайский нэп. Но, как известно, своя рука владыка, и при желании нэп можно всегда подморозить. Слишком широко разлившаяся свобода рыночных отношений противоречит самой идее монопольной власти партократии, и эта последняя никогда не пойдет на добровольную отдачу власти. За что боролись?

История с неотвратимой, железной последовательностью показывала и показывает, что основные положения марксизма не выдержали испытания временем, что это сугубо головное, бездуховное, догматическое учение привело в конечном итоге (и не могло не привести) к созданию самого чудовищного, не виданного в истории человечества тоталитарного коммунистического государства, растлевающего свои народы и стремящегося закрепить весь земной шар. История показала также, что сталинизм – это вовсе не извращение ленинизма, а наиболее точное, стройное и логически полное его завершение. И еще история показала, что нет и не может быть «социализма с человеческим лицом», потому что неразделимы понятия бюрократия и социализм. И если вера в подобный «социализм» все шире разливается в западном мире, то этому в немалой мере содействуют именно партаппаратчики, бывшие ли, настоящие ли, но непременно прошедшие школу марксизма и зараженные им на всю жизнь.

Майя Муравник

ПОВЕСТЬ О МАРИНЕ

Глаза притягивают и пугают. Что-то вещее во взгляде. С обложки небольшой книги смотрит женщина, которая уже при жизни становилась легендой и ныне совершенно заслуженно признана, наряду с Пастернаком, Мандельштамом и Ахматовой, великим русским поэтом двадцатого столетия. Лет через двадцать после смерти Марины Цветаевой исследователи ее творчества и биографы потихоньку и словно бы даже с опаской начали приступать к своему ответственному труду. Уж очень сложной, противоречивой, мучительной была ее жизнь, слишком пристрастными и противоречивыми мнения критиков, самый отъезд ее на родину в тридцать седьмом году, в разгар сталинских чисток, вызывал недоумение и всякого рода подозрения.

Теперь ситуация во многом изменилась. В 1982 году в Лозанне прошел специальный цветаевский симпозиум, подытоживший труды исследователей и давший верное освещение ряда спорных проблем. Однако сочинений обобщающего характера о жизни и творчестве Цветаевой до сих пор не было. В 1966 году появилась на английском языке диссертация профессора Карлинского и на долгое время осталась единственным и не очень доступным широкому читателю произведением. Затем хлынул поток научных исследований, многочисленных журнальных и газетных публикаций – отрывки из воспоминаний современников, сообщения о вновь найденных письмах. Прожекторным светом вспыхнули книги воспоминаний Ариадны Эфрон и Анастасии Цветаевой (дочери и сестры поэтессы). Однако писавшиеся и публиковавшиеся в Советском Союзе (у Ариадны Эфрон в журнальном варианте) эти ценнейшие мемуарные свидетельства страдают известной скованностью и недоговоренностью. Начиная свою повесть о Марине Цветаевой, Мария Разумовская прекрасно понимала, что читателю хотелось увидеть, наконец, целостное, объективное и насыщенное произведение о поэте, где бы все отрывочное, неполное, пунктирно намеченное, а то и забытое смогло воссоединиться.

Мария Разумовская. Марина Цветаева, миф и действительность. Лондон, ОРІ, 1983.

Кто из эмигрантов третьей волны, транзитников, проживших в Вене середины наших семидесятых годов несколько месяцев и имевших хоть какое-то отношение к искусству и литературе, не знал замечательной семьи старых аристократов Разумовских? Все они: отец, мать (ныне покойные), а также дочери Мария и Ольга, люди большой культуры и душевной щедрости, – были буквально влюблены в прекрасное и по мере сил старались ему служить. Мать семейства Екатерина Николаевна Разумовская, по возрасту близкая Марине Цветаевой, в чем-то была сходна с нею и судьбой. Юность, прошедшая в России, прекрасное воспитание, полученное в семье, зрелые годы, проведенные в Чехии, собственные дети, выросшие там, и, наконец, эмиграция. Господь спас, правда, от возвращения на родину, а то не миновать бы Екатерине Николаевне страшного конца где-нибудь в колымских лагерях.

Екатерина Николаевна имела к созданию «Марины Цветаевой» самое непосредственное отношение, ибо, будучи свидетелем эпохи и зная массу специфических подробностей, явилась ближайшим помощником дочери в процессе написания книги, к тому же именно она перевела ее с немецкого на русский. Сама Мария Разумовская бесспорно чувствовала совершенно особую близость к Цветаевой не только из-за тяготения к ее творчеству, но хотя бы по родству крови: в жилах обеих течет и русская, и немецкая, обе великолепно владеют этими языками (а также и другими европейскими языками, что, кстати, позволило Разумовской свободно использовать гигантский научный материал), обе несут в душе страстную любовь к России и Германии и, кроме того, к Чехии, стране, где Цветаева провела лучшие, плодотворнейшие годы жизни и где прошли счастливые детство и юность Марии Разумовской.

Автору удалось создать образ поэта удивительного, чело- века необычного, одновременно притягательного и отталки- вающего, странного, причудливого, мистического. Силой необычайного духа Цветаева воистину как бы оторвалась от земли, стала как бы сама воплощением духа, сбросившего плотскую оболочку. И в этом, почти грозном ее качестве ее нелегко понять и – более того – полюбить. А без истин- ной, искренней любви к Марине писать о ней книгу невоз- можно. Разумовская сумела врасти в плоть и кровь своей геро- ини, заставила материнской, сестринской нежностью дышать

каждую строчку книги – поэтому она и читается с таким интересом, на едином дыхании.

Разумовская безусловно добилась цели также и потому, что великолепно знала материал, сумела искусно, с чувством меры и такта, цитировать бесконечные выдержки из воспоминаний, писем, критических отзывов и собственных произведений Цветаевой. По зернышку перебрано буквально все, что имело хотя какое-то отношение к Цветаевой, ее окружению и эпохе. (Некоторые свидетельства, к примеру, Нины Берберовой, дипломатично помещены в разделе примечаний.) Из архивных глубин поднят, для рассказа об отце, «Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1909 год». Для того, чтобы вплотную приблизиться к совсем иным событиям, свершившимся чуть ли не на три десятка лет позже, – к делу об убийстве возглавленной С. Эфроном террористической группой Игнаца Рейсса – Разумовская по страничке проглядела газеты той поры. Отчеты швейцарской «Нойе цюрхер цайтунг» даются с начала сентября 1937 года по конец февраля 1938-го.

Ведущими, задающими книге тон, стали, безусловно, воспоминания Ариадны Эфрон и Анастасии Цветаевой. Перекликающиеся по стилю с цветаевским, близкие ему трагической нотой и интонационной напряженностью, они стали своего рода музыкальным ключом всей композиции. Отражены свидетельства людей, не только близко знавших Марину, таких, как М. Волошин, П. Антокольский, М. Слоним или Е. Извольская, но и тех, кому довелось встречаться с ней эпизодически, – Ф. Степуна, Н. Еленева, Е. Каннак. Для обрисовки эпохи и общества или настроений, царивших в нем в ту или иную пору цветаевского творчества, использованы фундаментальные труды ученых, публицистов, общественных деятелей – Р. Вильямса, Г. Струве, Великого князя Николая Михайловича. Однако Разумовской порой в особой степени интересны свидетельства скромных, но внимательных и умеющих схватить характерное свидетелей времени, таких, как Е. Герцык, к примеру, или К. Куприна.

Раскрытие образа Марины Цветаевой идет в книге постепенно, шаг за шагом, начиная с родовых – отцовских и материнских – корней и кончая эпохой шестидесятых годов, когда и в Советском Союзе, и на Западе смогли, наконец, оценить ее могучий дар и верность поэтическому призванию, понятному

как приказ свыше. Автор твердо проводит принцип параллельной обрисовки внешних событий и их соотносительность с развитием душевного склада героини, который как бы проецируется на грозный фон эпохи. Незаурядные личности всегда резонансно настроены по отношению ко времени. В парадоксальной личности Цветаевой и отношения со временем – парадоксальные. Мятежная, бунтарски настроенная девушка-подросток восторженно принимает революцию 1905 года, жаждет «пойти на баррикады» и «пролить кровь во имя свободы, братства и справедливости». О себе самой тогдашней она пишет: «Я была героичной: то есть: бесчеловечной». Начало войны с Германией оставляет Марину равнодушной, душа остается глухой к гулу боев, столам раненых и патриотическим лозунгам, будоражащим толпу. И вдруг неожиданная реакция – сочувствие, сострадание, жалость – и вовсе не к России, а к Германии, которая кажется ей слабой и всеми преследуемой: «Ну, как же я тебя оставляю?! Ну, как же я тебя предаю?»

Марина всегда на стороне гонимых, жертв, и есть еще в ее натуре то главное, что определило характер на всю жизнь: бескомпромиссность, ненависть к любым канонам, запретам, барьерам. В 1919 году на собрании во Дворце культуры Цветаева в присутствии Луначарского читает дерзкий, вызывающий монолог дворянина перед казнью. Впоследствии она с гордостью признается: «...Вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не... Ленину, но Ленин бы ничего не понял – а не всей Лубянке». Революция 17-го года воспринята с ужасом. Теперь, ощутив безумие и беды, принесенные революцией, на собственных плечах, Марина изрекла пророчески-верно: «Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон».

Двигательным нервом личности Цветаевой была любовь. Как точно подметил Бальмонт, ей была свойственна «душевная сила к любви и любви к красоте», она жаждала, чтобы людям была «смертная надоба» в ней. Возвращаясь в советскую Россию, она так надеялась, что «с новым бы жаром все любила»!.. Но главным было прежде всего – личная причастность. Мировые катаклизмы оставляли безразличной – не тронуло нарастание Второй мировой войны, глухие слухи о процессах в Москве, грязная возня ГПУ в Париже. Она не видела, что творится в ее собственной семье – что с 35-го года ее муж Сергей Эфрон стал платным агентом этой организации. На

допросах во французской полиции ответила то, что при своем характере только и могла ответить: «Его искренняя вера могла быть обманута, но моя вера в него останется непоколебленной».

О бытовой, подчас каторжной стороне жизни Цветаевой Разумовская пишет как о чем-то своем, выношенном и выстраданном, относясь к поэтессе по-родственному – то сострадавая, а то и браня. С неудовольствием замечает, например, как эгоистически отнеслась Марина к дочери, не позволив ей учиться, чтобы та помогала по хозяйству и нянчилась с братом. А обожаемый сын превратился в маленького тирана, и, может, в какой-то мере именно он (дается намек) толкнул мать в петлю, когда в Елабуге раздраженно крикнул ей: «Кого-нибудь из нас вынесут из дома ногами вперед!»

Начиная свой труд, автор в общем-то не ставил перед собой глобальных задач. Эта книга – не научное исследование, в ней никаких особых открытий нет, в ней отсутствует дух сенсации и полемической заостренности. По собственному признанию Разумовской, она писала для того, чтобы «...познакомить немецких любителей лирики с поэзией Марины Цветаевой... обратить внимание на трагическую судьбу не только ее, но и всего ее поколения, а также... раскрыть ее жизненный путь... и выяснить, что в этих рассказах миф и что реальность».. Книга вышла за рамки намеченного, ибо масштабность, теплый, мягкий настрой и чисто познавательная ценность ее таковы, что становятся интересными не только для немецкого читателя, но и для читателя вообще.

М. Михайлова

ДВЕ С ЛИШНИМ ВЕЧНОСТИ НАЗАД...

Который уже раз приходится писать нелепое сочетание слов: «Первая книга поэта – его избранное». Началось с Коржавина, да так и продолжается – поэты годами, а то и десятилетиями в СССР не могут выпустить тех самых тонких сборников, выход которых стимулирует их новые повороты, новый взгляд на мир и новую форму: ведь каждая книжка – иная грань.

И вот обратной связи – читательского мнения, двигателя этих перемен в авторе – и лишены поэты двух молодых поколений. Впрочем, то, к которому относится Бахыт Кенжеев, поколение «тайной свободы», выросшее почти поголовно в самиздате, было первым исключенным из нормального литературного процесса. И Кенжееву еще повезло больше, чем другим его ровесникам: время от времени стихи его появлялись то в «Юности», то в «Просторе» или еще где-нибудь. Но книжки, книжки не было! И вот – «Избранная лирика, 1970 – 1981».

И когда стихи собраны вместе, стало видно, что поэт перед нами не только со своим лицом, стилем, но и со своими, почти постоянными, темами. Скажу сразу, чтобы не плутать по метафорам и не пробиваться вместе с читателем к формулировке «а кто он, то есть о чем он?» Лейтмотив: Кенжеев – поэт одиночества.

Одиночество на фоне городского пейзажа... Впрочем, чаще не на фоне, чаще в диалоге с этим пейзажем. От этого одиночество как-то еще острее воспринимается:

Ах город мой город прогнили твои купола
коробятся площади потом пропахли вокзалы
довольно довольно навозного злого тепла
я тоже старею и чувствую времени мало

Кстати, в этом стихотворении модное лет десять назад отсутствие знаков препинания совсем ни к чему: строки звучат классично, не рвет поэт с акмеистической детальностью образа, не рвет и с музыкой русского классического стиха, обогащенной Блоком и в таком виде вошедшей в мелодическую

Бахыт Кенжеев. Избранная лирика 1970 – 1981. «Ардис», Анн-Арбор, 1984.

палитру Кенжеева. Поэтому внешний, неоправданный прием этот, стих без знаков препинания, уместный в верлибрах с резко смещенной метафорикой (для запутывания хотя бы!) тут – как на корове седло. А точнее – на кровном аргамаке ярмо-деревяшка. Тем более, что интонации кенжеевских стихов уводят порой в те, пропущенные нашими поколениями времена, которые звали когда-то несправедливо безвременем: в последние десятилетия прошлого века, в романсную эпоху, от которой хоть романсы, хоть вальсы оставшиеся почему-то называют «старинными», хотя многое постарше такого названия не удостоилось...

Это не значит, что стихи Кенжеева похожи на Апухтина или Случевского, отнюдь! Но образ «отворяющей потихоньку калитку», в белом платье, или ретроспективы Борисова-Мусатова, тоже тихо зовущие в восьмидесятые годы... И вот, если, по совету О. Мандельштама искать корни поэта, искать его предков, чтобы понять, кто он, то увидим тень Блока (о чем речь впереди) и четкий образ нашего старшего современника, одного из самых пронзительных русских поэтов наших дней Арсения Александровича Тарковского. Только с ним, только с его *подлинной старинностью* перекликаются такие стихи Кенжеева, как «Пролог», которым открывается эта *красивая* книга. (Не бойтесь, пожалуйста, этого слова, верните ему лучше его первородный смысл!)

Я вспоминаю давний сад,
две с лишним вечности назад
играла музыка чужая,
и у раскрытого окна
сидела женщина одна,
стихи с улыбкою листая...

И вот так непохоже на этот мир, так вроде бы несовместимо с ним другое, неоромантическое начало, тоже заметное в поэзии Кенжеева. Оно воплощено в резкие трубные ритмы киплинговских баллад, ритмы, подхваченные многими русскими поэтами, да так подхваченные, что стали они, эти ритмы, вовсе русскими, хотя у каждого иными. И все та же тема одиночества, усиленная мотивом прощания, но сентиментальное изящество старинного вальса сменяется суровым ветровым голосом:

Прощай! Раскайавшийся стократ
Блажен, потому – хитер.
Ему – смеяться у райских врат,
и не для него костер,
А ночь свистит над моим виском,
не встретиться нам нигде,
лежит колечко на дне морском,
в соленой морской воде...

Это чрезвычайно любопытно: кипплинговские ритмы, ведущие за собой неминуемо свою образность, а с ней и ситуацию, сюжет, наконец облик поэта, вырастающий из этих строк, одинаково близки были Багрицкому и Арс. Несмелову, Н. Тихонову и А. Галичу... Пожалуй, нет такого другого примера, когда лучшие поэты целого полувека в одной из богатейших литератур мира так были бы связаны с одним, да еще иноязычным поэтом, как русские поэты – от Гумилева до Кенжеева – связаны с автором «Песни банджо».

Чаще всего у этого поэта одиночества образ женщины отсутствует. Одиночество становится совершеннее, полнее. Отсутствует женщина в самих стихах, она в них почти всегда – тенью, воспоминаньем. На сцене стихотворения вы ее не увидите. И это прощанье-воспоминанье звучит тягуче и колыбельно:

Город, голос безудержной сини,
монастырские башни вдали...

.....

Город, город, отдай мою руку,
я еще недостаточно стар,
Нас с любимой кидает друг к другу,
Так что кости ломает удар,
Нас пронесит по самой стремнине...

Вообще «жанр» воспоминания – типичный прием композиции кенжеевского стихотворения. Порой это – воспоминанье, можно сказать, «генетическое» – словно голос давних предков, кочевых монголов, звучит в стихах русского поэта. Стихотворение «Откочевали братья мои...» наполнено тревогой дальних путей, неведомых и неверных, духом авантюризма

и все той же суровой интонацией неоромантического потока, никогда не иссякающего в русской поэзии. И странно читать эти очень русские стихи, в которых мир видится глазами татарина двенадцатого столетия:

Унеслись на Запад смелые люди мои,
Унеслись сыновья узкоглазые, молодые,
К просторам славянским, землям венгерским,
Оставили степи сухие, к озерам голубооким,
Унеслись к женщинам с бледною, белою кожей,
Русскому золоту, шведскому серебру...

Вот этот мотив авантюристического нетерпения, гонящего человека по неведомым странам, – одна из важнейших тем в творчестве Кенжеева.

И мотив одиночества сливается с этим мотивом странствия в один образ – непоседливого, бродяжьего, рискованного героя неоромантических баллад. (Хотя, как ни странно, баллад у Кенжеева нет. Нет, как жанра, но интонации их проскальзывают в его стихах. И вот образ этого героя, слегка изысканного, старинного и вместе с тем вечно куда-то уходящего, вечно одинокого – ибо прощается с кем-то или чем-то все время. И жадность к познанию себя, а через себя всего Сущего, как двигатель, гонящий эту беспокойную личность – гумилевских капитанов или сегодняшнего молодого человека, одна из главных сил, творящих поэзию Бахыта Кенжеева. Поэт сказал о ней в одном из лучших своих стихотворений:

Собираясь в гости к жизни
надо светлые глаза,
свитер молодости грешной
и гитару на плечо...

Но жизнь предлагает тебе вовсе не столь оптимистическое отношение, с которым ты к ней обратился, Город, городской пейзаж, тот, что у поэта второе действующее лицо его стихов, тот, единственный собеседник, с которым поэт ведет диалог, вовсе не покладистый приятель, с которым о чем угодно можно беседовать, – он требует своей темы, он опять напоминает об одиночестве, на этот раз – о простом, не философском одиночестве, о пустоте, когда ушла... Кто, кстати? И

вот мотив особый, мотив именно Кенжеева – ушла – женщина? Или сама жизнь? В образе женщины? Эта блоковская двойственность образа пунктиром проходит сквозь все кенжеевские любовные стихи. В них опять не любовь главное, а – одиночество:

На газоне золотые пятна
а в кармане ни гроша.
Тем-то и зовет, что невозвратна,
тем и хороша...

И сразу же, в следующей строфе, жизнь эта приобретает конкретные черты женщины:

Плакала и пела, уходила
лепетала ни о чем...

и опять абстрагирующий образ – опять это жизнь вообще, а не женщина:

спящего и мертвого будила
солнечным лучом.

И в завершении стихотворения эта не названная о н а в конце концов обретает плотские черты, но тогда, когда уже безвозвратно исчезла из стихотворения и из жизни его героя:

...ушла, тая обиду
сквозь шеренгу фонарей,
медным колокольчиком для виду
звякнув у дверей...

Вот так и не дав определенного указания, кто же это – женщина или Жизнь, поэт подводит нас к истинно блоковскому ощущению бытия, но обломанному острыми ударами всего нашего почти уже минувшего века, века, в котором блоковский «страшный мир» потерял свои черты романтического ужаса, сменившегося вполне реальной невыносимостью и скукой, такой, какую Блок предвидеть не мог... А впрочем, на восклицание Блока: «О, если б знали, дети, вы / холод и мрак грядущих дней» Кенжеев четко отвечает: «ЗНАЕМ». Мотивы одиночества, главные в его стихах, они и есть ответ на этот отчаянный вопль великого поэта из сгущавшегося уже мрака нашего столетия...

В. Б.

В названии книги Майи Каганской и Зеева Бар-Селлы* сведены вместе два литературных персонажа: мебельный мастер Гамбс, изготовивший знаменитые «Двенадцать стульев», и Маргарита из булгаковского романа. Дьяволиада Булгакова не одинока в советской литературе, – говорят читателю оба исследователя. Она предвосхищена сатирической дилогией Ильфа и Петрова.

Это положение доказывается для начала тем, что в романах Ильфа и Петрова тоже действует свой Воланд – под именем Остапа Бендера.

Что же роднит неукротимого авантюриста с сатаной?

Очень, очень многое, утверждают исследователи. Если начинать издалека, с истоков ильфопетровского творчества, – никак нельзя пройти мимо постоянной тяги этих писателей к известному сорта демонизму.

Правда, при ближайшем рассмотрении демонизм этот оказывается настолько поверхностным, что по мере знакомства с книгой Каганской и Бар-Селлы возникает подозрение: уж не бездушный ли компьютер был привлечен, в соответствии с нынешней всеобъемлющей модой, к данному литературоведческому анализу?

Например, на основе довольно бледного совпадения (Остапу, напоминают нам, не понравилось зрелище Кавказских гор, к которому оставался равнодушен и лермонтовский Демон) Майя Каганская и Зеев Бар-Селла объявляют: этот Бендер – «не кто иной, как Демон, дьявол, Люцифер, короче, Воланд».

Мало того: «из рая он был изгнан совсем недавно», – ибо при первом появлении Бендера перед читателями в кармане у него обнаруживается еще не съеденное и даже «не успевшее остыть» (?) яблоко. И встреченный им беспризорный, настаивают литературоведы, уж хрустит р а й с к и м яблочком...

Привлекается и старый рассказ Ильфа, где в какой-то советской конторе у сотрудников были счеты сообразно их рангу: «от сосновых до пальмовых». Ба, так ведь это у Лермонтова «на севере диком» – сосна, «на утёсе горячем» – пальма!

* Майя Каганская и Зеев Бар-Селла. Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив, 1984.

– восклицают начитанные литературоведы. «Ну, а уж где Лермонтов, там и Демон».

Еще один штрих к ряду: Остап открывает контору «Рога и копыта», – это ли не свидетельство его демонизма? Увы, дело обстоит куда проще: контора эта – от лукавого, говорят Ильф и Петров, независимо от того, кто ее создает, ибо это всего лишь лицемерное прикрытие нелегального предприятия, безнадежного в советских условиях.

Это уже советская власть, сатанинская по своей сущности, присвоив эту контору, придала ей сатанинский размах, до которого далеко было Остапу Бендеру, – назвав ее «Гособъединением Рога и Копыта» и выделив ей целый этаж, если не все здание.

Пойдем дальше. «Воронья слободка», говорят нам, – это ад в миниатюре. То, что ее обитатель Никита Пряхин – бес, вроде бы следует непосредственно из текста «Золотого теленка», ибо на ногах у Никиты – «темные, панцирные ногти», то есть, по существу, когти. Люция Францевна Пферд – ответственный квартиросъемщик в Вороньей слободке. Ее имя и фамилия звучат как «Люцифер», а к тому же Пферд по-немецки – лошадь («а где лошадь – там копыто!«). Короче, сатана в юбке. Там же обитает «злой, как чёрт» Гигиенишвили с «дьявольскими глазами». А когда Воронья слободка горит, мимо проносится инженер Талмудовский, спешащий под «звон копыт» на вокзал, прочь из города. Исследователи не преминули и его пристегнуть к той же концепции: «бесовская природа инженера засвидетельствована звоном копыт» (извозничьей лошади, заметим в скобках, – ибо Талмудовский прозаически уносился на извозчике).

И, кстати, Полесов – тоже бес, на что недвусмысленно указывают его фамилия и место жительства – Перелешинский переулоч, название коего явно произведено от слова л е ш и й.

Вернемся, однако, к Остапу.

Объявленный, как мы помним, не кем иным, как Демоном, дьяволом, Люцифером, он, оказывается, предстает в некоторых сценах романа и «претендентом на роль Иисуса», – главным образом на том основании, что ему было «тридцать три года – возраст Иисуса Христа». Что же, наши исследователи видят в нем Антихриста? По-видимому, нет. Впрочем, им ничего не стоило бы объявить его и Антихристом, судя по той

непринужденности, с какой они жонглируют многими реалиями. Так, не могут они пройти, скажем, мимо ишака, возникшего в разговоре о старгородском трамвае. При чем тут ишак, отчего он попал в их поле зрения? Ответ обезоруживающе прост: «А при том, что Иисус въехал в Иерусалим на осле».

Более чем вероятно, что, как констатируют Майя Каганская и Зеев Бар-Селла, сквозь гоголевский текст («Тарас Бульба»): «Батько! где ты? Слышишь ли ты?» просвечивает известная евангельская фраза. Но не «Тараса Бульбу» разбирают наши исследователи, им эта фраза нужна лишь постольку, поскольку произнесший ее герой носит имя Остап, и поэтому из нее они делают лихой вывод: «Итак, русская классика подтверждает с а к р а л ь н о е происхождение фельетонного героя» – Остапа Бендера. Господи, спаси и помилуй!

Многие другие реалии в дилогии Ильфа и Петрова, утверждают М. Каганская и З. Бар-Селла, – это, несомненно, отклик на тогдашнюю злобу дня.

Так, Востриков (о. Федор) – конечно же, Костриков, то есть Киров, который, как известно, одно время подвизался на том же Кавказе, куда занесла о.Федора погоня за злополучными брильянтами... Фараонская бородка Васисуалия Лоханкина – не иначе как намек на Троцкого. Но если даже это и так, – что это дает для «раскрытия образа», как выражались наши советские школьные учителя?

Увы, очень мало, а то и ровным счетом ничего, если учесть, что о. Федор одновременно – Прометей (колбаса, склеванная у него горным орлом, символизирует-де исклеванную Прометееву печень), а Лоханкин – не только отчасти Троцкий, но одновременно и... Степан Верховенский из «Бесов», поскольку предтеча жены Лоханкина Варвары – это, несомненно, ее тезка, Варвара Петровна Ставрогина из романа Достоевского, «которая, как и ее преемница (!), имеет возможность содержать и содержит бездельника-интеллектуала».

Именно так. С той же безапелляционностью, с какой объявлялось: Остап Бендер – «не кто иной, как Демон, дьявол, Люцифер», теперь нам заявляют:

«Итак, Васисуалий Андреевич Лоханкин есть не кто иной, как Степан Тимофеевич Верховенский».

Что делать! Пороки сравнительного литературоведения усугубляются здесь упрощенной системой счисления, двоич-

ным кодом, коим пользуется машинная логика. Этот код категоричен: либо есть – либо нет, либо черное – либо белое, либо абсолютное подобие, либо абсолютная противоположность.

«Коля и Мика, июнь 1914 г.» – гласит у Ильфа и Петрова надпись на придорожной кавказской скале. Вполне очевидная аллюзия с Николаем и Михаилом – императором и великим князем, которые один вслед за другим отреклись от российского престола. Но Майя Каганская и Зеев Бар-Селла почему-то полагают, что в данном случае подразумеваются скорее всего Николай I и Михаил Лермонтов, то бишь демон, или же Николай I и Николай последний, которого в семье именovali Никой (почти Микой).

А Берта – одно из имен Остапа Бендера? Это, конечно же, от «Большой Берты» – германской дальнобойной пушки, обстреливавшей Париж в дни Первой мировой войны, ибо Первая мировая война означала-де «провал империализма в целом».

Думается, «Бертой» Остап Бендер был окрещен не в честь «провала империализма в целом», а в качестве указания на его поистине пушечную пробивную силу. Только и всего.

В поддержку своей концепции всепроникающей сакральности и универсального сатанизма исследователи привлекают мистику чисел. Старгородская беседа об ишаке пригодилась им и тут. Особенно фраза Треухова:

«– Вот это и есть Азия! – сердито сказал Треухов. – Ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год».

«Тре-ухов, – комментируют Каганская и Бар-Селла, – тридцать рублей – тридцать сребреников, тридцать рублей да еще три – возраст Иисуса Христа».

Еще более важным с тех же позиций им представляется число п я т ь.

Пятиконечная звезда, как известно – «с давних пор есть неотъемлемая принадлежность Люцифера и, в перевернутом виде, служит символом Антихриста, то есть Дьявола». А в «Бесах» Достоевского мрачные революционеры нечаевского толка собирались поднять бунт, «опираясь на целую сеть п я т е р о к».

Следовательно, и романы Ильфа и Петрова не могли не содержать настойчивого упоминания магического числа «пять», без него жанр дьяволиады не сказался бы в них так явственно, заключают исследователи.

И действительно: Васисуалия Лоханкина изгнали за неуспеваемость из п я т о г о класса гимназии (попутно авторы исследования почему-то многозначительно обыгрывают термин «неуспешность», хотя в этом термине нет ничего таинственного: это выражение было в начале века так же распространено, как вытеснившая его в дальнейшем неуклюжая «неуспеваемость»). Гостиничный номер п я т ы й пользовался, по Ильфу и Петрову, скверной репутацией. Нехорошие дела творились и в доме номер п я т ь по Перелешинскому переулку.

Мало того. Помянутый Талмудовский – еврей, «человек пятого пункта», как горько шутят в современной России, имея в виду сакраментальный 5-й пункт советских анкет и паспортов: «национальность».

Дойдя до этого лыка, вставленного М. Каганской и З. Бар-Селлой в ту же строку, хочется спросить: господа, вы это серьезно?

Нет, конечно. Исследователи демонстрируют нам то, что называется «занимательным литературоведением». И оно действительно было бы занимательным, то есть непритязательным, развлекательным и ни на что большее не претендующим, если бы наши авторы на том же уровне не перебрасывали то и дело мостики – таков уж замысел их труда – к роману Булгакова, а также, как мы уже убедились, по мере возможности и к Гоголю, и к Достоевскому. На них тоже распространен этот механический подход.

Вот как поверяется магией чисел булгаковский роман «Мастер и Маргарита»:

Доказательства бытия Божия – их тоже ровно п я т ь.

Действие романа разворачивается в Москве в мае (пятый месяц года!). Берлиоз жил в квартире под номером, правда, не пять, но – пятьдесят, и эту же квартиру облюбовал для себя Воланд. Понтий Пилат – пятый прокуратор Иудеи...

Так вовлекается булгаковский роман под тот же плоский прессмеханической обработки. Естественно, она не ограничивается областью чисел. Например, прозвучало в романе слово «бессмертие» – в тоскливой череде мыслей Понтия Пилата. Исследователи тут же отмечают, что оно встречается и в ином эпизоде романа – у входа в писательский ресторан, где возникает вопрос о бессмертии Достоевского. Что это дает литературоведам? Чем в данном случае обогащается литературоведение? В сущности, ничем, но как же было не отметить...

«Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл», – читает прокуратор Иудеи на пергаменте Левия Матвея. М. Каганская и З. Бар-Селла тут же засекают это слово – «кристалл». Машинная память немедленно выдает строчку, где употребил то же слово Пушкин. Вывод: «магический кристалл» поэта плюс памятное всем чеховское «небо в алмазах» как бы подтверждают, что в романе Булгакова «разыграна вся русская литература от Пушкина до Чехова».

Совпадения отдельных слов продолжают накапливаться по мере чтения романа Булгакова, все более подкрепляя глубокомысленный вывод об усвоении автором классического русского литературного наследия. Так же мог бы срабатывать (и срабатывает) компьютер с достаточно емкой памятью: допустим, откликаясь на упоминание Булгаковым «осетрины второй свежести», он автоматически давал бы отсылку к «осетрине с душком» из «Дамы с собачкой» (эта параллель тоже заимствована мной из книги «Мастер Гамбс и Маргарита»).

Правда, как и следовало ожидать, при таком методе возникают и сбои:

«– Какой там кот? – в злобе закричала девица. – Осел у нас в филиале сидит, осел!» Как было при цитировании этих слов не вспомнить об осле, на котором, как известно...

А впрочем – это из Евангелий известно. Что же до романа Булгакова, то там Иисус отнюдь не въезжает в Иерусалим, а входит пешком:

«Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

– У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея...»

Однако сбои не смущают авторов исследования. Они находят всё новые и новые параллели между отдельными главами романа Булгакова, а главное – между этим романом и дилогией Ильфа и Петрова.

Скажем, у кота Бегемота после поджога Торгсина закопчен лоб; точно как у слесаря Полесова из «Двенадцати стульев»! Слесарю случается чинить примусы; находим таковые и в Вороньей слободке; помним мы примус и в руках Бегемота. «Квартирный вопрос» создает «метафизический фон» романа Булгакова, – но тот же вопрос актуален и для персонажей романов Ильфа и Петрова, прежде всего для обитателей все той же универсальной Вороньей слободки. Более того:

самому Воланду в Москве негде жить... но – «Не менее плачевно обстоят дела и у демона Остапа... Таким образом, сходство меж Воландом и Бендером шире, чем казалось на первый взгляд: у них обоих нет не только квартир, но и вещей; каждый начинает знакомство с новым городом, встречаясь с образом собственной неприкаянности – беспризорным и Бездомным».

Следуя тому же методу и подверстывая всякое хилое лыко в строку, М. Каганская и З. Бар-Селла засыпают читателя буквально градом аналогий: «действие обоих романов начинается в аллее», «в обоих романах возникает проблема с пивом», в обоих упоминается – и неоднократно! – Черное море... Маятник смелых сопоставлений раскачивается все шире, авторов литературоведческого исследования заносит, что называется, все круче. Так, они замечают: фраза Остапа Бендера «Я стал как-то понимать по-бенгальски» как бы высвечивается (?) фамилией конференсье Жоржа Бенгальского (у Булгакова). Между тем, конференсье просто получил звучную эстрадно-цирковую фамилию, и этот заурядный факт ни в малейшей мере не связан с мнимым приобщением Остапа Бендера к бенгальскому языку.

Дальше – больше. Любые реалии двадцатых – начала тридцатых годов – «золотухи», театр Мейерхольда, фильмы Эйзенштейна, примусы, сандалии, шахматы, дореволюционная мебель, трости с набалдашником в виде собачьей головы, беспризорные у асфальтового чана, – словом, реалии той действительности, что повседневно окружала авторов рассматриваемых романов, – принимаются М. Каганской и З. Бар-Селлой за мистические символы, знаки некоего вселенского шифра:

«Если кожаные сандалии подпольного миллионера Корейко с такой очевидной уху легкостью пришились впору прокуратору Иудеи, – это говорит о чем-то большем, чем совпадение размеров». Действительно, Корейко носил распространенную в 30-х годах дешевую обувь – сандалии. Носил их и Понтий Пилат. Вспомним, однако:

«Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным с а н д а л и я м Иешуа, что тот сторонится от солнца». Сандалии носили не только Корейко и прокуратор Иудеи, но и Иешуа. Следует ли из этого, что и ему «с очевидной уху легкостью»

пришлись сандалии Корейко? Если следует, то, значит, это не Остапа Бендера, а скорее его жертву Корейко надлежит признать Иисусом?

Как мы видели, во многих случаях авторы книги «Мастер Гамбс и Маргарита» очень смелы в своих сопоставлениях и догадках. Они не останавливаются даже перед проведением прямых параллелей между романом Булгакова и «Бесами» Достоевского, – прямых, но уж очень поспешных:

«Первым делом, понятно, обнаруживаются (у Булгакова. – И. К.) «Бесы»: пожар в Скотопригоньевске – пожары в Москве; обгоревший труп барона Майгеля – обгоревшие трупы Лебядкина и его сестры...»

Однако нет в романе Булгакова «обгоревшего трупа барона Майгеля», не говоря уж о натянутости сопоставления живых Майгеля и Лебядкина.

С другой стороны – авторы, весьма ревниво относясь к догадкам других исследователей, очень к ним суровы: так, мимоходом отклоняется предположение, что в образе борова Николая Ивановича в «Мастере и Маргарите» сатирически изображен Николай Иванович Бухарин.

Ряд построений и сопоставлений Майя Каганская и Зеев Бар-Селла конструируют в качестве доказательств своеобразных литературно-арифметических тождеств, и к середине книги мы узнаём, что эти тождества будто бы уже можно считать несомненными, – или, если это уравнения, – доказанными. Какие же?

Воланд – Мастер – Га-Ноцри (Иисус)

Мейерхольд – Воланд – Мастер

Сталин – Воланд

Булгаков – Мастер.

«Из чего, к сожалению, следует не только тождество Булгаков – Мейерхольд, но и Сталин – Га-Ноцри», – заключают М. Каганская и З. Бар-Селла.

Сталин – Га-Ноцри, то есть Христос? С какой стати?!

Такое тождество слегка намечалось, правда, в булгаковской же пьесе «Батум» – пьесе достаточно позорной: «Через семь дней трехактная пьеса была готова... Я, не стыжусь признаться, заплакал! – сознаётся автор. – В смысле бездарности – это было нечто совершенно особенное, потрясающее. На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?!»

Но «Батум» – это антипьеса, антилитература, провальный антипод блистательного романа «Мастер и Маргарита». И тем не менее, приведенные выше тождества, при всей их спорности, не вполне бесплодны. Они подтверждают еще раз знаменитый тезис о сдаче и гибели советского интеллигента, – о сдаче, не спасающей от гибели, а скорее приближающей ее.

* *
*

Несправедливо было бы утверждать, что вся книга Майи Каганской и Зеева Бар-Селлы построена на механических, нередко поверхностных сопоставлениях. Авторы то и дело высказывают в ней интересные соображения, остроумные догадки. Безусловная талантливость обоих авторов дает себя знать даже во многих надуманных построениях, – но в полную силу проявляет себя там, где Каганская и Бар-Селла хотя бы ненадолго отвлекаются от своей неубедительной концепции, перестают играть в однообразную и малоплодотворную литературоведческую игру и всматриваются в ткань исследуемых романов, сопоставляя ее с жизнью и бытом эпохи.

Москвичи, говорит Воланд, «люди как люди... в общем напоминают прежних, квартирный вопрос только испортил их». «В переводе на язык булгаковской фабулы, – замечают М. Каганская и З. Бар-Селла, – Воланд сказал, что жители Москвы в общем не изменились, только стали убийцами и доносчиками». Совершенная правда!

«Воронья слободка» простирается, как подчеркивают авторы книги «Мастер Гамбс и Маргарита», от Лимонного переулка до льдины на 84-й параллели, где сидит постоянный жилец этой коммунальной квартиры летчик Севрюгов. «Таким образом, „Воронья слободка“ раскинулась на необъятных просторах „от финских хладных скал до пламенной Колхиды“». Тоже очень верное наблюдение.

Говоря о Берлиозе – персонаже романа Булгакова, исследователи замечают: «фамилия злосчастного критика одолжена у композитора Берлиоза не только потому, что он был автором „Фантастической симфонии“, но и потому, что на его приезд в Петербург откликнулся русский лирик и музыкальный фельетонист Яков Полонский:

Здесь Берлиоз! Я видел сам
Его жидовско-римский профиль
И думал: что-то скажет нам
Сей музыкальный Мефистофель?»

Таким образом, Булгаков, подбирая фамилию своему герою, вспомнил Полонского. Предположение тем более основательное, что Полонского почти дословно цитирует и главный герой дилогии Ильфа и Петрова. Тут бы и развить нашим литературоведам мысль об общем культурном субстрате, питавшем и Булгакова, и Ильфа с Петровым, и многих других их современников! Что же касается Берлиоза – заметим в скобках, – то и без «Фантастической симфонии» одного его профиля в интерпретации Полонского вполне достаточно для того, чтобы привлечь внимание Булгакова и попасть в роман в том качестве, в каком там выступает Берлиоз – в качестве ведущего литературного деятеля посленэповской Москвы, влиятельного критика и редактора «толстого художественного журнала».

Общий культурный субстрат, общий «малый джентльменский набор» русского интеллигента начала века – вот что сближает таких талантливых авторов, как Булгаков, с одной стороны, Ильф и Петров – с другой. В этот «набор» входят, разумеется, и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Достоевский, но также и Гёте с его «Фаустом», и Андрей Белый, и Фридрих Ницше, и Август Форель, – вот что определяет круг образов, ассоциаций, реминисценций, аллюзий, – конечно, наряду с впечатлениями, черпаемыми из окружающей действительности. Среди последних есть много характерных, типичных для Москвы (и всей России) 20-х – 30-х годов, но много и случайных, – «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда»!..

Это обстоятельство осталось недостаточно прослеженным, «неразработанным» в книге «Мастер Гамбс и Маргарита». А между тем, эта линия – прослеживание того, как отразилась советская действительность в коллизиях романов Булгакова, Ильфа и Петрова, как отразилось в них знакомство авторов с персонажами той эпохи – от Авербаха до Эйзенштейна, от Сталина до Мейерхольда, – перспективна и плодотворна. Именно потому, что недостаточно разработана.

Конечно, русская классическая литература для тех же Ильфа и Петрова – от Пушкина до «Графиня изменившимся лицом бежит пруду» (а в эти временные ножницы вошли, как мы знаем, и Лермонтов, и «Братья Карамазовы», и «Преступление и наказание», и «Бесы», и «Отец Сергей», и Полонский, и «Тарас Бульба») – источник постоянных притяжений, отталкиваний и реминисценций. Особенно же – Достоевский: влияние Достоевского, замечают М. Каганская и З. Бар-Селла, так сильно, что «не только фабула – стиль последних страниц „Двенадцати стульев“ – это чистый Достоевский». Действительно, московский пейзаж, созерцаемый Воробьяниновым, «есть трафаретный ландшафт Петербурга XIX века»: «луна... мокрые решётки... газовые фонари, окруженные венчиками водяной пыли, тревожно светились». «Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце». Все это, справедливо отмечают Каганская и Бар-Селла, – детали поэтики Петербурга, причем Петербурга, глядящего со страниц Достоевского, – а не Москва, где видит эту картину Воробьянинов.

А Булгаков «изгоняет» Достоевского, перерабатывая свой роман, – настолько его произведение было «пропитано» духом великого классика.

Все это бесспорно. Однако в такой же мере и очевидно, то есть неглубоко, – а к тому же вполне может быть оставлено литературоведам Советского Союза.

Именно тем, кто не в состоянии поднимать более рискованные слои, докапываться до намеков, связанных с образом «злого, как чёрт», Гигиенишвили с «дьявольскими глазами», до происхождения «пишущей машинки с турецким акцентом» и фамилий Латунский или Берлиоз*, – следовало бы, видимо,

* Между прочим, в одной из своих статей, напечатанных на Западе (в нью-йоркской газете «Новое русское слово» 17. VIII. 1984), я писал в этой связи, что русскому языку, как правило, не свойственно образование фамилий от названий металлов. Поэтому фамилия «Сталин» вначале звучала для русского уха дико и неестественно. «Мы так давно и основательно привыкли к ней, что перестали это замечать... Услышав фамилию „Медин“, „Сталин“ или, скажем, „Бронзов“, можно побиться об заклад, что это фамилия искусственная, изобретенная к тому же человеком, для которого русский язык – не родной. Кстати, в одной из своих статей 1917 года Ленин упоминает некоего Бронзова, – как и следовало ожидать, это партийная кличка. Бул-

предоставить копаться в безобидных параллелях между романами и проследживать самоочевидные истоки общей эрудиции Ильфа, Петрова и Булгакова. А нам здесь, в свободном мире, не мешало бы сосредоточиться в первую очередь на тех политически небезопасных аспектах произведений рассматриваемых советских авторов, которые лишь намечены, но не прослежены до конца в исследовании М. Каганской и З. Бар-Селлы.

Мимоходом они замечают, например: «Что-то от сменовеховских утопий в мировоззрении Булгакова несомненно присутствовало, как вне сомнений политический конформизм Ильфа и Петрова». Да ведь это – тема специального исследования, диссертации! И остается только пожалеть, что книга написана «не на ту тему», что в центре внимания ее авторов оказались моменты второстепенные, случайные и легковесные, а во многих случаях не обошлось и без натяжек.

В одном месте обронили они фамилию «Мустангова». И читателю остается только гадать: что это, случайность? знают ли они, что за фигура скрывается за такой редкой и странной фамилией? Известно ли им, что в 37-м году на страницах «Литературной газеты» в связи с массовым террором, развернутым и на «литературном фронте», мелькнуло определение: «враг народа Мустангова», означавшее тогда не только политическую смерть, но и физическую?

Остается пожелать, чтобы «Мастер Гамбс и Маргарита» – исследование занимательное и по-своему занятное, но, на мой взгляд, нуждающееся в углублении и основательной перестановке акцентов, – было продолжено теми же авторами, продемонстрировавшими в нем редкую нешаблонность мышления и подлинную заинтересованность предметом.

Иосиф Косинский
Нью-Йорк, май 1985

гаков в «Мастере и Маргарите» дал одному из отрицательных персонажей фамилию Л а т у н с к и й, подчеркнув тем самым, что и этот тип – из той же шатии: здесь блеснула, почти неприкрыто, булгаковская ненависть к большевикам и большевистствующим».

Русским языком и литературой занимаются на Западе тысячи специалистов. Если кому-то удастся открыть небольшой рассказ видного писателя, статью, подборку писем, это всегда – событие. Профессор Лосев в своей новой книге предлагает нам, не много не мало, открытие почти не изученного доселе языка – языка, которым пользовались сотни русских литераторов, на протяжении двух веков боровшихся и борющихся с цензурными препонами, и который отлично понимали миллионы их читателей.

С цензурой советской поры профессор Лосев имел возможность познакомиться очень близко и в качестве автора, и в качестве редактора детского журнала «Костер». Свой опыт он описал в двух интересных статьях (см. кн.: Л. Лосев. *Закрытый распределитель. Анн-Арбор, «Эрмитаж», 1984*). Однако в рецензируемой книге цензура рассматривается лишь косвенно. Все внимание уделено так называемому «эзопову языку», который литература вырабатывает в качестве антицензурного оружия. Причем «эзопов язык» анализируется не как набор приемов, а именно как язык, как знаковая система, служащая для передачи определенной информации. Стилистика, семантика и современная теория информации также привлечены для исследования.

Среди главных свойств «эзопова языка» автор выделяет следующие:

Амбивалентность. Произведение всегда имеет две стороны, два слоя: один (внешний) для цензора, другой (глубинный) – для посвященного читателя. Для непосвященного (а цензор мыслится в мечтах писателя именно таковым) произведение будет доступно лишь своим внешним обликом, часто, впрочем, сохраняя известную художественную значимость. Так, «Гаргантюа и Пантагрюэль» или «Путешествия Гулливера» будут, с одной стороны, понятны сегодня во всем богатстве своих политических аллюзий лишь специалистам-историкам; но, с другой стороны, чисто внешняя канва их до сих пор остается привлекательной для читателя, они даже могут быть

Lev Loseff. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature. Translated by Jane Bobko. Published by Wolfgang Kasack, München, 1984.

пересказаны для детей как занятные сказки. Цитируемое на стр. 38 стихотворение Беллы Ахмадулиной «Варфоломеевская ночь» может быть воспринято как поэтическая разработка вечной темы «детство и злодейство» на фоне исторической трагедии, происшедшей во Франции в 1572 году. Именно такое истолкование предлагает автор цензору, именно так может воспринять стихотворение иностранец, не чувствующий оттенков языка. Но искушенный русский читатель по многим приметам разглядит здесь и боль за сегодняшний день, конкретную драму поколения Ахмадулиной, явившегося на свет в разгар сталинского террора.

Наличие экранов и маркеров. Цель первых – скрыть эзоповское содержание произведения от цензора. Цель вторых – послать читателю сигнал о том, что произведение имеет более глубокий, закодированный смысл. В этом плане «весь сюжет (стихотворения Ахмадулиной) является экраном». Однако, тщательно выбирая грамматические и лексические средства, поэтесса насыщает текст словами-маркерами: упоминание «казенных» и «палачей» (а не «убитых» и «убийц») больше соответствует механике сталинского террора, нежели террору Варфоломеевской ночи, когда гугенотов просто убивали без суда; выражение «изъятый (вздых)» – тоже из советского карательного лексикона; разговорная интонация строчки «привыкшие к излишеству смертей, вы, люди добрые...» звучит прямым обращением к современнику – маркером.

Метонимичность (то есть подмена одного другим). В плане жанрово-сюжетном она проявляется в том, что эзоповская парабола выдается то за историческое произведение, то за фантастику, то за рассказ про природу и животных, то за перевод с иностранного языка. (Вспомним стихотворение Пушкина «Из Пиндемонте».) В плане адресования произведение может внешне выглядеть обращенным к детской аудитории, в то время как его реальный адресат – взрослый читатель или зритель. Аллегория, пародия, перифраз, эллипсис, сдвиг и пр. также широко используются в эзоповом языке.

Вся вторая часть книги посвящена рассмотрению конкретных произведений-примеров с точки зрения использования в них «эзопова языка». Наиболее успешно применял его Евгений Шварц, который даже в тяжелейшую пору сталинской цензуры создал пьесу «Дракон». Очень умело пользуется эзоповскими приемами Евгений Евтушенко (рассматривается

его книга «Идут белые снега...»). Вся детская литература послереволюционного времени, начиная от Корнея Чуковского и кончая детскими писателями «хрущевской оттепели», была сформирована под влиянием обширных возможностей использования в ней эзоповских приемов.

Интересна и глава, в которой проводится сравнение двух версий романа Солженицына «В круге первом». Хотя «эзопов язык» рассматривается здесь лишь косвенно, сравнение позволяет вскрыть другие аспекты противоборства писателя с цензурой. Первая версия готовилась к изданию в «Новом мире» в 1964 году. Когда надежды на публикацию рухнули, Солженицын внес некоторые изменения и отправил рукопись на Запад и в самиздат. Впоследствии, после вынужденной эмиграции, он вернул роман к первоначальному замыслу и издал второй, «авторизованный» вариант в 1978 году.

Главная сюжетная разница между первым и вторым, между подцензурным и свободным вариантом состоит в следующем: в первом дипломат Иннокентий Володин становится жертвой карательной машины, потому что, поддавшись порыву сострадания, звонит старому доктору, чтобы предупредить об опасности, грозящей ему со стороны КГБ; во втором он звонит в иностранное посольство, чтобы раскрыть шпионскую операцию, нацеленную на похищение атомных секретов Запада. В первом варианте преступление перед системой – человечность; во втором – помощь реальному противнику, то есть государственная измена, за которую любая политическая власть вправе карать своих подданных.

Проводя сравнение двух версий, Лосев отнюдь не пытается доказать благодетельность цензуры. (Это было бы так же нелепо, как оправдывать массовый голод ссылками на лечебный эффект голодания.) Он просто прослеживает творческую драму большого писателя, который под влиянием цензурного пресса сумел создать произведение более глубокое и художественно подлинное, а освобожденный от необходимости этого противоборства поддался соблазну и позволил своим политическим пристрастиям управлять судьбой героев.

В своем исследовании профессор Лосев оказался перед сложной моральной дилеммой: как провести анализ эзоповских приемов писателей, живущих в Советском Союзе, и при этом не подставить их под удар, не разоблачить перед цензором их тайных ходов. Он пытается ограничить себя примерами

из творчества умерших (Бахтин, Булгаков, Введенский, Хармс), эмигрировавших (Белинков, Коржавин, Некрасов, Солженицын) или открыто порвавших с официальной советской литературой (Искандер, Лифшиц). Всё же кто-то из читателей, наверно, упрекнет его за то, что он позволил себе открыто обсуждать тактику Ахмадулиной, Евтушенко, Стругацких.

Наша тревога за судьбу собратьев, оставшихся в России, понятна, но в данном случае вряд ли оправданна. Люди, поставленные надзирать за литературой в советских журналах, издательствах, кино-радио-телестудиях, не читают литературоведческих работ на иностранных языках и не нуждаются в них для выявления крамолы. Хотя сами они, как правило, лишены художественного чутья, глухи к иносказаниям, слепы к аллюзиям, они имеют в своем распоряжении штат образованных, чутких и послушных редакторов, которые и служат им «приборами», сигнализирующими об опасности. (В ленинградском отделении издательства «Советский писатель» работала редакторша, которая уносила сомнительные произведения из редакции к себе домой и уверяла авторов, что она тем самым помогает им, годами пряча их писания от глаз начальства. Полуграмотному директору издательства после этого не было даже нужды читать и разбираться самому. Достаточно было взглянуть на лицо Мины Исаевны Дикман, чтобы прийти к твердому решению: не печатать.)

К достоинствам книги профессора Лосева следует отнести и тот факт, что он нигде не пытается выдать эзопов язык за главное выразительное средство художественного произведения. Самим подбором примеров он показывает, что «эзоповым языком» могут пользоваться (или не пользоваться) писатели гениальные и посредственные, талантливые и бездарные. Расшифровка эзоповского содержания не может подменить обычный литературоведческий анализ. Но, с другой стороны, отсутствие такой расшифровки может сильно обеднить или исказить восприятие.

Стихотворные тексты приведены в книге в русском оригинале с английским подстрочником. Перед переводчицей стояла особо трудная задача: передать (там, где это было возможно) игру оттенков, двусмысленность образов, просвечивание подтекста. Джейн Бобко справилась с этим блестяще.

Хотя в книге мелькают имена классиков мировой литературы, применявших «эзопов язык» (Эразм Роттердамский, Рабле), порой может возникнуть ложное ощущение, будто подцензурное существование писателя и всё с этим связанное – чисто русская проблема. Возможно, было бы уместно предисловие, которое очертило бы более широкую значимость данного исследования, указало бы, что, например, и испанская литература XVII века, и французская XVIII-го развивались под сильным цензурным гнетом и, соответственно, пользовались обширным арсеналом эзоповских приемов.

Последняя глава называется «А для чего нужен эзопов язык?» – и действительно: для чего? Ведь автор *«...не сообщает читателю ничего такого, чего бы читатель не знал до него и без него. Напротив, всё эзоповское в художественной литературе как раз и основывается на взаимном обладании автора и читателя (адресанта и адресата) одной и той же информацией»*. Но «читатель, живущий в обществе, где царит идеологическая цензура, будет вновь и вновь с волнением следить за этой опасной игрой, в которой интеллект обыгрывает власть, участвовать, хотя бы пассивно, в этой игре, не столько анализируя или реагируя чувствами на эзоповский текст, сколько *празднуя* его подобно мифическому ритуалу».

У западных специалистов, потративших свою жизнь на изучение русского языка и литературы, выход книги «О благодетельности цензуры» может вызвать поначалу тяжелый вздох. «Ну вот, – скажут они, – мало того, что мы должны были учить все падежи, суффиксы, окончания, спряжения, исключения этого труднейшего языка. Теперь оказывается, что эти русские пользуются еще каким-то добавочным „эзоповым языком“, спрятанным внутри основного». Но всякий, кто дочитает книгу до конца, убедится: да, «эзопов язык» живет очень активной жизнью, и без изучения его понимание современной русской литературы невозможно.

Книга профессора Лосева вносит важнейший вклад в исследование этой мало изученной области, по праву может занять пустовавшее до сих пор место: первого учебника «эзопова языка».

Игорь Ефимов

АПОКАЛИПСИЧЕСКИЕ ПРИМЕТЫ

Вышел в свет новый сборник стихов Василия Бетаки, озаглавленный «Пятый всадник».

Поэзия Бетаки – вполне традиционна, и этот поэт – мастер своего дела. Содержание его книги – поэтические размышления и впечатления автора о современной цивилизации. И этим, на мой взгляд, они особенно интересны для читателя, тем более что такого рода книг – немного. Разумеется, при чтении этих стихов следует учитывать право поэта на субъективизм.

В стихотворении «Свет Фаворский» поэт отдает дань великой религиозной традиции восточного христианства:

Есть глубина афонских чаш –
Скитов великое молчанье,
Где йоги «умное дыханье» –
Мелодия для «Отче наш».

Но духовная традиция – это лишь одна из тем этого сборника. Василий Бетаки посвящает много строк трагикомедии современного мира, где, по словам поэта, «у власти кухарки», а «священник на рынке». Книга пронизана сожалением об уходящей культуре прошлого и ее ценностях.

Прекрасны, например, «Европейские сонеты» (четвертый венок), посвященные Виктору Некрасову, которые начинаются проникновенным и печальным гимном:

Европа – остров. Тесно городам,
Отмеченным кривой печатью рока.
Имперской Вены темное барокко
И акварельно-тихий Амстердам...

Так чем дышать? Один остался город,
(И тот лишенный имени) в котором –
Вода, колонны, ветер и гранит.

В этом венке (поэт, кстати, – мастер сонетов, что довольно-таки большая редкость в наши дни) выражена и любовь, и жалость к старой европейской цивилизации. Бета-

Василий Бетаки. «Пятый всадник». Стихи. Париж, 1985.

ки, конечно, – русский европеец (по своему мироощущению), и поэтому он часто возвращается к теме Петербурга, к этому «сыну Новгорода».

Тема Петербурга – это тоже одна из «вечных» тем русской поэзии и литературы, и решалась она, конечно, по-разному. Многое зависело от того, как сочетались концепции России и Европы в образе Петербурга.

По восприятию поэта:

...Один остался город,
В который азиатский дух не вхож,

– и этот город – Петербург. (Ради справедливости заметим, что существует поэтизация Петербурга, основанная на других исторических представлениях.) Бетаки глубоко любит свой город, хотя эта любовь часто окрашена в апокалипсические тона. (Добавим от себя, что, может быть, настоящего Апокалипсиса мы, современное человечество, пока еще не «достойны»: глядишь, а сохранилась в нас – то там, то здесь – какая-то крупица или энергия добра. Это, так сказать, в порядке надежды.)

Апокалипсические приметы – другая тема этой книги (отсюда и название «Пятый всадник»), и они щедро разбросаны по всем страницам сборника.

Вместе с тем, автор не фиксирует своего внимания только на нашем, нет слов, тяжелом периоде в истории человеческого рода. Его интуиция часто обращена в прошлое, с его историческими взглядами можно соглашаться или не соглашаться, но искренней поэзией и нежностью веет, я думаю, от этих стихов, озаглавленных «Анна»:

Канун русальной недели, факелы в камышах,
Лес, оплетенный хмелем, ведьмы скользящий шаг.
Через кусты крушины, где желтый месяц плясал,
Капли с белых кувшинок сбегает по волосам...

Здесь языческий мир представлен во всей его пленительной красоте, где глубина соприкосновения с природой (увы, уже сейчас утраченная, даже в «бетонной Азии») преображает её в одухотворенную, хотя и чуть-чуть страшноватую картину, где «скользящий шаг» ведьмы примирен с лесом, погруженным в хмель, и с девичьими плечами.

Вместе с тем автор – христианин, который спрашивает, что в современном мире «не поздно ль звать Христа?». Его «языческие» описания таким образом – скорее полет в прошлое.

В сборник входит поэма об Этьене Фальконе, скульпторе, создателе Медного Всадника. В этой поэме Василий Бетаки опять показывает свое мастерство поэта традиционных форм, даже немного архаичных форм, что еще более ценно. (В этом смысле, очевидно, говорится, что новое – хорошо забытое старое. Во всяком случае, новое может быть «забытым старым».)

Эпиграфом к этой поэме избрана знаменитая строка из Александра Блока, которой открываются пророческие видения этого гениального поэта, связанные с панорамой начинающегося тогда двадцатого века, и его суд над девятнадцатым веком. Эта строка из поэмы «Возмездие»: «Век девятнадцатый, железный...»

Однако в поэме «Этьен Фальконе» описан восемнадцатый век, когда «Папу Римского честили, / Чему способствовал Вольтер».

Этот небольшой сборник пронизан, на мой взгляд, двумя противоположными стихиями: одна – наполненная апокалипсическими приметами, другая – немного умиротворенная, в которой тем не менее слышится стон и тоска по прекрасной Европе прошлого, по Петербургу – этому символу европейской России.

Иными словами, символика блоковского ветра (тема ветра встречается во многих стихах Бетаки) противопоставлен уходящий покой «акварельно-тихого» Амстердама.

Мне кажется, этот сборник должен быть очень внимательно прочитан. Это, пожалуй, – даже исповедь, и очень современная, несмотря на блестящую традиционность её формы. Как большинство поэтических исповедей – она, конечно, весьма субъективна. Но, полагаю, современный поэт имеет все-таки «право» на апокалипсическую тему, хотя такая тема ко многому обязывает, ведь есть, например, опасность вульгаризации. Думаю, Василию Бетаки удалось избежать этой опасности. В этом поэту помогло его лирическое дарование, его лиризм, который приводит, если так можно выразиться, к

естественной «феминизации» этой слишком грозной и серьезной темы.

Другой путь «субъективизации» таких космологических концепций – путь юмора, но, увы, в большинстве случаев нам доступен только человеческий юмор, а не юмор богов. Но именно последний, вероятно, не будет звучать кощунственно во времена последнего краха.

Ю. Мамлеев

О СТИХАХ РИНЫ ЛЕВИНЗОН

Мелодия почти вовсе изгнана из современной поэзии: считается, что она не отвечает духу времени. Но истинный художник всегда противостоит, а не угождает этому языческому божеству, обращаясь к незыблемому, непреходящему. В русской поэзии такой надвременной инвариантой является силлаботонический рифмованный стих и следующая из него, лишь русскому стиху присущая мелодия, – драгоценнейшее достояние и отличие нашей поэзии, устоявшее в пламени всех геро-стратов. Мелодия эта предполагает не только звуковую, но и семантическую, и стилистическую стройность, а также идеализм, – и в итоге предстает нам целостным принципом, знаменующая победу космоса над хаосом, возвещающая торжество смысла. Эту мощную и цельную мелодию я и нашел в двух книгах Рины Левинзон, вышедших в Израиле*.

Вот стихотворение «Детство», одно из лучших в сборнике «Два портрета»:

Какое детство было у меня...
Щербатый шкаф, вода в ведре застыла.
И мама до рассвета уходила,
И не любила я начало дня.

* Рина Левинзон. Два портрета. Лирика. Издательство Р. Портной. Иерусалим, 1977. – Снег в Иерусалиме. Стихотворения 1977-80. Иерусалим, 1980.

В те дни наш двор был тих, нахмурен, слеп,
Веселых игр я словно и не знала,
Я только помню: мама кровь сдавала
И после приносила серый хлеб.

Но вечером мы грелись у огня.
Домишко наш тонул в трамвайном звоне...
Я окуналась в мамины ладони –
И, значит, детство было у меня.

Безукоризненное по звуку, это стихотворение одновременно даёт пример композиционного совершенства, естественности и грации. Выбрана и выдержана единственно верная тональность, время и место действия не узнать невозможно. Как и всякое лирическое стихотворение, «Детство» требовательно вызывает к нашему душевному опыту и, опираясь на него, говорит неизмеримо больше того, что можно прочесть непосредственно. Мастерство поэтессы обнаруживает здесь себя косвенно: тем, что оно не выставлено напоказ. Ни одна деталь не концентрирует нашего внимания, и все вместе служат общей цели: воссозданию фрагмента жизни, фрагмента истины. Эта видимость безыскусности – знак большого искусства.

Жанр поэтессы – лирика (что очень уместно отмечено на титульном листе первой книги), притом лирика интенсивная – в противовес преобладающей сейчас экстенсивной манере. Её стихи коротки, их прелесть – в напряженности и выверенности слова, в сосредоточенности и завершенности, в афористичности. Пример этой афористичности – последние два стиха «Детства». Здесь нет ничего общего с желанием эффектно завершить стихотворение. Формулы поэтессы естественно вытекают из всего строя стихотворения, из его интонации и смысла. Вот еще один пример:

О, нет, не открывать лица!
Моя улыбка беззащитна
Перед спокойствием глупца,
Которому тепло и сытно.

О, нет, не открывать души!
Душа ещё сильнее ранима.

Замкнуться в глубине, в глуши,
И – горечь мимо, горе – мимо.

Я эту заповедь зубрю,
Я непреклонной быть решаю.
Но, Боже, как благодарю
Того, с кем слово нарушаю!

Читателю с воспитанным вкусом не нужно объяснять, сколько силы и живости в этих внешне незатейливых стихах. Все превосходные качества поэзии Рины Левинзон здесь налицо. Но здесь же можно проследить и её слабую сторону. Что-то мешает поставить эти прекрасные стихи в один ряд с тютчевскими: не то ли, что их живость – живость вальса, а не фуги? Конфликт духа и плоти разрешается здесь по рецепту молодости: не в пользу первого. То же характерно и для других стихотворений поэтессы.

В стихах Рины Левинзон мы находим посвящения матери, поэтам и писателям, стилизованный образ скрипача из гетто, детали быта и пейзажи; но истинной движущей силой и лейтмотивом творчества является для нее любовь, «тоска по любви», страсть древняя и не стареющая. Нет неблагодарнее темы в современной поэзии – и нет лучшего пробного камня для истинного таланта, который и здесь обнаруживает новые ракурсы и обертоны. Рине Левинзон это замечательно удается. Ни тени фальши, искусственности или головизны нет в ее любовных стихах – иногда, быть может, излишне физиологичных, но всегда искренних, чистых, непосредственных.

Я люблю тебя.
Ртом пересохшим,
От печали немеющим ртом
Повторяю.
Ни слаще, ни горше
Я люблю тебя раньше и позже,
И тогда, и сейчас, и потом.
Оттого, что рука моя тает,
Примостившись к ладони твоей,
Я люблю тебя.
Слов не хватает.
Но чем проще скажу, тем верней.

Последний стих («чем проще... тем верней») вообще может быть выбран девизом поэзии Рины Левинзон. Простота и выразительность идут у нее рука об руку. Простота ее стихов – песенная: недаром и слово *песня* (*песенка*) – второе по частоте употребления в этих книгах (после слова *любовь*). Часто оно даже вынесено в заглавие: «Песенка о маме», «Песенка о любви», «Песенка перед отъездом». Вспомним, что и Ахматова называла свои стихи песнями. Подлинная поэзия знает, помнит свою родословную. Рина Левинзон свидетельствует об этом каждым своим стихотворением. Можно поручиться, что пишет она, что называется, с голоса. Лучшее подтверждение этой *естественности* – то, что два ее любимых метра, ямб и амфибрахий, с удивительной правильностью встречаются в двух ее книгах: 60 и 16% % в первой, 59 и 17% % во второй.

Вдохновение самоценно, но поделиться им автор может лишь посредством мастерства. Я уже говорил, что Рина Левинзон прекрасно чувствует слово. И все же порою вкус подводит поэтессу.

Солнце садится, темнее восток,
Прежде счастливый и ясный.
Вот и остался последний глоток,
Может быть, самый прекрасный.

Как мне жилось тут? Все миловал Бог,
Тешил меня ежечасно.
Ну, а теперь вот, последний глоток,
Может быть, самый прекрасный.

Сколько искала, а всё невдомек,
Свечка зажглась и погасла.
Вот и остался последний глоток,
Может быть, самый прекрасный.

Здесь первый катрен – больше, значительнее всего стихотворения в целом. Интенсивная лирика вообще противится излишним повторам. Запораживающая интонация, заданная первыми четырьмя стихами, тускнеет от чрезмерной эксплуатации и сходит на нет раньше, чем кончается стихотворение. Поэтесса и в других вещах злоупотребляет приемом рефрена.

Затем, рифма *погасла* – *прекрасный* – невозможна в таком стихотворении, построенном на едва уловимых переливах звука-смысла, даже рифма *ежечасно* – *прекрасный* тут нежелательна. Наоборот, рифмовка в первой строфе, несмотря на всю ее исконность или даже благодаря ей, – в точности на месте: лишнее свидетельство того, что для настоящего поэта устаревших рифм не бывает. Вообще, рифма ассонансная и остаточная (*лампа* – *туманно*, *золотая* – *таял*) встречается у нее чаще, чем это допускает ее поэтика.

Лирическое я Рины Левинзон вполне оригинально – тем обиднее находить у нее невольные заимствования. Стих «И светлой бывает печаль» – почти текстуально повторяет Пушкина. Стих «Продлись еще немножко, жизнь, помешкай» – мгновенно переносит нас в поэтическую ойкумену Александра Кушнера. Тон и смысл находятся в замечательном равновесии в стихах поэтессы – тем огорчительнее задевает, например, стих «Слоняется солнечный луч», где точность так откровенно принесена в жертву звуку. Обо всех этих досадных промахах стоит говорить потому, что стихи Рины Левинзон заслуживают самого взыскательного рассмотрения.

Книге «Два портрета» предпослано вступление Александра Воловика, содержащее ряд верных наблюдений над поэзией Рины Левинзон. Однако его утверждение о том, что она – «поэт еврейский», суть явная передержка. Невозможно усомниться, что ее стихи связаны с Россией кровными узами. Перечитайте стихотворение «Детство», выписанное в начале рецензии, и задайтесь вопросом, что скажет оно еврею, родившемуся в Израиле или Америке, вообще – *не-русскому*, тому, кто не пережил (в том или ином смысле) минувшей войны, кто не переболел ею. Рина Левинзон – русская поэтесса, и судить о ее достижениях можно только в контексте русской поэзии. Она сама это прекрасно понимает, чтя (в стихотворении, не вошедшем в эти два сборника) «память о родинах двух». Можно, мне кажется, отложить обсуждение вопроса о гражданской принадлежности Р. Левинзон. Важнее своевременно отдать должное таланту, одному из самых *беспорных* в современной русской поэзии

Недавно в издательстве «Лексикон» вышла третья книга стихов Рины Левинзон – «Отсутствие осени» Наряду с новыми стихами, в ней имеются перепечатки из двух предыдущих сборников.

Юрий Колкер

Коротко о книгах

СТАТИСТИКА РОССИИ

Записная книжка *Ник. ДРОННИКОВА*. Вып. 1-3

Париж, 1983 - 1984. Издание автора

Три выпуска «Статистики России» Ник. Дронникова поначалу могут произвести несколько странноватое впечатление. Потому что для историка, прямо скажем, фактографической ценности они не представляют: все это можно легко отыскать в специализированных библиотеках. Статистические сборники, ежегодники о дореволюционной России можно купить и в букинистических магазинах. Скудные тома статистических выкладок свидетельствуют о том, что наша родина до революционного лихолетья отнюдь не была диким и запустелым краем. О том, что население имело реальные проблемы и реально их преодолевало. О том, что хлеба отечество производило больше, чем какая-либо другая держава.

Три книжечки карманного формата подтверждают все это. Николай Дронников тщательно выписывает то положительное, что можно сказать на эту тему. Его любовь к старой России – трогательна. И смотрит он на нее глазами заинтересованного наблюдателя – нашего современника.

Поэтому три брошюры его можно рассматривать как своеобразную поэму. Поэму о благоденствии Руси.

валовой урожай картофеля в 1913 г. 1500000000 пуд

европейская россия 1111000000 пудов

довоенное производство табака 7000000 пудов

выше россии лишь сша (22 милл. пуд.)

(...)

общий улов рыбы 44 милл. пудов стоимостью 98 м. р.

по ценности ежег. добычи 3-ье место в мире

И много, много чего еще, что небезынтересно современному человеку. Действительно, «только об отрадном» (как говорил Серов, художник). Да и то сказать: столько наговорено о России неконкретно-хулительного, что устать можно.

(Заметим, что все же, может быть, полезно было бы разбавить эти картины статистического благоденствия воззваниями Толстого и

Короленко о помощи умирающим от голода. Или хотя бы статистикой о тех, кто загнулся в конце прошлого века от неурожаев.)

Любопытны страницы, посвященные характеристическим сравнениям старой России и нового СССРа.

на фотографиях петрограда 1917 г. автор
не заметил лаптей и картонных подошв на
сапогах революционной толпы.

через 15 лет на фотографиях москвы пер-
сонажи обулись в лапти.

пионеры советской фотографии в
музее (арт жекоратиф) в париже
апрель 1983 г.

Или такая зарисовка нравов:

зою космодемьянская
когда зою вели к виселице,
жители деревни норовили
ее ударить палкой или
лопатой, что у кого
была в руке. немцы не
давали бить зою
в. терехов
очевидец

(Мы не приводим номера страниц, так как «по техническим и эстетическим причинам в книге отсутствуют заглавные буквы (...) и номера страниц».)

Что же в конце концов получилось у художника Дронникова? Настольно-карманное пособие для великорусского националиста? Трогательное повествование об ушедшем и пришедшем? Автопортрет чудака-дилетанта?

И плохо ли, «хорошо нам жилось при царизме», – этого вопроса никогда, вероятно, не решить. Это, как говорится, акт веры. Но, как верно заметил Бердяев, главное – не вопрос благосостояния, а ощущение человеческого достоинства гражданином. Хитрыми и извилистыми путями эти три брошюры Н. Дронникова приводят к этой же мысли.

А. К.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Издание третье. Брюссель, «Жизнь с Богом», 1983

Вышло в свет третье издание замечательной книги Андрея Боголюбова «Сын человеческий». Эта книга рассказывает о земной жизни Господа Иисуса Христа. Повествование евангелистов подтверждается и дополняется в ней ссылками на античных и иудейских авторов, а также открытия современных археологов. Излишне писать о том, как необходима подобная книга в России, где и Евангелие-то не достать, не говоря о другой религиозной литературе. Книга об историческом Иисусе важна еще и потому, что в русском православии поклоняются более Христу Богу, забывая, что Он был и человеком. Равновесие Халкидонского Символа веры, говорящего о двух природах во Христе – божественной и человеческой, – грозит нарушиться и может возникнуть соблазн манихейства, забытие истории. Религия любви может превратиться в религию ритуала и законничества. Читая книгу Боголюбова, понимаешь, что открытие земной и человеческой личности Иисуса не мешает вере в Него как в Бога. Напротив, загадка этой уникальной, вечно изумляющей личности Иисуса объясняется только тем, что Он – Бог: «В чем же заключалась неповторимая притягательность Христа? Только ли в Его моральной доктрине? Ведь возвышенную этику предлагали и Будда, и Иеремия, и Сократ, и Сенека. Как же в таком случае могло христианство победить своих соперников? И наконец, самое главное: Евангелие отнюдь не похоже на простую нравоучительную проповедь. Здесь мы вступаем в область наиболее таинственного и решающего во всем Новом Завете, здесь внезапно разворачивается пропасть между Сыном Человеческим и всеми философами, моралистами, основателями религий. Пусть Иисус жил и действовал подобно пророку, но то, что Он открыл о Себе, не позволяет ставить Его в один ряд с другими мировыми учителями. Любой из них сознавал себя лишь *человеком*, обретшим истину и призванным возвещать ее. А Иисус? Когда Филипп робко попросил Его явить ученикам Отца. Он ответил так, как не мог ответить ни Моисей, ни Конфуций, ни Платон: «Сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца». Со спокойной уверенностью этот учитель, чуждый фальши и экзальтации, провозглашает Себя единственным Сыном Божьим, Он говорит уже не как пророк – от имени Сущего, – но как Сам Сущий...» (177)

Читатель следует за жизнью Иисуса день за днем. Рассказ Боголюбова не лишен драматизма, он читается, как увлекательный роман. Но не только о внешних событиях жизни Спасителя идет речь в этой книге: переходя от внешнего к внутреннему, Боголюбов приближается к темам более глубоким, богословским, философским, нравственным.

Образ Иисуса потрясает своей новизной. Так было во все времена существования христианства. И сегодня, читая книгу Боголюбова, мы вновь в плену того, что говорил Иисус и как Он говорил. Проповедь Его так глубока и полна такой смелости, что уже здесь, до Голгофы, мы находим высокое безумие Креста. Так, например, впервые о Себе как о Мессии, как о Христе, Иисус открывает не ученикам, а женщине. Да еще какой! Самарянке, к тому же блуднице и еретичке. Всё ново в Иисусе, но тем не менее Он – не ниспровергатель традиций ветхозаветной религии. Напротив, несмотря на эту шокирующую новизну, Христос «исполняет закон», остается в рамках Ветхого Завета. И это очень хорошо, подробно и ясно объясняется в книге: «Может показаться, будто Иисус, поступая так, посягал на церковную традицию и исключал для правоверных всякую возможность принять Его учение. На самом же деле основы этой традиции не были нарушены Христом. Ветхий Завет признавал авторитет *личного Откровения*. Все пророки учили именно в силу такого исключительного дара и посланничества. Наступление эры книжников не означало, что прекратилось действие Духа Божия. Поэтому-то в Талмуде такое огромное значение придавалось мнениям отдельных учителей. Нередко их высказывания ставились наравне с Торой и даже выше ее» (109).

Много нового узнает русский читатель об окружении Христа, например, о тех самых фарисеях, которых принято считать основными врагами Христа, а также самодовольными ханжами и «фарисеями» – гордецами. Всё это так, но мало кому известно, что Иисус не раз бывал гостем в домах фарисеев, что фарисеем был Никодим, и многие из первых христиан были обращенными фарисеями. Кроме того, многие изречения фарисеев перекликаются с евангельскими: «Кто подаст милостыню тайно, тот выше самого Моисея», «Ханжей следует обличать, ибо они оскорбляют имя Божье». Многие будут благодарны автору за его новое приложение «Евангелие, закон и фарисеи», в котором он раскрывает главную причину разрыва между учением Иисуса Христа и учением фарисеев. Раскрывается в книге и сложный вопрос о соотношении двух Заветов – Старого и Нового.

Важным является приложение «Миф или действительность» (значительно углубленное и расширенное в 3-м издании). На основании

новейших данных исторической науки Боголюбов убедительно разоблачает «миф о мифе», опровергая все излюбленные построения советских атеистов – о том, что Иисус Христос – мифологическая фигура в духе Митры, Адониса, Осириса...

Особая благодарность автору за обширное приведение в новом издании источников и научных трудов – христианских и нехристианских – по данному вопросу (669 названий!), за указание справочников и словарей. Желаящим самостоятельно изучать жизнь Иисуса Христа автор оказал неоценимую услугу.

Книга интересна как для верующих, так и для неверующих. Многих неверующих она поставит перед загадкой личности Христа, а верующих и знакомых с Евангелием поразит новыми, неожиданными подробностями, комментариями и сравнениями.

Т. Г.

Абдурахман АВТОРХАНОВ

МЕМУАРЫ

Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1983

Вышедшие в 1983 году мемуары А. Авторханова безусловно должны привлечь внимание западных историков и широкого круга русских читателей, интересующихся историей коммунистической партии Советского Союза. От многочисленных мемуаров, которые сегодня спешит опубликовать чуть ли не каждый второй эмигрант из СССР, книга А. Авторханова выгодно отличается. Она поражает не только своей компетентностью и глубиной, но и широтой охвата эпохи 1920-х – 1940-х годов, которую бывший партийный руководитель А. Авторханов описывает не только как потусторонний наблюдатель, но и как непосредственный участник событий.

Имя А. Авторханова хорошо известно на Западе и в Советском Союзе. Его книги, прежде всего «Технология власти» и двухтомник «Происхождение партократии» вошли в классику исторической литературы. И в книге мемуаров А. Авторханов, к большой для читателя выгоде, «страдает» своей «профессиональной болезнью» – Авторханов-мемуарист, бывший партаппаратчик с уникальным опытом

работы в советской партийной машине, неотделим от Авторханова-историка.

А. Авторханов родился «между 1908 и 1910 годами» и начал свою партийную карьеру совсем молодым человеком. В Институте Красной профессуры он получил неплохое по тому времени образование и в лекционных залах изучил советскую систему извне. Но мемуары Авторханова не были бы столь ценны, если бы, как номенклатурный работник, А. Авторханов не изучил структуру партийной машины изнутри, не понял бы сокровенных принципов работы советской партократии. Об этом опыте, накопленном к середине 1930-х годов, нам не пришлось бы сегодня читать в воспоминаниях Авторханова, если бы в роковой 1937 год он не был арестован, и, как почти каждый крупный партиец, отправлен в ГУЛАг. Впрочем, судьба в который раз улыбнулась А. Авторханову. Пройдя через пытки и инсценировку расстрела, отсидев в камере смертников вместе с такими известными большевиками, как Постышев и Варейкис, вскоре расстрелянными, будущий историк и мемуарист вышел на свободу. Теперь это был другой человек – поклявшийся до конца своих дней бороться с самой страшной тиранией мира – советской властью. Последовавший вскоре второй арест А. Авторханова (НКВД исправляло свою «ошибку») лишь укрепил его в этом мнении.

Мемуары Авторханова – это еще и книга о Сталине. Здесь Авторханов-мемуарист вступает в конфликт с Авторхановым-историком. Как человек, Авторханов ненавидит Сталина. Как историк, он потрясен, можно даже сказать восхищен, дьявольским гением кремлевского горца, мастера власти, уничтожившего всех своих партийных соперников и превратившего чисто техническую должность генсека в высший партийный и государственный пост.

Наконец, воспоминания Авторханова – это еще и книга о трагедии советских эмигрантов, многие из которых, усмотрев в Сталине своего главного врага, во время Второй мировой войны были вынуждены в своей борьбе с коммунизмом пойти на временный союз с Гитлером. А затем, в годы так называемой Холодной войны, найдя понимание и даже поддержку Запада, безуспешно пытались объединить эмиграцию для борьбы против Советов.

Книга Авторханова написана присущим автору легким стилем, который не нарушают даже сухие документы-цитаты. Кто бы ни был читатель «Мемуаров», он прочтет эту книгу с увлечением.

Ю. Ф.

СТИХИ

Нью-Йорк, «Руссика», 1984

«Параллельно с признанными глашатаями века всегда негромко жили и писали поэты, редко публиковавшиеся и часто узнававшиеся читателем задним числом... Ретроспективная шкала ценностей всегда отличалась от синхронной за счет таких негромких, но очень существенных для развития словесности имен», – так пишет литературовед Александр Сумеркин в своем послесловии к книге стихов Нины Берберовой, эмигрантского прозаика и мемуариста. Берберова за свою долгую жизнь опубликовала несколько книг, среди которых наиболее интересная – мемуары, названные ею «Курсив мой».

Большое место в них уделено покойному мужу Берберовой, Владиславу Ходасевичу. Много рассказано о Максиме Горьком (эмигрантского периода его жизни на Капри) и о людях, окружавших его там.

Но вот вышла книга стихов Берберовой. Книга, в которой собраны стихотворения, написанные в течение шестидесяти лет.

Поэты, писавшие прозу, известны в большом количестве – это верно и для русской литературы. А вот прозаик, который изредка публиковал стихи и выпустил книгу лишь в возрасте около восьмидесяти – это редкость. Но уж раз перед нами книга, в которой собраны стихи, написанные за период более полувека, посмотрим, какое место занимает она в мозаике русской поэзии XX века и как менялась – если менялась – манера поэтессы за столь долгий период.

Прежде всего, в согласии с автором послесловия к книге, заметим, что «негромкие, но существенные» для понимания литературного процесса имена действительно составляют *основу пирамиды* в литературе любой эпохи и любого языка. Именно по *средним, типичным* представителям потока можно изучать литературный процесс того или иного периода, так же, как школы и направления состоят не из тех, кто не уместился в их рамки, а из тех, кто эти рамки определяет своим контуром. (Так, «Библиотека поэта» правильно поступает, выпуская Фофанова или Каролину Павлову, Туманского или Кюхельбекера... Это и есть сама эпоха...). И если вспомнить строчки Ахматовой: «Тебе улыбнется презрительно Блок, трагический тенор эпохи», то надо принять и тот факт, что у эпохи есть не только солисты – существует хор. Издательство «Руссика» в Нью-Йорке правильно посту-

пает, выпуская книги, которые являются такими голосами из хора. «Руссика» в своей «Поэтической серии» на них явно специализировалась. Первым номером этой «Поэтической серии» был Анатолий Штейгер – лирик, представляющий все характерные стороны так называемой «парижской ноты».

Так, Сергей Петрунис представляет абсурдизм годов шестидесятых, а Нина Берберова – тех многочисленных поэтов начала века, которые продолжали писать чуть не до наших дней, но не входили ни в число символистов, ни в число акмеистов. Это течение, условно именуемое неоклассическим, вершиной которого был Ходасевич, продолжало в наиболее неизменном виде тютчевскую линию. Кроме Ходасевича, сюда можно отнести из самых ярких имен Бунина и затем множество остальных, именно тех, кого можно назвать «хористами».

В сороковые-шестидесятые годы Берберова отходит от неоклассицизма, и верлибр, свободный стих, ведет ее если не совсем к абсурдизму, то к стихам, напоминающим обэриутов. Это самые яркие из ее стихов, в них появляется тот едкий порой юмор, которым насыщена и ее проза:

Ни о вазе, ни о розе в вазе:
Запретили. Нельзя:
Постановили единогласно,
И я сама голосовала «за»
А что ж о черепках? забыли?
Разбили вазу, цветок сломали,
А черепок?
О нем-то есть постановление?..

Именно ирония отличает Берберову от ужасно серьезных абсурдистов, в том числе и нынешних, ирония же сближает ее с обэриутами – Хармсом и Олейниковым.

Но у каждого поэта, независимо от его масштабов, есть своя философия. Философия Берберовой – стоицизм: «Я никогда не молюсь, / я никого не боюсь, / я ни о чем не плачу» – пишет она в стихах 1961 года, а в стихах, написанных совсем недавно, в 1983 году, такое:

Когда-то ты билет вернуть
С поклоном собирался Богу,
Но мы возьмем его в дорогу:
Он может сократить нам путь.
Но если правда Аушвиц был,
И был ГУЛag и Хиросима,

Не говори «пройдемте мимо»,
Не говори «я все забыл»,
Не притворяйся: *ты там был!*
И вот проходим мы незримо
Мимо окошка, мимо, мимо,
Той кассы, где лежит секрет:
Там некому вернуть билет.

Итак – стоицизм и скептицизм. Сократовское «я знаю только то, что ничего не знаю» – вот ответ на все вопросы бытия, который дает поэтесса в книге, где собраны стихи за 60 лет...

О самой своей роли в литературе Берберова пишет тоже с присущим ей бескомпромиссным и беспощадным стоицизмом:

Я остаюсь с недосказавшими, с недопевшими, с недоигравшими,
с недописавшими. В тайном обществе,
в тихом сообществе недоуспевших, которые жили в листах
шелестевших,
и шёпотом нынче говорят.

Впрочем, отношение скептическое у нее не только к самой себе, но и к человеку как феномену вообще. Пародируя известное изречение Блеза Паскаля «мыслящий тростник», Берберова именует человека «мыслящий лопух». Этот нигилизм поэтесса с завидным постоянством пронесла через все шестьдесят лет творчества. Нелегко... Но есть у нее одна строка, которая стала крылатой, это строка обо всех политических эмигрантах из России: «Я не в изгнании, я в послании». Ну что ж, и одной строчкой можно войти в то бессмертье, существование которого Нина Берберова отрицает...

В. Б.

ПРЕДТЕЧИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Анн-Арбор, «Ардис», 1984

Книга Марка Альтшуллера – первая в русском литературоведении, которая исследует деятельность знаменитого литературного объединения первых десятилетий XIX века «Беседа любителей русского слова». Если не считать разговора о творчестве некоторых, наиболее известных членов «Беседы» в книге Ю. Тынянова «Архаисты и новаторы», о самой «Беседе» и ее принципах широкий читатель знает только из той полемики, которую вело с «Беседой» литературное общество «Арзамас», полемики, почти всегда громкой, сатирической и в силу своей сатиричности деформировавшей всю картину. Достаточно вспомнить смешные сатирические «Протоколы заседаний Арзамаса», написанные В. А. Жуковским, чтобы члены «Беседы» предстали перед нами в облике исключительно карикатурном. Немало для создания такого впечатление поработал и юный А. С. Пушкин – его эпиграммы на главу «Беседы» адмирала Шишкова, драматурга Шаховского, на Шихматова-Ширинского гораздо более известны, чем творчество самих членов «Беседы».

Причем, поскольку в советской стандартной шкале ценностей «Беседа» считается явлением исключительно реакционным, то, кроме этого сатирического к ней отношения как к сборищу графоманов, русский читатель XX века почти ничего и не знает. Советское литературоведение затушевывает даже тот факт, что, кроме осмеянного неоднократно Пушкиным графа Хвостова и адмирала Шишкова, членами «Беседы» на всем протяжении ее существования являлись такие великие русские поэты, как Г. Р. Державин и И. А. Крылов, баснописец И. Дмитриев, директор Публичной Библиотеки А. Оленин, крупнейший русский лингвист А. Х. Востоков, поэтесса Анна Бунина и знаменитый остроумец, от эпиграмм которого хохотала вся Россия, Ф. Ростопчин, не считая таких политических деятелей, как М. М. Сперанский...

Серьезное отношение к «Беседе», конечно, было в свое время невозможно из-за Хвостовых (их там трое было!) и других нелитераторов или полулитераторов, известных своими нелепыми сверхконсервативными выходками, но приведенный выше список уже заставляет нас взглянуть на деятельность «Беседы», отвлекшись от того полемического задора, с которым на беседчиков насакивали молодые карамзинисты...

Марк Альтшуллер впервые ставит вопрос о «Беседе» как прямом предшественнике течения славянофилов в истории нашей литературной и общественно-политической мысли. Отдельные главы книги посвящены творчеству И. А. Крылова, Г. Р. Державина, самого основателя «Беседы» А. С. Шишкова.

Оппозиция к «дней Александровых прекрасному началу» была явлением куда более сложным и неоднозначным, чем это представляется из эпиграмм А. Пушкина и В. Жуковского: это видно хотя бы потому, что сам вдохновитель александровских реформ – Михаил Сперанский – входил все-таки в «Беседу», а не в «Арзамас»...

На заседаниях «Беседы» в державинском доме в лучшие ее времена собиралось до 500 человек – вся тогдашняя петербургская интеллигенция. И арзамасцы сами нередко присутствовали в качестве слушателей...

Полемика о русском языке, о классицизме и сентиментализме получает впервые в этой работе разностороннее освещение. «Беседа» как предшественник славянофильства действительно заслуживает большего внимания, чем уделялось ей до сих пор. В этом главное значение работы М. Альтшуллера, впервые использовавшего огромное количество документов из ленинградских литературных архивов, представляющих деятельность «Беседы любителей русского слова» как явления, во многом создавшего не только будущих славянофилов середины века, но и таких гениев русской литературы, как А. С. Грибоедов (с его глубокой критикой галломании в России начала прошлого века), и даже таких, казалось бы, противоположного лагеря деятелей, как П. Чаадаев. Не следует забывать, что к теоретическим положениям «Беседы» был близок ее предшественник А. Радищев, о чем в СССР вспоминать очень не любят, и вместе с тем «Беседа» оказала решающее влияние на литературную, критическую и во многом историософскую деятельность Рылеева, Бестужева и других писателей – творцов декабристской идеологии с ее опорой на национальные корни русской культуры прошлых веков.

В. В.

ИОРДАН НА НЕВСКОМ. Стихи

Тель-Авив, 1983

«Если Мессия, сойдя на землю, ступит в Летний Сад, не удивляйтесь...» – так начинает Дмитрий Малкин вступление к своей книге. Первая половина этой фразы взята из псалма... И она повторяется несколько раз на протяжении этой воистину поэтической прозы, которая как бы собирает в пучок все лучи и лучики от всех стихотворений книги.

Первая книга Малкина вышла в Израиле. По духу она – питерская. Насквозь питерская. Иордан ли на Невском, или Невский на Иордане, но град Давида и град Пушкина для поэта переливаются один в другой.

«Ироды не любят Петербурга, Иерусалима, уговаривая народ, будто они его благодетели, ироды переносят столицы в места побезопаснее, не принимая, что дух города дан ему *свыше*. Наверно, провозгласителям каждой новой власти никак нельзя оставить столицей город такого духовного напряжения – легче править из Кесарии, временно перебраться в Москву, и с расстояния наблюдать за оппозицией истинной; срезать, едва прорастет».

Эти параллельные образы городов не придуманные, они – отражения того духовного состояния, которое способно породить целое тематическое течение в литературе... даже в двух литературах, русской и израильской. Как назвать его? Не поддается называнию. Живет в стихах, даже скорее в том дыхании, которое предшествует стихам. Это не просто тема, это – «нераздельно и неслиянно» два мира в душе, две разных культуры в одном сознании. Это – еще лет десять тому назад блестяще выразила двумя строчками Лия Владимировна: «И два крыла, как Два Завета / в меня вошли, кровотока». У нее это – гармония, то, что для многих других – мучительное раздвоение между прошлым и настоящим, между памятью и горизонтом... У Малкина тоже, как и у Владимировой, гармония: ибо нет вражды, есть продолжение! (Об этом – и в Евангелии: «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон и Пророков, не нарушить Я пришел, но исполнить».) Нет пропасти. А те, кто хочет, жаждет эту пропасть выкопать, чтобы повергнуть души в смятение, те ничего не поняли ни в Торе, ни в Евангелии. И когда вдруг в иных журналах проявляется это стремление зачеркнуть все прошлое, а с ним вместе и Россию, зачеркнуть себя в *ней*, то этот

соблазн, эта идеология духовной спекуляции шипит и гаснет перед творчеством Л. Владимировой или Дм. Малкина. «Два города – две столицы Духа», пишет Малкин. И в этом кредо поэта. «Когда Мессия придет в Иерусалим, / Над Сионом будет Белая Ночь». В стихотворении «Пустыня», одном из лучших в книге, звучат мотивы из пророка Исайи, звучат в Питере, в его храмах:

Вот Ты мне подсказал спасение в молитве,
Я кинулся в нее, со всеми быть готов,
Но я опять не смог забыться в общем ритме,
Увидели глаза моление скотов!

Этот общий ритм, это «будь как все» немислимо ни в одном из городов Духа... Иначе ты не поэт, иначе ты – не пророк, а голос из хора, из того стада, которое не становится обществом даже молясь – мотив почти кощунственный! Но глубоко трагический в истовости своей:

Я слышать не хотел, глаза старались выше,
Зевающих ханжей да полных денег блюд.
Что ж сделать я могу, раз вижу, вижу, вижу,
Как в Храме у Тебя злословят и плюют?!

Тут обличение Исайи переливается в тот миг, когда Христос берет плоть, чтобы изгнать торгующих из Храма. Беспощадная достоверность интонаций у Малкина, та искренность, при которой самое резкое – не брань, а боль. В стихотворении «Иуда» монолог «антигероя» звучит со шварцевской модернизацией:

Теперь я стар, но выгляжу неплохо,
С работой как? Истории служу.
Вы слышали, «Дорога на Голгофу?»
Вот я по ней экскурсии вожу,
Торгую сувенирными гвоздями...

О Иерусалиме Малкин пишет с той же пронзительностью, что и о Петербурге. И разве важно, что в одном городе с детства, а в другом – три года всего?

Храни наш договор, Нева,
Храни мои лицо и плечи,

Катай прощальные слова
По дну... до невозможной встречи...

Стихи Малкина отметил накануне своей смерти Давид Дар, воспитавший большую часть питерских поэтов «медного века». Это из его кружка вышли и Соснора, и Кушнер, и Горбовский... Памяти этого замечательного человека и посвящено прозаическое вступление книги, в которой поэт воплотил не *противоречие*, а *гармонию* двух своих миров, двух культур. И в русских стихах его естественно звучат мотивы древнейшей в мире лирической поэмы – Песни Песней:

И стража расступается у входа,
А циники ревут: «благослови!»
Без веры сможет Бог, и Солнце без восхода,
А эта Девочка не может без любви!

Две литературы, русская и израильская, обогатились еще одним интересным поэтом.

Б. В.

Международная издательская кооперация ТМА

приглашает к сотрудничеству.
За подробностями обращайтесь по адресу:

S. Vangnoo (ТМА)
postlagernd/Postamt
D-2358 Kaltenkirchen

По страницам журналов

«ГРАНИ», №№ 131 – 135

Таинственный это талант – выпускать журнал, т. е. формировать номер не как случайное собрание материалов, пусть и первоклассных, а как единое целое. У нового редактора журнала «Грани» Георгия Николаевича Владимирова этот талант, несомненно, есть.

Принятый им осенью 1983 года журнал существует без малого сорок лет. Он знал периоды взлётов и периоды застоя, но в одном оставался неизменным: «Грани» отдавали и отдают свои страницы в первую очередь тем авторам, которых не смогла сдержать преграда «железного занавеса».

Достаточно сказать, что именно здесь были впервые опубликованы стихи Б. Пастернака из «Доктора Живаго», «Этюды и крохотные рассказы» (1964 г.), «Раковый корпус» (1968 г.), «Свеча на ветру» (1969 г.) Александра Солженицына; «Дворник Лашков» Владимира Максимова; «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Верный Руслан» Георгия Владимирова, «Иван Чонкин» Владимира Войновича, рассказы Варлама Тихоновича Шаламова.

И задача нового редактора состояла в том, чтобы продолжать борьбу за освобождение России, за свободную русскую культуру – осуществлять, таким образом, изначальную миссию журнала. Но необходимо было еще и осовременить журнал, так как в последние годы он превратился скорее в «исторический вестник», – сделать журнал более литературным, «упругим» – короче, придать «Граням» новый блеск, новую тональность, произвести, так сказать, «эстетическую реформу».

Г. Н. Владимов – не только писатель, но в прошлом также редактор отдела прозы журнала «Новый мир», поэтому естественно было ожидать от него повышенного интереса к прозе и очерку. Действительно, в пяти номерах журнала опубликованы полностью два романа – «Расставание» Леонида Бородина и «Глядя на ночь» Феликса Канделя, повесть В. Некрасова, большой рассказ С. Довлатова и очерки: о генерале Свечине и командарме Миронове, путевой очерк о Германии, социальный очерк «Девушки за денежки».

И в том, и в другом жанре основной упор сделан на индивидуальную судьбу человека, ибо в ней заключается порой больше информации, чем в проблемном трактате.

Два очерка Вл. Рапопорта и Юр. Алексеева, составляющие как бы сюиту, – оба о трагической гибели необычайно талантливых незаурядных личностей – в прошлом царских генералов.

Если прежние «Грани» интересовала судьба участников Белого движения, то новая редакция рассматривает другой результат выбора: судьбы тех царских офицеров, кто пошел на службу к советской власти, т. е. помог ей своим талантом, профессией, образованием. Рассказывая о гибели военного теоретика А. А. Свечина («Пророк в своем отечестве», № 132) и о командарме замалчиваемой ныне Второй Конной, Ф. К. Миронове («Дело гражданина Миронова», № 134), – погибших не понимая, за что, не ведая, что творится их руками, – авторы говорят: «Что бы про них ни наплели казеннокоштные историки, (они) были идейными борцами. Эти люди верили, что они имеют право на собственное – не согласованное с Кремлем – понимание свободы, и дрались за эту свободу» (№ 134). Миронов был потрясен и возмущен зверствами большевиков на Дону. «Вся деятельность коммунистической партии, возглавляемой Вами, направлена на истребление казачества, на истребление человечества вообще», – не побоялся он написать Ленину.

С точки зрения литературной, центр тяжести этих последних пяти номеров пришелся на роман Леонида Бородина «Расставание», напечатанный в №№ 131-132. «Расставание» Л. Бородина – вещь страстная, рождающая тревогу. На такого героя, как у Леонида Бородина, «хрестоматийный глянец» не очень-то наведешь. Перед нами – интеллигент (с каким облегчением многие прилепили бы к этому герою проверенный ярлык «потребителя», будь он поглубже, помещанистей, более благоустроен), один из множества душевно-бездомных. Кто он, этот Генночка? Просто нищий духом, в чем ему стыдно и страшно признаться, или терпящий бедствие оттого, что не может, не решается сделать выбор?

Любовная коллизия здесь – также не из простых. Вроде бы – классический треугольник. Две женщины. Два символических пути. Две гавани.

Идеальная дочь священника Тося (Анастасия) – спокойная, преданная, постоянная, надежная и, кажется, даже в фигуре своей, в сильных руках воплотившая вековую устойчивость крестьянского бытия. И – её противоположность, интеллигентка, взбалмошное дитя города, работающая «мужскую» профессию тележурналиста – Ирина. Эта любовная коллизия напоминает древнюю аллегорию, словно из колоды карт «таро», что называется «Влюбленный». Итак, две фигуры; одна – ангелическая, другая – демоническая. Кого выбрать? И

юноша разрывается между любящими женщинами, искренне желая им счастья и по очереди делая их несчастными – но он-то, по сути, несчастнее их обеих!

Герой остается с Ириной – этим символом движения, беспокойства, поиска, прихотливой живой капризности, взвинчивающей человека творческой жажды. Выбор не случаен: Тося – это гавань, в которой кончается всякое движение.

Но за плечами героя – еще одна фигура, сам автор, Леонид Бородин, добровольно в жизни избравший Голгофу. И, если верить, что писатель создает реальность, что он для своих созданий – Бог, надо думать, что герой возьмет с него самого пример.

Я вижу в природе бородинского дара нравственную монолитность и ту тягу к единому и всеобъясняющему началу, в свете которого всякое раздвоение контуров должно было бы вести к трагедии. Я не удивилась бы, если бы венцом романа был трагический спор о смысле жизни и о «последних ценностях» – тот самый спор, который после Достоевского существует в нашем сознании как «русский спор».

Но изящный пассаж в финале романа об умеющих веселиться советских людях никак не может ответить на духовные запросы, которые пробуждает роман.

Среди стихов лучшей оказалась подборка Ирины Ратушинской (№ 132). И это – невзирая на присутствие на страницах этих номеров «Граней» С. Липкина или Ю. Кублановского. Ирина Ратушинская – действительный поэт. Поэт – вопреки и благодаря всему тому, что вошло в ее судьбу.

Снежный маятник стёрся: какая по счёту неделя?
Лишь темнее глаза над строкою да лоб горячей.
Через жар и озноб – я дойду, я дойду до апреля!
Я уже на дороге. И Божья рука на плече, –

пишет поэт, на которого всей тяжестью сейчас обрушился кулак государства.

«Ратушинская – поэт чрезвычайно подлинный, поэт с безупречным слухом, равно отчетливо слышащий время историческое и абсолютное», – написал Иосиф Бродский в предисловии к недавно выпущенному трехязычному сборнику стихов Ирины Ратушинской.

Наиболее ударный публицистический материал – это подборка документов, полученных из России, некая «белая книга» (скорее «черная») об уже начавшем воплощаться «проекте века» – переброске части стока северных рек на юг. «Проект приведет к гибели культуры

Севера – самого важного района русской (увы), уменьшающейся нации», – пишет академик Д. С. Лихачев, человек не склонный к преувеличениям.

Язык писем и документов, сухой, канцелярский, вопиет перед лицом грозящей миру опасности, – о разбойничьем нападении на жизнь самой земли, на ее природу!

Обогатился и раздел критики и библиографии «Граней» – отдел крайне важный для журнала. На сегодняшний день эссе Василия Аксенова занимает центральное место в этом разделе. Его «Прогулка в калашный ряд» (№ 133) – написана с блеском, метко, поэтично, с озорством. И одновременно – с трогательным благородством. Это – эссе в защиту «прекрасной дамы», друга-поэта Беллы Ахатовны Ахмадулиной, так сказать гимн Аксенова дружбе и верности – один из лучших во всех пяти номерах.

Последний по счету, только что появившийся, 135-й номер, повеселел и растолстел – страниц этак на тридцать. Сменился цвет обложки. Она теперь – не бледно-зеленого цвета, а скорее цвета морской волны.

К художественным удачам этого номера следует отнести рассказ Сергея Довлатова «Лишний». Это – *рассказ-судьба*, один из высших разрядов прозы. (Заметим кстати, что талантливый Довлатов часто выступает с *рассказами-анекдотами*, – жанром несравнимо более легким, хоть и эффектным.)

История лишнего человека нашего времени, поэта Буша – чудака, чужака, угрюмого озорника, чудом затесавшегося в редакцию советской газеты, – написан трогательно и, вместе с тем, остро-социально. Рассказ «Лишний» – острое соединение юмора и серьезности, озорства и сентиментальности, условности анекдота и безусловности были. Довлатов все время испытывает давление мира больших проблем. Вы читаете рассказ, смеетесь и вдруг ощущаете, особенно к концу его, что здесь затронуто много попутных острых проблем, которые могли бы стать сюжетом психологической драмы.

Стихи (стансы) Марины Тёмкиной, посвященные И. Бродскому, по своей форме представляют некую переключку с поэтом, своеобразную «игру в Бродского» Стихи-послание к поэту близки к «царско-сельской» школе: в них – «северная» интонация. Звучность и свежесть тональности создается и внесением в стихи М. Тёмкиной слов, вообще-то в поэзии «не прописанных»: «стенограмма», «автоцитата», «факт» и пр. Сравнения простые, но неожиданные:

«Что делается с нашими сердцами?
Как маятник ходят под часами».

Старейший русский писатель Виктор Некрасов, в своей доверительной, искренней манере пишет о том, что эмиграция вносит раскол между людьми, и, что самое страшное, «выехавшие» более чужды друг другу, чем «оставшимся».

Вайль и Генис – опять-таки известнейший журналистический дуэт из «новых» – разрисовали в последнем номере перед читателями привычно-шкатулочные «Сказки о Германии». Они решили на минуту забыть о той Германии, которая слилась в нашем сознании напрочь с коричневой чумой гитлеризма. Но – увы! это насильственное отторжение от темы чувствуется, сколько бы ни говорилось о бессмертии мудрого и честного Щелкунчика, о его иммунитете против духа фашизма, реющего в мире.

Коричневая чума может в любой момент стать эпидемией. Статья Я. Костина как раз и предупреждает об одном из её латентных очагов – о журнальчиках типа выходящего в Америке ежемесячника «Русское самосознание». Статья Я. Костина названа «Красное и коричневое». Она говорит о нагнетании национальной розни в эмиграции и на родине, о вражде, создаваемой искусственными методами, руками таких вот изданий, неизвестно кем субсидируемых. Или – известно кем? Надеемся, что открытый, своевременный разговор об этом, начатый «Гранями», будет подхвачен нашей прессой.

Сквозь последние пять номеров «Граней», с 131-го по 135-й, проступает как бы полифония. Тут, на фоне глубоких басов, – голоса регистром повыше; подхватывают, развивают основную мелодию, идут в контрапункте. Вот «басовая» статья Владимира Максимова в №135, под названием «Эпоха „Скотского хутора“ или будни посторвеллизма». Она – о путях борьбы с тоталитаризмом, о трудности шагов по этому пути, в стороне от проторенного, умело проложенного дьяволом прямо к гибели. Так ли уж неизбежна гибель? Где начало нового и есть ли оно? Может, это новое, это спасение – во всеобщем очищении ненавистью? В истреблении в себе самом ветхого тоталитарного Адама? Известно же – мы сами себе тюрьма.

Непреложна лишь необходимость бороться с этим страхом, с этой стагнацией.

Жажда нынешних десятилетий, – говорит Владимир Максимов, – в нашем стремлении к социальному и духовному обновлению, должна обогатиться активным действием. Нужно прибегнуть к реставрации политики, к возвращению политике её изначального смысла – того, которого она сейчас лишена. Таким средством должно стать создание в мире «параллельных полюсов», объединений глобального масштаба. Их цель – предложить адекватные формы сопротивления тотали-

таризму. Это, говорит В. Максимов, – «сможет обеспечить человечеству выход из смертельного тупика „Скотского хутора“, или, еще хуже – „1984“-го».

Пять номеров – число знаменательное. Это – полностью завершившийся журнальный год плюс первый номер следующего года – как бы новый виток спирали. Журнал «Грани» находится в периоде обновления, пожелаем ему успеха.

К. Сапгир

«СТРЕЛЕЦ»

(Обзор нового ежемесячного журнала 1984 – 1985 гг.)

Новый ежемесячный литературно-художественный журнал в эмиграции – само по себе событие. Тем более редкое, когда журнал почти сразу обретает свое лицо, свой подход к явлениям современной русской культуры и свой круг авторов. Поэтому можно только поздравить главного редактора журнала «Стрелец» Александра Глезера с удачным дебютом и пожелать «Стрельцу» долгую жизнь.

Ядром журнала, мне думается, является проза, что закономерно для ежемесячника. Журнал открыт для различных тенденций: от гротескных парабол Юрия Мамлеева до лирических зарисовок Юрия Гальперина. Существенное достоинство журнала – публикация романов с продолжением. К примеру, в прошлом году были опубликованы романы Сергея Юрьенена «Нарушитель границы» и А. Ветлугина, писателя 20-тых годов, «Записки мерзавца», который в свое время вызвал шумные споры в парижских кругах. В этом году были опубликованы роман Вадима Нечаева «Двойной портрет», написанный еще в России, и повесть Гайто Газданова «Великий музыкант» – из жизни русской эмиграции в Париже тридцатых годов. За эти месяцы была напечатана также проза Андрея Платонова и Варлама Шаламова. Журнал открыт для писателей всех волн эмиграции, а также живущих в метрополии. Рукописи, приходящие по каналам самиздата, печатаются в первую очередь. Вот это разнообразие прозы, соседство современных писателей и поэтов с образцами лучшей прозы из архивного отдела придает журналу и качество и актуальность. Хорош отдел «Литературная критика». В нем часто печатается Сергей Юрьенен, чьи литературные обзоры отличаются высоким уровнем. В 1985 году журнал стал печатать переводные статьи западных критиков, освещающих процесс русской культуры.

Три отдела: проза и поэзия, литературный архив и литературная критика придают «Стрельцу» черты серьезности и убедительности.

Публикация неизвестных прежде рассказов Шаламова или открытие такого превосходного автора как Газданов, чье творчество было практически забыто в эмиграции, – это особая заслуга журнала.

Следует отметить и увеличение роли в этом году критического отдела. Помимо рецензий на отдельные книги или журналы, в нем помещаются аналитические статьи на творчество отдельных писателей или поэтов. Очень ценная рубрика: «Литература метрополии: взгляд из Парижа», в ней рецензируются талантливые вещи, напечатанные в СССР.

Большое место в «Стрельце» занимает изобразительное искусство. Здесь мы снова встречаемся с удивительной толерантностью журнала. На его страницах рассказывается о творчестве русских художников самых различных направлений: об экспрессионизме Оскара Рабина, о метафизическом синтетизме Михаила Шемякина, о соц-арте Виталия Комара и Александра Меламида, и о творчестве таких своеобразных мастеров, как Эрнст Неизвестный, Юрий Купер, Владимир Григорович, или как Олег Целков, Владимир Немухин и Вячеслав Калинин. Несколько раз публиковался в журнале художник-сатирик Вячеслав Сысоев, который за свои рисунки был осужден на 2 года лагерей. Его талант проявился не только в графике, но и в прозе. По каналам самиздата пришли на Запад его воспоминания и записки. Журнал освещает все основные выставки русских художников на Западе и оперативно откликается на события художественной жизни Москвы и Ленинграда. И это не случайно. Со времени Бульдозерной выставки в Москве в 1974 году движение независимых русских художников играет значительную роль в культурном процессе и в нравственном сопротивлении советской идеологии.

Интересным выглядит в журнале отдел интервью. Здесь были опубликованы беседы Александра Глезера с писателями, поэтами и художниками разных направлений и взглядов: с Василием Аксеновым, Владимиром Максимовым, Виктором Некрасовым, Натальей Горбаневской, Оскаром Рабиным, Андреем Тарковским, Юрием Милославским, Олегом Целковым и многими другими. Жанр интервью приобрел в наше время необычайную популярность. И, в частности, журнальное интервью требует немалого искусства от журналиста. Его задача – помочь раскрыться собеседнику, вызвать его на откровенность, создать его объемный портрет для читателя. Одним из самых удачных мне представляется интервью с Олегом Целковым. И его творчество и его характер многим кажутся загадочными. Порой

даже близкие друзья не могут расшифровать его картины. И это, пожалуй, впервые – интервью, где Целкову удалось прояснить некоторые свои замыслы и так откровенно рассказать и о своей жизни там, и о своей работе в эмиграции. В настоящее время существуют интервью трех типов: советского, французского и американского. В советском интервью ответы почти заранее известны. Во французском – личность интервьюера порой заслоняет собой личность собеседника. Интервью Глезера ближе всего к американскому образцу. Он старается, так сказать, завести собеседника, провоцируя его, споря с ним, чтобы лучше раскрыть его личность, его творчество, его жизненную позицию, его взгляды и вкусы.

Очень важен в журнале отдел воспоминаний. Сохранение исторической памяти, культурных традиций – одна из первейших задач любой эмиграции. В нескольких номерах «Стрельца» печатались воспоминания дочери Федора Ивановича Шаляпина со множеством точных и любопытных деталей из жизни великого артиста. Также печатались отрывки из воспоминаний театрального режиссера Дональда Мечика, скульптора Эрнста Неизвестного. Сейчас публикуются воспоминания с продолжением Оскара Рабина под названием «Три жизни». Бесспорно, это ценный человеческий документ. Как-никак, а в 70-ые годы произошел прорыв культурной блокады, и следствием его было рождение широкого Культурного движения, которое живо и сегодня. Жизнь Оскара Рабина неразрывно связана с этими событиями.

Ценным качеством журнала является оформительская выразительность, оригинальность его облика. Это заслуга художника Виталия Длугого, он с большим вкусом и фантазией занимается оформлением журнала. В заключение я хотел бы подчеркнуть давно созревшую потребность в журнале такого уровня и такой оперативности. По словам Юрия Мамлеева, «такой журнал – это наша общая победа».

Вадим Нечаев

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С ЮРИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ ЛЮБИМОВЫМ

Ведет Наталья Горбаневская

Н. Г.: Может быть, мы начнем прямо с 20-летней истории театра на Таганке? Разумеется, всю ее в одном интервью рассказать невозможно, так что остаются самые важные вопросы: как возник театр? Почему он возник? какую он играл роль? По этому поводу до сих пор ведутся споры....

Ю. Л.: Споры?



Н. Г.: Я вам приведу такой пример. Недавно в подпольном журнале «Независимая культура», выходящем в Польше, была напечатана дискуссия о рамках деятельности культуры, не зависящей от государства. Конечно, у них эти рамки – куда входит не только подпольная, но в широком смысле независимая культура, – гораздо шире, чем у нас в стране, но разговор затрагивал тему, которая чрезвычайно важна и для нас: насколько следует использовать возможности присутствия в официальной культуре? И один из участников дискуссии рассказал, как ему в свое время в Москве пришлось услышать такое мнение, что «Театр на Таганке» является чем-то вроде витрины, призванной создавать впечатление, что в Советском Союзе существует свобода творчества, и тем самым обеспечивать режиму своего рода «алиби». После этого зашел разговор о том, насколько нужны такие «таганки» – и другие участники были склонны считать, что нужно как можно больше

таких «таганок», то есть полей проникновения в официальную культуру, своеобразных плацдармов, которые у нее отвоевываются. Такова суть этих споров.

И вот теперь, через 20 лет, на ваше место пришел, как мы знаем, Эфрос. Что это – просто смена главного режиссера (не будем пока говорить о моральности или аморальности той роли, которую взял на себя Эфрос) или же такой поворот в истории театра, введение его в те рамки, где он перестает быть «таганкой» в том широком смысле, о котором мы говорили? И, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, мне думается, надо идти именно от конкретных фактов – от истории театра, от того, что театру за 20 лет удалось сделать, что ему – пусть со скрипом – давали сделать, и того, что ему сделать не давали и не дали.

Ю. Л.: Ну что ж, это хорошо, что сделанная вами преамбула столь ясно определяет направление разговора. Мне кажется, финал и позволяет разрешить тот спор, о котором шла речь. Финал театра. Просто те господа, которые нами правят и которые с самого начала не хотели, чтобы этот театр был, воспользовались моментом и прекратили его существование. Вот и все. По сути дела, перед нами – те же бесконечные споры о том, что же такое советская дезинформация. Все знают, что в КГБ есть специальный отдел дезинформации, и возник он давно – с самого возникновения советской власти. Его деятельность направлялась Лениным, который указывал, как именно надо менять тактические приемы. Ну да вы это все не хуже меня знаете. Поэтому, безусловно, они терпят какие-то явления – потому что их уничтожение не было бы в их интересах. Хороший пример есть даже в наивной книге Ольги Ивинской о Пастернаке. Когда после всех оскорблений, посыпавшихся на него после присуждения Нобелевской премии, Пастернак не видел для себя никакого выхода – он поделился с Ивинской, близким ему человеком, своей мыслью: уйти из жизни. Ему казалось, что ничего

другого не остается. Она ответила: «Что ты говоришь, безумный ты человек! Ведь они только этого всю жизнь и добивались – чтоб ты перестал существовать!» И наивный Пастернак – а его все считали таковым, и даже я, имевший счастье знать его довольно близко, – ответил: «О, ты глубоко ошибаешься! Мой уход – это очень сильный удар по ним». Тогда она, увидев, что его намерения вполне серьезны, тайно от него поехала в ЦК. Ей сразу дали машину, сразу отправили обратно, с людьми – чтобы сделать все возможное и не дать ему покончить самоубийством. Значит, наивный поэт оказался прав, а любящая женщина – ошиблась, несмотря на всю свою женскую интуицию, которой они так любят гордиться.

Почему я так отвечаю вам – не напрямую? Потому что ситуация эта общая – и касается не только меня. Я-то был последним, успевшим «проскочить в дверь». Едва я успел проскочить, как сняли Хрущева. Они даже долго решали: давать мне театр или не давать. Мало кто об этом знает, но сначала они определили меня в театр им. Ленинского Комсомола, и я уже ходил туда как хозяин, присматривался, думал, и вдруг – р-раз! – они меня оттуда отстранили и поставили Эфроса. Которого, впрочем, и выгнали через три года. Значит, здесь тоже работала эта их дезинформация. И они не собирались его там долго держать – потому что он за три года сделал из совершенно развалившейся колымаги – театр! Он начал ставить Розова, Радзинского, Булгакова, все это было интересно, сразу пошла публика – короче, это стало одним из самых популярных мест театральной Москвы. Немедленно такая ситуация перестала их устраивать – и они его выгнали. Вот и все. И вновь превратили театр в убогую рухлядь, и когда он снова стал уже совсем ничтожным – они снова назначили туда более или менее одаренного человека, но который нашел с ними общий язык и стал работать более или менее в рамках, ему предписанных. Это был Марк Заха-

ров. Тоже, как я уже сказал, человек одаренный. Так что все это старые их методы.

Со мной у них так не вышло. Во-первых, они не ожидали столь быстрого созревания театра. У меня-то с этим были свои проблемы: дело в том, что у актеров, испытавших такой успех и внимание публики, началось, как выражался незабвенный вождь Иосиф Прекрасный, «галавакружение от успехов». И зачастую мне бывало нелегко доказывать им, что никаких причин для головокружения пока нет, что это не наша заслуга, а просто так получилось, что в тот момент наш театр и избранная им эстетика оказались как бы в «фокусе истории».

Эстетика Брехта вообще не привилась в Советской России, поскольку была чужда советским властям. Его самого они тоже очень холодно принимали, когда он приехал, и он был чрезвычайно расстроен, потому что реальность вовсе не соответствовала тем идеалам, которые он себе воображал. Он ошибся и второй раз – когда писал свою пьесу (оставшуюся незаконченной) «Турандот или Конгресс обелителей». Она вся пронизана ожиданием того, как придет с гор Мао со своей легендарной армией и наконец-то Китай вздохнет. А потом пришел Мао, и началась «культурная революция» и все прочие ужасы, которые мы знаем про Китай и которые как две капли воды похожи на то, что было и у нас. Мое поколение прекрасно помнит, как отрезали острые носки у ботинок, кромсали брюки, боролись против галстуков – словом, всю воевали с модой. Разумеется, я говорю сейчас лишь о комедийном аспекте того, что тогда происходило, но и он весьма характерен. Действительно, теперь как раз наоборот, ведется борьба с теми, кто не носит галстука, и председатель Гостелерадио Лапин одно время вообще не допускал на телевидение мужчин с бородами или женщин в брюках – то есть вся эта «бодяга», иначе ее и не назовешь, продолжает крутиться без конца, до оскомины на зубах, демонстрируя неизмен-

ность их тупых тактических приемов и их полную некомпетентность, неумение отличить главное от несущественного. А некомпетентный человек – всегда человек злой, потому что он не может решить никакого вопроса, а от этого злится и делает глупости. Но поскольку, при всем при том, как говорится, «генеральная линия движется неумолимо» – то она продолжает кое-как двигаться, и наивные западные жители со свойственным им стремлением к объективности этот факт отмечают: «Да, мол, конечно, но ведь они все-таки, так сказать, движутся... Можно сказать, идут!» Да идти-то они идут, но как лунатики по карнизу – а все в ужасе смотрят и ждут, когда этот лунатик оттуда свалится.

Я тут все отвлекаюсь, философствую... Давайте вернемся к самому началу. Мне уже в театральном училище было трудно. Так оно интересно складывалось, что первыми, кто возражал против того, что я делаю, были мои собственные ученики. Это трагично, но это факт. Они на меня были в претензии, что я их не так учу, не по системе Станиславского. Разрушаю, мол, систему. Потом мне заявили, что Брехт вообще не годится для русской школы: что он слишком рационален, чужд глубоким эмоциональным переживаниям и так далее.

Н. Г.: Чужд, так сказать, «славянской душе»?

Ю. Л.: Вот-вот, что-то в этом роде. Всё ищут душу – только почему-то не у датчан, не у финнов – ищут душу только у одних русских. А все другие без души, что ли? Ну, это приятно, конечно – такой избранный народ... Но мне это напоминает реакцию Ставрогина из «Бесов» – главного «беса» – который, издеваясь, произносит: «Ну, это-то, конечно, русская душа!»

Ладно, вернемся к нашей «Таганке». Я с трудом получил разрешение сделать дипломный спектакль на 3-м курсе: сначала я показал отрывок, чтобы убедить членов кафедры, и этот 45-минутный фрагмент из «Доброго человека из Сезуана», поскольку был всего лишь фрагментом, привел всех почти в восторг, и мое предло-

жение утвердили. Но когда я поставил весь спектакль целиком – то он был закрыт, как ненужный и чуждый. Хотя еще официально господствовали веяния XX и XXII съездов, но уже чувствовалось, что ветер переменялся. Но после того, как я все-таки получил театр, обратно меня загнать было уже трудно, потому что у нас все-таки всегда дается какой-то срок, как бы это выразиться...

Н. Г.: *Срок на «саморазоблачение»?*

Ю. Л.: Да, именно. Пусть, мол, поработает, а там посмотрим и уберем, если надо. Как они выражаются: «Если товарищ становится неуправляемым, то мы найдем ему достойную замену».

Н. Г.: *И управу...*

Ю. Л.: Ну, это-то само собой... Управу они всегда на всех находят. Но тут они, видимо, упустили момент, и кому-то попало. И после того, как они мне дали должность, и появился «Добрый человек», получивший очень широкий резонанс, они сразу меня снять не сумели. А тут появились отклики в прессе, и, можно сказать, пресса меня и спасла. Я помню, когда еще меня прорабатывали на партбюро в училище, то должны были прийти гранки из «Недели» со статьей в мою защиту, и кто-то говорил: «Пусть только они подольше заседают, сейчас, вот-вот, мы их статьей!» А началось все с того, что бывший директор училища (не будем называть его фамилию, не надо обижать человека, и я у него в учениках ходил) позвонил куда следует и заявил: «Мы этот спектакль запрещаем, он не достоин диплома такого прославленного театрального училища, как Вахтанговское, носящее имя Б. В. Щукина!» Ну, и так далее. А надо сказать, что Борис Васильевич был моим учителем и прекрасно ко мне относился. Он умер в тот день, когда меня забрали в армию. Когда я получил повестку, то он мне сказал, прекрасно понимая всю советскую систему: «Ты сам не ходи, а то тебя заберут без всяких разговоров. Пойдем со мной, я Ленина играл, и, может, сумею

добиться, чтобы тебе дали какую-то отсрочку». Но он умер, и мне уж не до того было – все были в таком горе – и я пошел в военкомат. Меня тут же и взяли. Еще мне повезло, что командир хороший попался – я его умолил, чтобы он меня отпустил учителя похоронить. Так я его и похоронил, Бориса Васильевича.

Так что в конце концов спектакль удалось отстоять – при помощи, как я уже сказал, печати, а также в чем-то помог и ныне покойный поэт Константин Симонов, который написал в «Правду» заметку, где говорилось, что было бы весьма хорошо сохранить такое живое явление, как «Добрый человек». После всего этого я превратился в «невесту на выданье». Это они сами меня так называли, когда вызвали в МГК КПСС: «Вот, мол, вы у нас прямо как невеста: то мы вас сюда определяем, то туда... Мы поначалу вас в театр Ленинского Комсомола прочили, но вот подумали и решили: надо вам на Таганку. Вы такой энергичный, а там, понимаете, рабочий район, стык трех районов нашего города. Правда, театр, надо вам сказать, находится в плохом состоянии – но вы, с вашей энергией, не подведете, понимаете ли, доверия...» Ну что можно сказать? Театр этот был правильный, все делал как нужно, никто туда не ходил, должен он был государству 70 тысяч рублей – вот такая ситуация. И вызвали меня в Управление культуры Мосгорисполкома, а там тогда начальником был один такой человек, которого я сейчас с умилением вспоминаю: Господи, вот какие начальники были 20 лет назад! Фамилию я его называть не буду, чтобы у него лишних неприятностей не было – пусть сами доискиваются. Светлая личность был этот начальник, в шахматы играл, и хорошо, между прочим, играл – из-за этого у нас с ним впоследствии даже один разговор интересный состоялся, но я к нему потом вернусь, вы мне напомните.

Сидела там целая комиссия, в этом злосчастном Управлении культуры при Моссовете, к которому я был

приписан, и торжественно они мне заявили: «Вы созрели, чтобы получить театр в столице нашей Родины – Москве!» А я им отвечаю: «Знаете, по-моему, так я даже перезрел – 45 лет мне уже все-таки». – «Ну что-о-о вы, – покровительственно так они со мной разговаривают, – вы такой энергичный, сильный, молодой...» – «Спасибо на добром слове, – говорю, – но вроде мы тут одни мужики собрались, чего уж там... Если бы вы меня при женщинах расхваливали – другое дело, а то даже как-то неудобно». Ну, острили они на эту тему, по-мужицки острили, дурака валяли – созрел, мол, или все-таки не созрел, и как у меня вообще, в смысле взглядов? «Взгляды у меня нормальные, – отвечаю, – стараюсь читать великую русскую литературу, стараюсь на ней воспитываться». – «А чего ж тогда Брехта поставили? Поставили бы Пушкина – „Борис Годунов“, например», – так они мне вещают, не зная, какой финал будет у этой истории с «Борисом Годуновым» через 20 лет! – (смеется) – «Да я, – говорю, – и Брехта-то не знал, как ставить, все мучился, а уж нашего русского гения осилить...» Тут они мне припомнили слова Твардовского, к тому времени уже известные: «Если уж вам так необходим культ и без культа вы жить не можете – введите культ Пушкина!» Я отвечаю: «Это, понимаете ли, трудно очень... Вот у меня есть один друг, так он мне все время советует – поставь, Юра, есенинского «Пугачева», как это прекрасно! Но я не знаю, как его ставить, не могу придумать. А уж Пушкин...»

А друг этот – о нем можно говорить, это ныне покойный Николай Робертович Эрдман, выдающийся драматург, – часто меня пытался убедить, что «Пугачев» – вещь чрезвычайно интересная для театра. «Вот и Мейерхольд, – говорил он мне, – очень хотел это поставить». – «Так не поставил же?» – спрашиваю. «А он, – говорит, – просил Есенина дописать кое-что, а тот ему ответил: „Ничего я дописывать не буду. Как написалось – так и написалось“».

Я действительно тогда не представлял, как можно поставить «Пугачева» – а через несколько лет все-таки придумал, и попросил Николая Робертовича написать к спектаклю интермедии. Я чувствовал, что это действительно необходимо, и Мейерхольд в чем-то был прав – уж больно высокий накал был в том, что я придумал: наклонный помост на сцене, а внизу – плаха, и все это дико и неудержимо катится к этой плахе! – да и стихи есенинские настолько темпераментны, что такого высокого напряжения в течение всего спектакля выдержать просто невозможно. Кстати, сам Есенин читал «Пугачева» с чудовищным темпераментом – он так сжимал ладони в кулаки, что ногти до крови впивались в кожу! И когда я достал записи того, как читал Есенин монологи Хлопуши или Пугачева, и прокручивал потом актерам – то эти записи очень им помогли понять что-то главное и взять нужный тон. А этот спектакль был к тому же еще и очень музыкальным – благодаря блистательному Высоцкому и Губенко, который тоже был просто великолепен...

Извините, я все отвлекаюсь, перескакиваю.

Так вот, определили меня на Таганку, и я сразу принес начальству бумагу – из 13, если не ошибаюсь, пунктов – с моими условиями. Очень они расстроились от такой моей наглости и даже несколько обалдели: «Мы вам такой почет оказываем, а вы нам – бумагу с условиями». – «Видите ли, – говорю, – я ведь, собственно, в трудоустройстве не нуждаюсь, так что дело как бы не в этом». – «Но ведь вы же столько денег получать будете!» Посчитали, прикинули: 175 рублей как режиссер, еще какие-то надбавки, и в конце – как сейчас помню – еще 50 рублей «за номенклатурность». Всего 300 рублей получилось. «Да вы знаете, – говорю, – я ведь как актер выступаю в кино, на телевидении, и в театре у меня роли есть, так что я в общем раза в два больше зарабатываю. Так что дело тут не в трудоустройстве и не в деньгах – да и вы ведь меня берете не как актера Вахтанговского теат-

ра, а увидев мой спектакль, который я сделал со студентами как режиссер». – «Да-да, конечно, как режиссер вы себя проявили – мы же смотрим и всегда выдвигаем и поддерживаем молодые таланты». А я опять за свое: «Так я же не молодой...» Так эта бодяга долго продолжалась. Им всё мои пункты не нравились: что я прихожу со своим спектаклем, снимаю весь прежний репертуар, реорганизовываю труппу и начинаю делать свой собственный репертуар. Разумеется, я обещал, что уплачу все долги государству, но твердо настаивал, что театр будет лишь некоторое время играть два-три старых спектакля, пока не будет создан новый репертуар, но в основном – почти каждый день – будет идти «Добрый человек из Сезуана», на который нельзя было достать билетов. После этого у меня произошла такая история, когда я им пошел навстречу – и зря. Они мне предложили поставить что-нибудь к юбилею Лермонтова – и я сделал «Героя нашего времени», что было с моей стороны просто-таки легкомыслием, так как мои молодые актеры не были в состоянии осилить такой спектакль всего за полтора месяца. Они привыкли работать по-другому: «Доброго человека» я с ними делал целый год. Хотя, надо сказать, инсценировка была очень удачная: Эрдман приучил меня писать и просто заставил собственноручно написать всю пьесу, которую он потом правил и вообще всячески мне помогал. Так что из хорошей инсценировки (а я даже смею считать ее лучшей из существующих) получился очень средний спектакль. К счастью, мне удалось быстро поставить еще «Антимиры» по Вознесенскому и «10 дней, которые потрясли мир» по Джону Риду, и у театра образовался свой собственный репертуар из четырех спектаклей. «Герой нашего времени» вскоре сошел со сцены, а остальные три идут до сих пор: «Антимиры» прошли 700 раз, «Добрый человек» вообще идет уже 22 года, «10 дней» – 21 год. Но эти спектакли тоже начальством были встречены не очень благожелательно, даже «10 дней»: так,

мол, революцию нельзя показывать, уж больно легкомысленно, и так далее. Для меня же эти работы были в чистом виде экспериментом, попыткой найти свой путь. Тогда я только начинал осваивать новую свою профессию, начинал новую жизнь – как вот сейчас начинаю. Только сейчас я уже совсем старый. – (смеется) – Тогда общая картина официальных московских театров была вполне убогая: как английский газон. Царила, если можно так выразиться, «мхатизация». Унылая была картина. И почему у меня в «10 днях» много было и цирка, и буффонады, и театр теней был – словом, всяческие жанры? Потому что это был мой полемический голос: я хотел показать, насколько разнообразной может быть палитра театра.

Н. Г.: *Я согласна, что картина профессиональных театров тогда в Москве была довольно унылой, но ведь были и непрофессиональные – например, студия Марка Розовского, впоследствии ликвидированная в 1969 году?*

Ю. Л.: Конечно, и еще «Современник» тоже был – то есть уже были эти живые очажки. Но зрелище, которое являли собой театры, принадлежащие к официальной культуре – было грустное. Более того, в то время уже начали их искусственно взбадривать, всякими инъекциями, уколами, пытаюсь как-то возродить их к жизни – у нас всегда пытаются делать искусственное дыхание, даже уже когда никаких надежд не осталось. Так что, конечно, мои поиски были полемикой не с «Современником», Розовским или Эфросом. Театр на Таганке просто был другой, на них непохожий. Но это в какой-то мере было так просто потому, что и я был другой, да и они не были похожи друг на друга. Все мы были разные, и поэтому каждый из нас искал свои, так сказать, эстетические категории, и внутренне ощущал потребность сказать свое слово. Дело в том, что каждый из нас острее воспринимал различные грани, различные стороны советского общежития. Эфрос, например, занимался своим «микромиром»: Арбузов, Розов и т. п. Даже

когда он обращался к классике, то это были Тургенев и Чехов; Мольер и Шекспир появились позднее. Мне думается, что определенная смена в его вкусах произошла не без некоторого влияния театра на Таганке: на него сильно подействовал «Добрый человек», и эта линия в его хороших спектаклях была вполне заметна. Я ему не раз предлагал в шутку обменять «Вишневый сад», который он у меня поставил, на его «Женитьбу», Он даже как-то болезненно воспринимал такое предложение: «А что, тебе не нравится?» – «Да нет, – отвечал я, – просто тот спектакль близок Таганке, а «Вишневый сад» чрезвычайно далек. Вот и пусть мои ребята играют этот спектакль у тебя в театре, а твои – у меня. Даже забавно будет». Но он шутки не понял. Понял другое – но уже гораздо позже. Ладно. И вот, значит, когда начальство спохватилось и стало пристально рассматривать театр – то меня сразу и погнали. Одновременно с Твардовским. Когда они стали сводить счеты с «Новым миром», то как раз в это время я поставил спектакль «Живой» по Борису Можаяеву, новомировскому автору. И в один прекрасный день Екатерина Алексеевна Фурцева, тогдашний министр культуры, в обществе своих подружек или друзей заявила: «Вот завтра я поеду к этому Любимову. Я ему покажу, как ставить такие спектакли!» Так она сказала – хотя спектакля даже не видела – и на следующий день приехала с уже заранее готовой установкой: громить и запрещать.

Просмотр был закрытый: в зале была она со своими замами, был Можаяев, я, и никого больше даже в зал не пустили – ни художника-постановщика, ни композитора, никого. Только потом как-то сумел туда пробраться Андрей Вознесенский. На обсуждении она на него тоже цыкнула: «Вы уж лучше помолчите! Всегда вы заступаетесь не за тех, за кого надо!» – и Андрей, по-моему, в своей последующей жизни в какой-то степени это замечание учел.

А она кричала: «Что же это такое мы видим? Ведь это же получается, что иностранцу даже из Москвы никуда не надо ехать – придет он в театр и сразу все поймет!?»

Н. Г.: *Да уж – мы его не пускаем в деревню, и вообще за 40 километров от Москвы, а тут такое безобразие прямо на сцене...*

Ю. Л.: Да. «Вы что же это, специально для иностранцев этот спектакль сделали? А вообще – есть в этом заведении партийная организация?» И тут встает наш секретарь (пустили его в зал все-таки), весь бледный, трясется и говорит: «Есть, Екатерина Алексеевна...» А она как взглянет на него: «Это вы-то? Ясно вижу, что нету!» – (смеется) – Ну, так она шумела, бушевала, а потом вскочил один молодой подхалим из ее свиты – он потом стал начальником Главного управления театров всего Советского Союза... Как же его звали? Даже фамилию забыл. Отвратительный был такой тип... Ничего, в разговоре, может, вспомню – их тоже помнить нужно. Так вот, вскочил он и просит: «Разрешите, – говорит, – мне, как молодому, высказаться». А она довольна: «Давайте, давайте, вот это-то и хорошо, вот это и нужно, чтобы молодежь их разоблачила!» Ну, тот и запричитал: «Да что же это такое делается, Екатерина Алексеевна? Ведь это же всё чернота одна! Да как они посмели такое на сцене показать? Да где они всё это видели?» – «Молодец, – говорит Фурцева, – так их! Правильно! Давай, задай им еще!» – (смеется) – Потом он иссяк, поднялся Борис, подошел к нему и так грозно проговорил: «Сядьте! Ай-я-яй! Такой молодой – и уже такой подхалим! Карьерист жалкий! И вам, министру культуры, не страшно смотреть на то, что вы воспитываете? Что вы себе позволяете?!» Так он ходил и минут пять их отчитывал. Прекрасную речь тогда Борис произнес, и они сидели как в шоке – видно, отвыкли, чтобы с ними так разговаривали. Да еще я в сердцах масла в огонь добавил, хотя до меня только потом до-

шло, что же такое я им сказал. Когда Фурцева закричала: «А что это ваш артист (Золотухин тогда играл главного героя, Федора Кузькина) на березки эти ваши «Новый мир» повесил? Вы что думаете, далеко вы с ним уйдете?», тут я возьми да и скажи: «А вы думаете, что с «Октябрем» своим дальше проследуете?» Я-то имел в виду журнал «Октябрь»: как раз тогда в «Правде» статья появилась, в которой в пух и прах разносились оба журнала, хотя по отношению к «Октябрю» тон был несколько снисходительнее. А она-то поняла, что я весь их «октябрь» имею в виду. Ну, и возопила: «Что-о-о?! Да, теперь мне понятно, где я нахожусь! Сейчас же бегу писать письмо Генеральному секретарю!» Схватила свое манто каракулевое, свита за ней – и умчалась писать письмо Брежневу. Но она была дама, и ее-то вспоминаешь с удовольствием на фоне этого химика, Дёмичева. Было все-таки в ней что-то женское, что-то человеческое. Могла, например, позвонить вечером: «Что вы там опять затеяли? Опять на вас жалобы идут!» А могла и другое сказать: «Забирайте своего еврея и уезжайте в вашу Италию!» – это когда Якобсону долго не разрешали, чтобы он со мной поехал в качестве хореографа-постановщика. Вот и в тот раз отбыла она из театра писать письмо Генеральному секретарю – но, видимо, так и не написала. Хотя выгонять меня все равно начали. Но тогда я сам уходить не хотел, в отличие от Александра Трифоновича Твардовского, которого уже довели до такого состояния, что он оставаться во главе «Нового мира» просто не мог. Я сам тогда принимал участие в попытках уговорить его, чтобы он не уходил – но он уже не мог не уйти. Только теперь я понимаю, что зря я его тогда уговаривал. Просто не мог он больше, это было выше его сил. А со стороны всем тогда казалось, что это не так, и все считали: пусть, мол, еще потерпит. Как они мне довольно цинично сказали, когда я с ними завел разговор уже отсюда: «Ах, он, видите ли, больше не может! Тоже мне – терпел 20 лет,

пусть еще потерпит! Пусть приезжает, раскается, мы посмотрим». Ведь это же их излюбленный метод: заставлять признавать свои ошибки. Вот и в тот раз, когда меня выгоняли, ко мне стали приходить разные знакомые и уговаривать, чтобы я написал покаянное письмо, где я заверял бы, что исправлюсь, что учту все репертуарные ошибки, займусь подлинным воспитанием коллектива в лучших традициях советской культуры, и так далее, и тому подобное. И была даже такая смешная сцена: все мои доброжелатели пришли ко мне (я уж не буду называть их фамилий, они себя сами узнают) и стали сочинять письмо вместо меня, а я сидел как бы ни при чем. Так они работали, писали текст, в котором я признавал и то, и другое, и третье – а когда утомлялись, то я их спрашивал: «Ну что, чайку? Или, может, кофейку?» Тогда они меня замечали и, встрепенувшись, говорили: «А, это ты? Ну, поставь чайку». Я их спрашивал тогда: «А почему вы так уверены, что вот это письмо, которое вы сейчас с таким жаром составляете, один другого перебивая, вообще пойдет мне на пользу? Они же могут очень спокойно заявить: «Вот и прекрасно, он же сам во всем признался. И правильно, что мы его выгнали». В первый раз они еще как-то задумались, но письмо все-таки dokonчили. Я их поблагодарил и написал свое собственное письмо, за что они на меня очень обиделись, и многие из них исчезли с тех пор с моего горизонта. Видно, им это было поручено... Да-да, не надо недоверчиво качать головой. Я ведь не подвержен мании преследования. Вполне обычная история... Они исчезли и затем проявили себя так, что нельзя было даже сомневаться, что им это было поручено. Их, по-видимому, наказали, так как они заверили, что письмо сочинено и будет отправлено. Дело в том, что у меня сразу стали требовать это письмо – а я сказал, что еще думаю. «А чего тут думать? – ответили мне. – Даем вам неделю сроку. Не сдадите за это время письмо – будете освобождены от работы». Тогда я, уже сам, написал

письмо Брежневу, где были очень резкие фразы: «От всех моих посещений тех ведомств, которым поручено руководить искусством, у меня осталось на душе тягостное впечатление – от всего этого веяло *китайщиной*». А надо сказать, что в то время был разгар конфликта с Китаем – так что вы не думайте, что я такой уж простодушный. И еще я добавил такую фразу: «Если вы сочтете возможным, то я был бы вам признателен, если бы вы мне разрешили продолжать работу в созданном мною театре». На что я получил ответ в виде телефонного звонка от помощника Генерального секретаря, и именно тогда я впервые в жизни услышал выражение «под запись». То есть он мне что-то говорил, а потом сказал: «А дальше – под запись». Я сначала не понял, а он мне: «Слушайте, слушайте! Я же сказал: дальше – под запись». И только тут до меня дошло! – (*говорит голосом Брежнева*) – «желаю вам, так сказать, благополучно работать, спокойно работать на благо, понимаете, нашей Родины. Ну что же, бывают всякие, понимаете, вещи, которые мешают. Есть товарищи, которые еще плохо разбираются. С товарищеским приветом. Спокойно работайте. Надеюсь, при случае мы с вами встретимся и обстоятельно обо всем поговорим».

Н. Г.: *Ну и как, встретились вы и поговорили?*

Ю. Л.: Нет, все время откладывали, но так мы и не встретились и не поговорили. Еще пару раз в подобные моменты – после скандала с «Пиковой дамой», например – я писал Брежневу, но уже ничего не прося. Один такой раз был, когда я уже предчувствовал, что меня опять выгоняют – и оказался прав. Это было, когда у меня с треском сняли «Берегите ваши лица» по стихам Вознесенского, где Володя Высоцкий впервые пел «Охоту на волков». Когда он закончил, то я думал, что театр рухнет – зал просто с ума сошел! Когда это было? почти перед самым входом танков в Чехословакию, кажется... Да, в 1968 году. Вот, и я тогда заранее написал это письмо, чувствуя, что дело идет к катастрофе.

Меня просто вызвали и сказали, чтобы я сам ушел, по доброй воле – а то будет хуже. Знаете что, давайте-ка мы прекратим эти рассказы о моих злоключениях, а то уже никому неинтересно, а я могу еще долго говорить...

Я ведь в театре работаю с 17 лет, и сталкивался с самыми различными примерами их «театральной политики», этой сложной и странной игры – с ужесточением цензуры, режима, наблюдения... Многих фактов уже никто просто не помнит, а у меня даже самое начало жизни в театре оказалось трагическим. Я тогда играл в МХАТе 2-м, в пьесе Жака Дювала «Мольба о жизни». Я прекрасно помню последний спектакль [в феврале 1936 г. – Прим. ред.], где играли Берсенев, Гиацинтова – весь цвет МХАТа 2-го. Шел спектакль, а все актеры плакали: утром в газетах уже должно было быть напечатано постановление о закрытии «так называемого МХАТа 2-го как театра чуждого и ненужного советскому народу». А артистами труппы МХАТа 2-го предписывалось «укрепить московские театры». Даже в самом постановлении была нелепость: если он малохудожественный и никуда не годится, то как же его труппой можно «укреплять» другие театры? Ну да их логика никогда не волновала...

Н. Г.: Юрий Петрович, у меня к вам такой статистический вопрос... Как мы уже выше говорили, многие считают, что те спектакли, которые показывала Таганка, должны были служить чем-то вроде «дымовой завесы», призванной создать впечатление, что в СССР существует свобода творчества. Однако практически для всех оставалось и остается скрытым то, чего Таганка не показывала и не смогла показать. Никто не знает, сколько было мук с выпуском спектаклей, сколько спектаклей было закрыто сразу после выхода, не принято и не выпущено, запрещено еще в период репетиций... Ведь так, кажется, обстояло дело с «Бесами»?

Ю. Л.: Да какие там репетиции! Я их только-только начал делать...

Н. Г.: Так вот, какова статистика за 20 лет? Сколько спектаклей вам удалось сделать и показать людям, и сколько – вам сделать не дали?

Ю. Л.: Как ни парадоксально, но счет здесь в мою, а не в их пользу! Другое дело, что каждый спектакль они портили: вырезали реплики и целые сцены, заставляли сдавать по 5-6 раз. Были такие спектакли, которые они просто вынуждали меня ставить, но даже с этими спектаклями трудностей было вполне достаточно. Однажды мне сказали: «Или ставьте „Мать“ Горького, или ничего вам не разрешим». Я подумал, поразмыслил и согласился. Так ведь потом они эту «Мать» выпускать не хотели! Когда они мне предъявили целый список злодеяний, из которого следовало, что я сделал этот спектакль про советскую Россию, про их теперешний режим, то я соорудил мрачное и непроницаемое лицо и сказал: «Вы больны. Если вы путаете царский и советский режимы, приравниваете их друг к другу, то нам с вами разговаривать не о чем. Вам надо лечиться, а об этом разговоре я напишу куда следует». И на следующий же день мне пришло разрешение.

«Что делать?» по Чернышевскому они просто запретили. Я сдавал спектакль 6 раз, они у меня там всё вырезали, и тогда я сказал, что играть это не буду, а опять-таки напишу бумагу куда надо. Когда они всё испортили в «Что делать?», свели всё к любовному треугольнику, то я их спросил: «Что же это у вас получается, что слова Ленина – „этот роман меня буквально перепахал“ – относятся только к любовной интриге? Только к тому факту, что можно преспокойно жить втроем? Это вызовет знаете какие нападки! И меня же потом обвинят, что я свел всю глубину учения к любовному, постельному треугольнику. Это, что ли, перепахало Владимира Ильича?» А их там еще возмутила цитата из Ленина – насчет того, что «раб, смакующий свое рабство, есть просто холуй». И потом, насчет того, что беспощадное обличение Чернышевским многие принима-

ют за оскорбление национальных чувств, национальной гордости великороссов, или что-то в этом роде. Это знаменитая цитата по поводу «Что делать?», я ее наизусть не помню, но вы ее легко разыщете. Так они потребовали прежде всего убрать эту цитату и перестроить весь спектакль. С чисто театральной точки зрения он, кстати, был довольно интересным и долго шел. И в общем, как ни странно, он оказывал полезное влияние на людей – потому что показывал и утверждал человека с сильным характером, который готовит себя к противостоянию во имя своих принципов. Пусть даже это было схематично – но в театре иногда бывает так, что даже средние пьесы звучат неплохо, если удастся найти соответствующую форму, а классика проваливается. Вот такие случаются парадоксы.

Вернемся снова к вашему вопросу. Если у кого-нибудь может сложиться впечатление, что все выпущенные, разрешенные спектакли были настолько уж безобидными, что театр на Таганке не мог иметь своего голоса, оказывать свое влияние – то это неверно. Возьмем, например, того же «Живого» по Можаяеву. За что на него обрушились?

За что вообще на меня всегда нападали, откуда эта немилость и гнев, за что меня выгоняли и беспрерывно прорабатывали во всевозможных инстанциях? Ведь не было ни одного так называемого «актива», где меня не склоняли бы на все лады, вплоть до оскорблений: «Дать ему билет в один конец, как Эрнсту Неизвестному! Сколько мы будем терпеть это безобразие! Стидно дышать с ним одним воздухом!» – ну и так далее. Что я мог сказать? – «Стидно – так выйдите, пожалуйста. Я ведь тоже не по своей воле здесь сижу, терплю от вас всякие оскорбления. Вы меня и вызвали». – «Вы чей хлеб едите?» – вскакивала дама с пышным бюстом, и на сисечке у нее висела звездочка Героя Социалистического Труда. «Вы знаете, – отвечал я, – глядя на вас, я ни на минуту не сомневаюсь, что едим-то мы уж явно не

ваш хлеб, а свой. А что вы, кстати, видели в нашем театре? Вот вы отвечаете, что, мол, неважно. Значит, вы ничего и не видели. Зачем же вы так?». Ну, тут на меня орали все, клеймили – ведь проработки бывали такие, что люди умирали. Так умер один начальник главка, и что же они? а ничего – вынесли труп и продолжали прорабатывать. А со стороны такая театральная жизнь выглядит даже довольно безобидной: вот даже Зиновьев не понял и сказал, что театр на Таганке существует, по всей вероятности, с разрешения КГБ. Ну а как же иначе? А он сам – не с разрешения КГБ работал в своем институте? Когда КГБ не разрешит, то никто работать не будет – а посадят голубчика в ГУЛаг, в психушку или еще куда. Это еще западные жители все про нас многих вещей понять не могут, а кто у нас свое прожил – те с правилами игры хорошо знакомы. Просто есть такие, что не верят в чудеса, а есть и такие, кто знает, что они бывают. В общем, как в «Бесах» говорится, «атеист их не поймет». Так и тут. Ведь у них тоже там есть разные люди, и им, безусловно, нужны хотя бы какие-то фигуры в искусстве, на которых они могли бы пробовать свои силы и оправдывать свое существование. И я имею в виду даже не эту пресловутую теорию «выпускания пара» – пар их не очень и интересует. Хотя они по-хищнически и распродают направо и налево содержимое недр своей несчастной страны, но все равно еще там достаточно и нефти, и угля, чтобы и делать пар, и выпускать пар, и так далее. Они не могут никак наладить хозяйство так, чтобы прокормить свое несчастное население – это другое дело. Сталин так тщательно и под корень уничтожил всех работающих мужиков, и в таких масштабах это проделал, что отбил у людей охоту работать на земле. И вся эта система колхозная ничего, конечно же, не даст – и так они и будут продолжать покупать во всем мире хлеб, пока не придумают какую-то другую форму снабжения населения. Чего они только не делают: вещи все эти давно известные, даже по-

вторять неловко – но вот Хрущев распорядился отобрать приусадебные участки, и в стране возник призрак голода. Оказалось, что эти микроскопические участки в основном людей и кормили...

Ну ладно, давайте вернемся лучше к театру. Хотя сам тот факт, что мы все время отвлекаемся, по-видимому, тоже закономерен – потому что наш театр постоянно выдвигал эти вопросы. Не случайно мы сотрудничали с лучшими писателями – представителями так называемой «деревенской прозы». Название, правда, мне не кажется удачным – просто это были люди, теснее связанные со своей землей и потому глубоко ее чувствовавшие и страдавшие из-за того положения, в котором она находится. А для многих оказалось неожиданностью, когда я стал ставить работы таких авторов, как Федор Абрамов или Борис Можаев. Поначалу все так называемые «русофилы» считали Таганку «еврейским театром» и говорили и Федору, и Борису: «Эх ты, с кем ты связался! Ты что, не видишь, что там одни евр-р-реи, понимаешь, засели? И Любимов твой – евр-р-рей. Скр-р-рывает только...» – (смеется) – И вот, когда они увидели эти два спектакля, то сперва бросились было защищать – особенно их «Кузькин» как-то задел... Абрамов тоже проскочил чудом – это были две его очень сильные вещи, «Пелагея» и «Деревянные кони». Даже этот начальник мой бывший, из-за меня пострадавший, шахматист, пришел на этих «Деревянных коней» и сказал мне с тоской: «Ну, Юрий Петрович, ну где же справедливость? Ведь наш-то Кузькин, он же веселый был, и вправду – живой... А ведь ты тут, прости меня, нагнал такого мраку, что просто сердце кровью обливается!» – «Да, – говорю, – но ведь и там правда, и тут – правда». – «Так-то оно так, – он говорит, – это верно... Но где же логика у них?!» И это он так говорил, начальник мой... Это он же однажды закрыл дверь кабинета на ключ и спросил меня: «Ну, скажи мне по совести, ну неужели мы так уж ничем и не помогаем? Ведь мы же от всей

души! Ну, скажи – мы вот тебе советуем по-товарищески, ведь ты же хороший мужик! Ты же всё понимаешь!» (Телефоны все отключил, дверь запер...) «Вы уж не обижайтесь, – говорю, – но как же вы мне можете помочь? Вот вы хорошо играете в шахматы – я же не могу вам помочь играть, я ведь хуже вас играю! При всем к вам уважении – ведь вы же не режиссер. А я – какой-никакой, а режиссер, я же знаю свою профессию! И как же тут помочь – вы только испортить все можете. Ну, допустим, мы в шахматы играем, и вы мне советы даете, пусть даже хорошие – так для этого вы Алехиным должны быть или Капабланкой, а вы ни тот, ни другой. А если даже я и буду делать нужные ходы, по вашей подсказке, то получится, что не я выиграл партию, а вы! Тогда садитесь и сами доигрывайте, а иначе это с моей стороны нечестно будет...» Послушал он меня тогда и очень расстроился: «Да-а-а, – говорит. – Ну ладно... Иди». Так что видите, были там и такие, хорошие люди. Не так все оно просто, как кажется. Ведь это значит, что он иногда, наверное, даже с болью в сердце портил спектакль. А что поделаешь – приказано... Он уже в замминистры должен был пойти – а лишили его этого поста, за «Кузькина» нашего. Нашли более достойного.

А уж достойных-то у них хватало! Я помню, в московском горкоме КПСС сидели дамы партийные – вот поистине не приведи Господь! Шапошникова там была такая тогда, дура полная – культурой руководила. Когда мне удавалось пробиться на более высокий уровень, я даже просил: «Вы уж как-нибудь хоть умерьте все-таки их своевольность. Нельзя же так. То один у тебя всю кровь выпьет, а не выпьет – так испортит, то другого назначат, еще хуже. Что же, так и жизнь вся пройдет?» Но надо сказать, говорил я с ними всегда очень прямо. В общем, так, как с вами сейчас. Ну и, конечно, они бесились. Но поскольку меня восстановил «сам» – то просто убрать меня они не могли. Дело в том, что у них есть такая «табель о рангах»: раз меня несколько раз восста-

новили на самом высшем уровне – то и выгнать меня можно только на самом высшем уровне. Поэтому они и воспользовались смертью Андропова – и тут же меня и убрали. Там, правда, еще и личная месть была – Демичева, Зимянина и им подобных. Я ведь немало просто врагов себе нажил от таких разговоров. Вот они со мной и рассчитались.

А возвращаясь к общему счету – я уже сказал, что в целом он все-таки в мою пользу – то надо еще добавить, что портить спектакли все-таки я до конца не позволял. Тогда я просто предпочитал снимать их – и начальство это знало. А поскольку снять просто так «Мать» или «Что делать?» нельзя, как вы сами понимаете, то эти спектакли выходили. Пусть подпорченными, но выходили и, как я считаю, все равно приносили свою пользу. На эти же спектакли никто никогда не ходил – а у нас даже на них народ ходил, и невозможно было достать билеты.

Что еще было? Эрдмана я хотел ставить, «Самубийцу», когда Николай Робертович еще жив был. Репетировал я месяц – и они мне спектакль закрыли. А Николай Робертович оживился весь сразу, бедный, совсем стал другим человеком – хотя и надевал всегда на себя маску безразличия: что все это ему уже, мол, неинтересно и неважно. Даже интермедии его к «Пугачеву» они вымарали. Я тогда сказал, что не буду выпускать спектакль, но он возразил: «Нет, Юра. Спектакль, по моему мнению, получился – и Бог с ним, пусть идет без моих интермедий. Как-нибудь выкрутитесь». Редкого был благородства человек. Ну, я добавил туда две вставные пантомимы, без текста. Вот и все.

А что они только ни вытворяли с «Пугачевым»! Привезли на сдачу двух несчастных старух, сестер Есенина, и сказали, что если они не выступят и не скажут, что я искажил брата, то они у них пенсию отнимут!!! Одна старуха стала ругать меня, другая вдруг заплакала, закричала: «Сереза был бы счастлив, а ты, стерва... Вы

замечательный спектакль сделали!» И такой скандал начался между сестрами, что они поняли, что из этого предприятия ничего у них не выйдет, и ретировались.

Хотели закрывать «Послушайте, Маяковский!» и привезли Перцова, чтобы он разгромил спектакль, а тот слушал, слушал, потом понял – и ни в какую! Такое тогда вокруг «Маяковского» началось – тут и Лиля Брик, и Катанян, и Кирсанов, и другие поэты вступились, и даже Чухрай им заявил: «Вы торгуете патриотизмом, как публичные женщины на панели!» В театре несколько дней такое творилось, что не передать! Конечно же, все эти протоколы они уже арестовали и отправили в ЦГАЛИ, как и кабинет мой опечатали. Но одни эти дискуссии чего стоили!

Материалы обсуждения «Кузькина» были опубликованы в «Монде» – вы достаньте их, там очень интересные вещи есть. Выдержки оттуда можно взять, там довольно полно все приведено. Это Николь Занд опубликовала, прямо сенсация тогда была. Я когда Гоголя делал, то все время заводил актерам запись этого обсуждения: «Вот как надо играть „Театральный разъезд“, со всеми тамошними „впечатлениями“ и „критическими замечаниями“!» Например, там заместитель главного редактора «Сельской жизни» кричал: «Даже если все это и было, мы будем считать, что этого не было!» Был там покойный Яншин, писатели многие, там просто побоище было – стенка на стенку! Солоухин там выступил великолепно: «Вот я тут дочку с собой привел, так она плакала весь спектакль. Значит, нужно, чтоб молодежь знала, до чего вы довели деревню! А вы тут спектакль закрывать собрались – так председателей колхозов понавезли, оторвали от дела. Вы бы лучше прямо там, в колхозах, и налаживали дела, а не учили бы Любимова, как спектакли ставить, а писателей – как писать. Это все равно как если бы Николай I собрал всех городничих, чтобы „Ревизор“ закрыть – так, конечно, они бы его закрыли!»

И вот на такие бои у меня больше половины времени уходило. Ведь каждый спектакль по несколько раз сдавать приходилось – а надо было еще «учитывать замечания», поправлять. «Кузькина» того же я три раза сдавал, и последний раз они нас с Борисом Можаявым два месяца мучили, а потом оказалось – просто за нос водили! Борис поверил этому Демичеву, который с собой на просмотр 150 человек привел. Не так, как Фурцева, которая все двери в зал закрывала – он из себя демократа изображал. Посмотрел он спектакль, весь багровел, а потом сказал тихим голосом: «Ну что же, выпускайте как положено. Только вот частушки у вас тут... Нехорошие...» Тут Борис говорит, радостный: «Ну, частушки мы заменим, Петр Нилыч, насчет этого не беспокойтесь. Знаете, сколько частушек народ поет?» А какие там частушки были? Ну, например: «С неба звездочка упала прямо милому в штаны. Пусть бы все там разорвало, только б не было войны». Или: «Шел я раз по улице, сидит петух на курице. Упирается ногой, рябоватенький такой». И тому подобное. И вот Петра Нилыча эти частушки просто-таки шокировали – цыпочку нашу с перманентом. Ой-ой-ой... Но я думаю, что в этом его тогдашнем разрешении еще и то сыграло свою роль, что я напротив него встал и так на него глядел, что он понял – будет скандал. И, может быть, даже такой скандал, что придется милицию вызывать. И он, попросту испугавшись, – разрешил. Но тут же, уже в машине – запретил! Потом мы, этого не зная, месяц спектакль «исправляли», Борис ликовал, а я, будучи настроен весьма пессимистически, его урезонивал. «Вот, – говорил он мне, – ты всегда так!» – «Боря, – отвечал я, – дитё ты малое! Ничего они не выпустят. Вот поиздеваются над нами вдоволь – и закроют». Так и случилось. Грустно все это вспоминать.

Н. Г.: Юрий Петрович, вот вы упомянули о вашем запечатанном кабинете в театре. У нас есть сведения из Москвы, что после того, как он некоторое время про-

стоял опечатанным, было отдано – и выполнено – распоряжение забелить его стены, покрытые автографами, стихами и рисунками известных людей, посещавших ваш театр и по традиции оставлявших на этих стенах какую-нибудь надпись на память.

Ю. Л.: Значит, они забелили даже автографы своих кумиров? Ульбрихта, Кастро, Гэса Холла, все политбюро итальянской компартии во главе с Берлингуэром? Ну ладно, их не интересует ни Генрих Бёлль, ни Артур Миллер, ни Куросава, ни Жан Вилар, ни Елена Вайгель, ни Лоуренс Оливье – никто. Там же был даже рисунок Сикейроса, который помогал им убивать Троцкого, рисунки коммуниста Ренато Гуттузо. Ведь сам Гришин, руководитель московских большевиков, сказал: «М-да-а-а, этого трогать нельзя, понимаете ли... Это, понимаете ли, надо сохранять для истории». Может, они такой легкой краской покрыли, что ее отмыть можно будет? Там внизу была масляная.

Н. Г.: Трудно сказать. Забелили, а чем – кто их знает. Говорят, правда, что добрые люди успели все-таки эти стены сфотографировать. По кускам.

Ю. Л.: Вот мерзавцы... Сколько же у них ненависти ко мне! И Эфрос разрешил?

Н. Г.: А по-вашему мнению, он боролся до последнего?

Ю. Л.: Да нет, сказал, небось: «Ну, побелите...» Молодец. И он думает, что этим отмылся? Черного кобеля не отмоешь добела. Ну что ж, теперь это и об Анатолие Васильевиче сказать можно.

Н. Г.: Об Эфросе у нас к вам отдельный вопрос. Дело в том, что существуют различные мнения о его роли в последнем, трагическом периоде истории театра на Таганке. Одни считают, что поступок его иудин, и в создавшихся условиях он не имел права принимать предложение властей занять ваше место. Другие утверждают, что надо было любой ценой спасти театр, явля-

ющийся теперь уже общим достоянием русской культуры. Что вы можете сказать по этому поводу?

Ю. Л.: Ну что тут можно сказать? Не говоря уже об этом зловещем кабинете с забеленными стенами – ведь он же не откликнулся на просьбы, даже на мольбы актеров театра, которые просили его: «Дайте нам умирать самим». Он не позволил – он стал их умерщвлять с помощью Демичева. Вот вам и ответ. Он забыл, наверное, как его самого в свое время выгнали из театра, и как все тогда отправились его отстаивать к Егорычеву, секретарю МК КПСС. Мы собрались тогда все на квартире у Завадского, и я еще тогда говорил: «Если мы все не подадим заявления об уходе, чтобы спасти Эфроса, то никакого толку не будет». Меня потом не взяли в состав этой делегации, боясь, что я наговорю резкостей. И когда они вошли к Егорычеву, тот про меня сразу спросил: «А где же главный смутьян? Небось, умнее вас, понимает, что многого вы вашими хождениями не добьетесь». И быстро всех распатронил – Ефремову отрезал: «А вам меньше пить надо было» (я Олега предупреждал, что ему так и скажут: талант, мол, пропивать нельзя – это достояние народа). Гиацинтовой он сказал: «Вот вы, старая женщина, кого вы воспитали?» А когда он так по одному с ними разобрался, с защитниками, тут он всех и огорошил: «А чего вы, собственно, так волнуетесь? Эфрос у меня был, и мы с ним спокойно договорились. Он со своими артистами будет работать в театре на Малой Бронной». Выходит, уважаемый Анатолий Васильевич за нашей спиной сумел с ним спокойно договориться? Егорычев тоже, между прочим, был человек себе на уме: они же с «железным Шуриком», с Шелепиным то есть, и с Петром Нилычем тем же самым, дворцовый переворотик готовили. Но, видимо, товарищ Демичев заложил дружков и уцелел – на посту своем остался. Но недолго он там посидит, да и Эфрос тоже... Есть такая вещь – закон возмездия.

Н. Г.: Они выбросили вас из страны, и, как они же объявляют, вы находитесь то ли в канаве, то ли в психиатрической лечебнице. Это ладно. Но вот эта их лютая ненависть к вам, о которой вы говорили, видимо, она и объясняется тем, что счет все-таки в вашу, а не в их пользу?

Ю. Л.: Да, в общем, наверное так и есть. Смешно даже, что их история ничему не учит. Ну, убили они Мейерхольда физически – но ведь этот гениальный, при всех сложностях его характера, художник оказал огромное влияние на мировое развитие театрального искусства. И кого бы они ни убили, ни уничтожили, ни довели до смерти – все равно они не сумели вычеркнуть их из истории живописи, литературы, архитектуры, музыки, хореографии и т. д. У них, конечно, свои игры – теперь они решили трупоедством заниматься, прах Шаляпина перевезли. Ведь просил же великий русский певец: «Даже прах мой туда не перевозите, пока они там царствуют». Нет, сумели уговорить. Все что угодно – лишь бы заморочить людей, туману напустить. Они – бесы изощрённые. Грустно все это, конечно. Конечно же, я прекрасно понимаю, что мне нужно было бы там продолжать работать. Но они нашли простой способ не давать мне работать и душить театр. Те, кто говорят, что надо было театр спасать, просто не знают ничего, о чем говорят. Какие могут быть споры, когда театр сам решил, что в этих условиях он работать не может? Это было единодушное решение коллектива театра: если нам не вернут спектакли «Борис Годунов», «Живой», «Памяти Высоцкого» – то есть то, что мы считаем лучшим из того, что нам удалось сделать, – то мы продолжение своей работы считаем бессмысленным. Я-то, уже отчаявшись начал с ними отсюда разговоры вести. И они, по-видимому, не сразу решили со мной рассчитаться, потому что дали мне возможность лечиться здесь, официальная бумага была. Актеры этого добились, а им ввали, что, мол, изыщем возможности, а за их спиной велись уже переговоры с Эфросом.

Н. Г.: В Москве можно услышать мнение, что все-таки вы должны были тогда вернуться и, если уж театр спасти невозможно, то как бы «потонуть вместе с кораблем» – то есть предоставить им возможность со скандалом уволить вас на пенсию и разогнать театр. И это был бы, так сказать, «естественный» конец театра. Противоположная точка зрения в подобных спорах заключается в том, что вы, как художник, имеете моральное право работать там, где у вас есть такая возможность – и такой «героизм» был бы лишь пустым и бессмысленным жестом.

Ю. Л.: Ну, а те, кто нарисовал мне такую героическую смерть, в ореоле, они подумали о том, что у меня – маленький ребенок? И потом, отнюдь не очевидно, что они меня отправили бы на пенсию. Зная себя, я могу сказать, что сражался бы до последнего, так что не исключено, что они бы меня отправили не на пенсию, а в психушку. Я наверняка нашел бы возможность произнести речь, подобную той, что произнес Мейерхольд на съезде режиссеров. Они тогда предоставили ему трибуну, чтобы он осознал свои ошибки и раскаялся, а он им сказал все, что думал. И я бы, несомненно, сказал бы им все то, что говорю сейчас вам. Может быть, сейчас, подытоживая всё, я говорю более резко – но примерно так же я говорил с ними и там. Так что насчет моего победного ухода на пенсию и последующего безбедного существования в ореоле мученика и героя я вовсе не уверен. Что же касается судьбы «спасителя театра» Эфроса, то я думаю, что его конец будет печальным. Они его выбросят: он сделал свое дело и им больше не нужен. Он, конечно, одаренный человек, а вернее всего – был им. Так как он душу свою продал, то больше от него и ждать нечего.

Н. Г.: А актерам при этом запрещено от него уходить?

Ю. Л.: Демичев издал тайный приказ – актеров с Таганки в другие театры не брать. Тайный! Как это

было и при моей... Чуть не сказал: при моей жизни... Ладно: как это было и при моей жизни там, когда меня никогда не пускали работать на телевидение, и актерам одно время тоже не разрешали. Они-то стремились таким образом подорвать театр, чтобы актеры сами от меня разбежались в другие театры. И только после моих многочисленных возмущенных писем, разговоров в ЦК на самом высоком уровне все это прекратилось. А уж эти разговоры с вождями! Спасибо, замечательный был старик Петр Леонидович Капица – позволял мне со своей правительственной «вертушки» куда угодно звонить. Теперь-то об этом можно сказать, он уже умер, а то бы и ему какие-нибудь неприятности устроили.

Н. Г.: Так что, получается, устроили в театре крепостное право...

Ю. Л.: Да везде оно, не только в этом театре...

Н. Г.: Юрий Петрович, у меня к вам вот какой вопрос – он связан и с недавним спектаклем «Бесы», и с «Преступлением и наказанием», которое вы ставили и в Москве, и в разных странах, и с «Борисом Годуновым». Я прочла недавно в парижской газете «Либерасьон» слова одного французского театрального критика, и была приятно удивлена их глубиной и пониманием истоков вашего творчества: «Любимов теперь на Западе, но Пушкин и Достоевский всегда вместе с ним». И я хотела бы спросить: что для вас значат эти два постоянные ваши спутника?

Ю. Л.: Ну что ж, это моя история, история театра за 20 лет и история всей моей жизни. Пушкина я, как и все, начал читать в детстве: «Мороз и солнце, день чудесный!» И люблю читать до сих пор, только стихи другие становятся любимыми: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» И я абсолютно разделяю восторг Федора Михайловича перед пушкинскими строками из «Скупого рыцаря»: «Мне довольно сознания сего величья...» Я понимаю, почему так любил эту фразу Достоевский...

И как это ни кажется парадоксальным, но мое развитие от Брехта к Пушкину и Достоевскому вполне закономерно. И там, и там есть стремление к эпическому театру, пусть даже исходя из разной философии, и притчевость, и все то, что я люблю.

Я был недоволен своей работой как актер, и спорил с режиссерами, и говорил, что так сыграть нельзя – просто мука для режиссеров. Я им просто мешал ставить спектакль. Потом я уже сам как режиссер испытал те же трудности со своими актерами, но я им, по-моему, и помогал. С гордостью могу сказать, что около сотни актеров любят со мной работать, и даже те из них, с кем я встретился в первый раз. Вот моя английская труппа из «Бесов» – это блестящие актеры, они меня радуют, и мне приятно слышать, что они тоже с радостью продолжали бы со мной работать. Если бы была такая возможность – создать небольшой постоянный театр в Англии, то они бы с радостью согласились. Но вообще в Европе очень мало репертуарных театров. Есть региональные театры в Америке, и один из них – вашингтонский «Арена Стэйдж» – меня приглашает сейчас с ними сотрудничать.

Вернемся к Пушкину и Достоевскому. Мне кажется очень важным, чтобы на Западе люди знали Достоевского – и через театр тоже. Потому что просто трагедия здесь с русской литературой: нет такого уровня переводов, нет такой переводческой школы, как у нас в стране. Можно позавидовать Фолкнеру, Хемингуэю, Стейнбеку, Гюнтеру Грассу, Бёллю – прекрасные русские переводы! А здесь этого нет. То ли мало платят, то ли профессия не престижной, не творческой считается – кто его знает. Правда, там, в России, для тех несчастных писателей, которым не давали писать, переводы становились способом заработать на кусок хлеба – но у них был такой талант, что они из переводов делали шедевры. Переводы Пастернака, Любимова, Апта – да всех и не перечислишь.

Ну что еще сказать? Близки они мне – Пушкин и Достоевский – по своим взглядам, мыслям, принципам, и помогают они мне жить на старости лет. Мне бы очень хотелось еще раз поставить «Бориса Годунова». Перевода хорошего пока нет, и очень трудно мне будет с музыкой, потому что я использовал в этом спектакле фольклорную музыку, могучего звучания – песнопения, плачи, молитвы – и текст сразу зазвучал еще сильнее. Мне кажется, что когда они закрывали «Бориса», то дело было не в том, что в конце Губенко выходил в обычной современной одежде и обращался к публике. Они у меня потребовали это убрать, и я пошел на это, считая, что спектакль не только этим ценен. Я же сделал тогда все переделки, которых от меня потребовали. Но, видимо, тогда они уже окончательно решили со мной расчитаться. Мне же сказали в последней беседе: «Всё мы вам закроем, и так, как вы работали – работать больше не будете». И еще я хотел добавить насчет того, как я должен был бы поступать – в соответствии с этой идеей героического ореола. Я ведь тогда сказал театру: «Я работать так не могу и считаю, что в этих условиях нам лучше всем разойтись». Самые честные из актеров потом ко мне приходили и говорили: «Давайте все-таки искать какой-то выход». А я отвечал: «Давайте! Я же ищу и бьюсь все время, вы же видите. Но я не могу так больше – и даже вас не понимаю. Вы же сами сказали: не откроют спектакль о Высоцком – не будем больше работать. Бывают такие моменты, когда вы уже пришли к последней черте – и дальше отступать некуда». Да, я считаю, что театр лучше было закрыть.

А теперь я хочу прямо обратиться к своим актерам, к тем из них, кто меня помнит и вспоминает.

Я – незлопамятный человек, и все вы это знаете. Я прощал даже тех, кто на меня доносил, и знал доносчиков. И не называю их теперь – а мог бы отомстить и назвать. Да они и сами знают. Ну что ж, некоторые вынуждены поддакивать начальству, все знают, что

некуда им деться, они уже не такие молодые и так далее. Безусловно, это все грустно. Но я всегда помню свой театр: убить им все равно его не удастся. Я глубоко благодарю тех, кто сохранил обо мне память истинную – и я уверен, что они всё знают!

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**В. Аксенов, Ф. Горенштейн,
Л. Ржевский**

Стихи:

**Д. Бобышев, И. Качуровский,
Л. Костенко, Л. Друскин,
В. Кривулин**

Публицистика:

**Ю. Мацкевич, М. Линецкий,
Г. Стюарт, Е. Наклеушев,
Р. Гера**



ZESZYTY LITERACKIE

Cahiers Littéraires : 37, rue Geoffroy St Hilaire, 75005 Paris France
C.C.P. Paris 574286 E

ZESZYTY LITERACKIE NR 10

W numerze 10 (WIOSNA 1985): Czesław MIŁOSZ, Wiersze. Prezentacje: Gilbert LELY, Słowo i chłód. Konstanty A. JELEŃSKI, Antologia czyli zbiór kwiatu poezji. Proza i poezja: Stanisław BARAŃCZAK, Nowe wiersze. Sławomir MROŻEK, „Słodki ptak młodości”. Tomasz JA-STRUN, Wiersze. Urszula Małgorzata BENKA, Odium. Spojrzenia: Adam MICHNIK, „Niezlomny” z Londynu. Adam ZAGAJEWSKI, Wykład o pałacu. Europa Środka: Anna ACHMATOWA, Requiem. Lidia CZUKOWSKA, Jak powstało „Requiem”. Listy z Paryża: Wojciech KARPINSKI, Lekcja wolności. Interpretacje: Josif BRODSKI, Divertimento litewskie. Tomas VENCLOVA, „Divertimento litewskie” Josifa Brodskiego. Wiktor WOROSZYLSKI, Nowy panmongolizm?. O książkach: Konstanty A. JELEŃSKI, Adam Ciołkosz: socjalista konkretny. P.M.K., Studium o Herbercie. Marek ZIELIŃSKI, Tragiczne wcielenie. Notatki, Listy do redakcji, Nowe publikacje, Noty o autorach.

Do nabycia w redakcji

(Cahiers Littéraires, 37 rue Geoffroy St. Hilaire, 75005 Paris).

Cena pojedynczego egzemplarza plus porto — 46 FF (6,00 US\$);

poczta lotniczą — 55 FF (7,50 US\$).

Prenumerata roczna — 155 FF (20,00 US\$); poczta lotniczą — 190 FF (25,00 £USA).

ПОДПИСКА

«СТРЕЛЕЦ» – 1986

Еженедельный иллюстрированный журнал литературы,
искусства и общественно-политической мысли
объявляет подписку на 1968 год.
Главный редактор – Александр Глезер.

В журнале представлены проза, поэзия, литературная критика, литературный архив, интервью, воспоминания, эссе, изобразительное искусство, кино, театр, публицистика. «Стрелец» печатает произведения, созданные и в эмиграции, и в метрополии, рецензирует наиболее интересные книги русских писателей и поэтов, вышедшие на Западе и в России, публикует неизвестную и забытую прозу 10-х – 20-х годов, освещает творчество русских художников-нонконформистов, дает оперативную информацию о выставках русских художников в Европе и США, Москве и Ленинграде. В журнале помещаются статьи и рецензии как русских, так и западных критиков и искусствоведов, посвященные русской культуре, литературе и изобразительному искусству. В портфеле редакции на 1968 год: новые прозаические произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Георгия Владимова, Юрия Гальперина, Владимира Максимова, Юрия Мамлеева, Виктора Некрасова, Вадима Нечаева, Дмитрия Савицкого, Сергея Юрьенена и других писателей-эмигрантов, рассказы, поступившие к нам по каналам Самиздата из СССР; стихи Дмитрия Бобышева, Василия Бетаки, Наталии Горбаневской, Бахыта Кенжеева, Юрия Кублановского, Алексея Радашкевича, московских и ленинградских неофициальных поэтов; в разделе «Литературный архив» предполагается опубликовать неизвестные и малоизвестные современному читателю рассказы, повести и романы Леонида Андреева, Константина Бальмонта, Андрея Белого, Гайто Газданова, Алексея Ремизова.

Вас ждут воспоминания деятелей литературы и искусства, интервью с писателями, поэтами и художниками, статьи ведущих критиков и публицистов эмиграции.

Стоимость годовой подписки, включая пересылку: 36 долларов или 336 фр. фр.

Для подписавшихся до 15 ноября 1985 года установлена льготная стоимость годовой подписки в 30 долларов или 280 фр. фр.

Стоимость подписки на комплект журналов за 1984 и 1985 гг. (вместе) 55 долл. или 550 фр. фр., а на один из этих годов – 30 долл. или 280 фр. фр., включая пересылку.

Заказы и чеки отправлять по адресу: в **США** – Alexander Glezer, 286 Barrow-Str., Jersey-City, N.J. 07302 U.S.A.

в **Европе**: Alexander Gleser, Château du Moulin de Senlis, 91230, Montgeron, France.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40,— ДМ, или 20,— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,— ДМ, или 4,— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





GALERIE MARIE – THÉRÈSE

Art Russe Independent

Картины, акварели, рисунки, скульптуры
и литографии

Оскар Рабин – Париж
Михаил Шемякин – Нью-Йорк
Владимир Григорович – Нью-Йорк
Леонид Пинчевский – Нью-Йорк
Виталий Длугий – Нью-Йорк
Валентина Кропивницкая – Париж
Александр Рабин – Париж
Владимир Немухин – Москва
Владимир Овчинников – Ленинград
Леонид Лерман – Нью-Йорк

73, Quai de Tournelle, 75005 – Paris,
tel.: 325 34 37

Галерея открыта с вторника по пятницу
с 14.00 до 19.00

Подробные сведения о галерее читайте в следующем номере в статье А. Глезера «Русская галерея в Париже».

Эту МОЛИТВУ я получил от Е. Ю. — свояченицы Н. Бердяева, которому она была передана одним бывшим заключенным лагеря Дахау или Освенцима (точно уже не помню). По его словам, автор МОЛИТВЫ погиб. Не знаю также — оригинал это или перевод. Е. Ю. сказала мне, что Николай Александрович был совершенно уверен в подлинности МОЛИТВЫ.

От себя прибавлю, что ТАКУЮ вещь можно написать лишь встретившись глаза в глаза со Смертью. Ничего более высокого я не читал.

К. Померанцев

МОЛИТВА ЕВРЕЯ

Мир всем людям злой воли, и да положен будет конец всякой мести, всем призывам к наказанию и возмездию. Злодеяния превышают всякую меру, они уже стоят по ту сторону человеческого понимания. Слишком много мучеников.

Поэтому, Господи, не взвешивай наши страдания на весах Твоей справедливости и не засчитывай эти страдания палачам, чтобы не потребовать от них страшного отчета. Воздай по-иному. Нет, зачти в пользу палачам, доносчикам и предателям и всем злым людям все мужество и всю душевную силу других, их смирение, их возвышенное достоинство, их непрерывное внутреннее страдание, их непреодолимую надежду, их осушающую слезы улыбку, всю их любовь, все их истерзанные, измученные сердца, оставшиеся сильными и полными доверия лицом к лицу со смертью и даже в самой смерти. Да, даже в часы глубочайшей слабости.

Всё это, Господи, зачти перед Тобой для прощения грехов, как выкуп, ради торжества правды, да зачислится перед Тобой все благое, а не злое. А в памяти наших врагов, — да останемся мы не как их жертвы, не как кошмар, не как трепет перед призраками, а как их помощники в их стремлении убить бешенство их преступных страстей, от них ждут только этого.

Когда же все кончится, да будет нам дано жить, как людям среди людей, и да наступит опять мир на нашей бедной земле для людей доброй воли и для всех других.